




ИСТОРИЯ



ДР. А. И. КАУФМАН

ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ

יגוד יוצאי תל אביב
IGUD YOTZEI SIN

Tel-Aviv, 13 Gruzenberg St.

P.O.B. 1601 Tel. 51997

Cable Address: „IGUDSIN”

**Эта книга издана по инициативе “Игуд
Йоцей Син” в Израиле и при содействии
друзей и почитателей покойного д-ра А. И.
Кауфмана:**

В Израиле
В Нью Йорке
В Токио
В Сан Франциско
В Лос Анжелесе
В Гонконге
В Монреале
В Сиднее
В Ванкувере

Д-р А. И. КАУФМАН

עבריה וצבי עופר
קבוץ יפעת

ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ

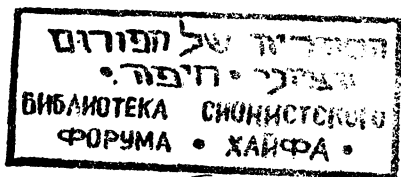
16 лет в Советском Союзе —
воспоминания сиониста

עבריה וצבי עופר
קבוץ יפעת

Издательство АМ ОВЕД, Тель-Авив

1 9 7 3

עיריית חיפה
 מערכת תרבות הפנאי
 מערכת תרבות לעולים
 מאת: אריסטו - ספריה
 כנס. יפלא.....
 מס. 378



יצא לאור בסיוע
 קרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק
 והאגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

Типография «Гахевра Гамеухедет Леадпаса».

OCR Давид Титневский, декабрь 2019 г., Хайфа



Д-р Абрам Иосифович Кауфман

Д-р Абрам Иосифович Кауфман родился 28 ноября 1885 года в городе Мглин Черниговской губернии. Со стороны матери он происходил из известной семьи Шнеерсон, его прадед раввин реб Шнеур Залман был основателем религиозно-философского учения и движения «Хабад».

В 1903 году А. И. Кауфман закончил гимназию в Перми, но из-за антиеврейских ограничений он получил высшее медицинское образование в Швейцарии.

Покойный А. И. Кауфман принадлежит к поколению зачинателей сионистского движения. Уже в Перми в 1900 году он был руководителем молодежного кружка «Бней Цион», а в студенческие годы в Швейцарии он принимал активное участие в известном объединении — «Бернский академический Ферейн», членами которого в то время были профессор Хаим Вейцман, д-р Хисин, Метман Коген, М. Гликсон, д-р Моссинзон, Хаим Бограчев, Яков Коган и другие.

С 1908 года А. И. Кауфман работал под руководством д-ра Е. В. Членова и посещал города Поволжья и Урала для распространения сионистских идей. В 1912 году он переезжает в Харбин (Маньчжурия — Китай). Здесь начался расцвет его общественной деятельности. Он стоит во главе сионистской организации, представляет в Китае «Керен Каемет» и «Керен Гаесод». В течение десятилетий он возглавляет Харбинскую еврейскую общину и руководит сионистским движением на всем Дальнем Востоке. Если еврейство в Китае сохранило до конца свое еврейское лицо, если углубилось его национальное самосознание, то

этим оно в большой мере обязано неутомимой и разнообразной деятельности д-ра А. И. Кауфмана.

Д-р А. И. Кауфман основатель и председатель Национального совета евреев Дальнего Востока и инициатор и председатель трех съездов представителей еврейских общин Китая и Японии.

В 1945 году, когда дивизии маршала Малиновского заняли Харбин, А. И. Кауфман был арестован и вывезен в Советский Союз. В течение 11 лет он находился в заключении — 3 года в одиночной камере московской тюрьмы и 8 лет в концентрационных лагерях. После реабилитации он еще 5 лет прожил на поселении в Казахстане. Все эти годы он и его семья в Израиле добивались права на его выезд в Израиль, и 26 марта 1961 года он наконец прибыл на свою историческую родину.

В Израиле д-р А. И. Кауфман, несмотря на свой преклонный возраст, работал почти до последних дней своей жизни врачом в амбулатории больничной кассы Гистадрута (Купат-Холим) в Рамат-Гане. Он скончался 21 марта 1971 года от сердечного приступа.

Книга воспоминаний д-ра А. И. Кауфмана описывает страшный период жизни автора в тюрьмах и концентрационных лагерях Советской России. Он принадлежал к неповторимому поколению еврейских идеалистов, отдавших все свои силы на служение своему народу.

ГЛАВА 1

10 августа 1945 года император Японии заявил по радио, что он, стоя перед огромными жертвами его народа, объявляет о прекращении войны. Япония капитулирует. Все военные действия приостанавливаются. Но Квантунская армия, расположенная в Маньчжурии, продолжала сопротивляться еще дней 8—9. 17 августа Красная армия вступила в Харбин, радостно (вольно или невольно) встреченная русским и китайским населением. Многие русские, не в меру усердствуя, забрасывают красноармейцев папиросами, яблоками, конфетами, обнимают их «желанных», «долгожданных» ... Многие, видимо опасаясь, кричат по всякому поводу и без повода «Да здравствует Красная Армия!», «Да здравствует Сталин!»

На воскресенье, 19 августа, в 10 ч. утра по указанию Советского командования было назначено собрание представителей русского населения для организации Общественного комитета. В функции Комитета должны были войти снабжение населения, как гражданского, так и военных, хлебом, продуктами, а также городская самооборона: японцы еще не прекращали нападений на русских солдат и на отдельных жителей (стреляли из-за угла мстители из японского «Батальона смерти»). Я не мог попасть на это собрание русской общественности, — в этот час была срочная хирургическая операция, — и направил туда секретаря еврейской общины. Несмотря на мое отсутствие и большую обремененность работой, врачебной и еврейской, я был избран товарищем председателя этого Общественного комитета. Моего согласия, собственно, и не спрашивали. Комитет, расположившийся в здании Ком-

мерческого Собрания, немедленно же приступил к работе. Естественно, что за всей работой этого органа российской общественности стояли представители Красной Армии.

Вторник, 21 августа 1945 года. Чудный, теплый августовский полдень. Я пришел домой после больницы и забот еврейской общины. Пообедал с семьей и в 2 ч. дня поехал в Комсоб вести прием посетителей по вопросам и делам, нуждам и потребностям русского населения.

В 2 часа дня 21 августа 1945 г., во вторник, я ушел из дому, и больше уже не вернулся. Расстался с семьей на целых шестнадцать лет. Мы встретились в 1961 г. в Государстве Израиль ...



Я приехал в Комсоб, занял кабинет тов. председателя. Ко мне прикомандировали секретаря, и я начал прием. Вошел мужчина, немец по национальности. Его сын ночью убит японцами. Он стоял на посту, охранял какой-то военный склад. Несчастный отец плачет. Единственный сын у него. Хоронить у отца нет средств. Я даю распоряжение секретарю срочно снестись с похоронным бюро, с кладбищем; похороны завтра в 11 ч. дня, докладываю об этом советскому командованию. Пришла женщина, у нее умерла сегодня утром мать. Бедные люди, средств нет, просит помощи. Тому нужно положить в больницу заболевшую дочь, этому получить муку для пекарни. Пожилой человек задумал издать специальный номер газеты-журнала, посвященной «победоносной Красной Армии» и «Великому Сталину». Просит разрешения, содействия, субсидии. Причем спешно, так как через неделю будет «парад Красной Армии», и он хочет поспеть к этому дню. Литературный материал у него готов, — вот он здесь в папке (и он раскрывает папку со многими листами исписанной бумаги). Я его направляю к советскому военному командованию. В мою компетенцию это не входит. В городе военное положение, военная цензура. Он, недовольный, что-то сердито бормоча, уходит. Не удалось, ви-

димо, «угодить». А быть может, человек этим хотел спасти себя.

В Комсобе жизнь кипит. Полно народу. В одной комнате, бывшей читальне, пишут, мажут, клеят плакаты, транспаранты: «Слава победоносной Красной Армии». «Слава вождю мирового пролетариата великому Сталину». «Слава», «Слава», «Да здравствует!» ... И кто все это делает? Вот редактор эмигрантской антисоветской ярко правой газеты, вот русский чиновник, еще вчера выступавший на собрании с докладом против СССР, коммунизма. Все эти активные борцы с СССР, белогвардейцы, черносотенцы, теперь поют «Славу» ... Думают, что в этом спасение.

Ни один из них не спасся. Даже те немногие, кто, стоя в антисоветских рядах и занимая командные посты в правых эмигрантских организациях, были одновременно на службе у Советов. Все они, за малым исключением, арестованные, кто раньше, кто позже, были вывезены в СССР и нашли приют в советских тюрьмах и лагерях.

Советский майор, приставленный к «Общественному комитету», поручил его председателю, инженеру М., составить список наиболее активных деятелей русских общественных организаций, приблизительно до 250 человек, перед которыми некий полковник — свидетель побед прочтет на днях лекцию «Как мы брали Берлин». Список этот надо представить в течение суток. Засуетился председатель и его присные, и в тот же день был подан майору список в 250 человек, наиболее видных и активных деятелей всех организаций, общественных, профессиональных и др.

Лекция полковника не состоялась, да, по-видимому, и не предполагалась. Но список послужил хорошим путеводителем для арестов ...

Окончив прием посетителей, я отправился в больницу на вечерний обход больных. Там и застиг меня телефонный звонок. Предлагают явиться сегодня между 5 и 7 ч. вечера в Ямато-отель представиться высшему совет-

скому командованию. Приглашаются представители общественных, национальных, просветительных и других организаций и учреждений. «Явиться в возможно большем количестве». Я тут же оповестил об этом секретаря еврейской общины М. Г., раввина А. М. Киселева и члена нашего президиума А. Г. О. Вчетвером мы поехали автомобилем в Ямато-отель... По дороге раввин спросил меня: «Почему вы так сумрачны, А. И.?» Я сослался на усталость, головную боль. А в действительности у меня было тревожно на душе, беспокойно. Думаю, что и раввин был поэтому так грустно молчалив. И у него были не-добрые предчувствия.



На крыльце Ямато-отеля стоял майор и два охранника при оружии. Взяв под козырек, майор вежливо спросил:

— Вы по приглашению, представиться?

— Да.

— Пожалуйста!

И словно из-под земли, выросла фигура капитана, который проводил нас в один из залов Ямато-отеля. Капитан указал нам на диван и предложил сесть. А сам удалился. Мы уселись на диван и рядом стоящие кресла. Сидим, ждем. Разговор как-то не клеится. В зал вошел офицер, в черного цвета форме, и сел на диван в противоположном углу. Еще минут десять прошло — тихо, никакого движения. Вошел еще кто-то в гражданской одежде. Какая-то жуткая тишина. Уже темнеет. Огня не зажигают. Тихо кругом, человеческого голоса не слышно. И каждый из нас спрашивает себя: что это означает? Еще 15—20 минут ... Появляется некий капитан, подходит к нам и спрашивает — кто у нас главный? — Вот наш раввин, духовный глава общины. — А кто председатель? Все в один голос называют меня.

Они полагали, что приглашают представиться. Капитан обратился ко мне:

— Прошу вас! — и жестом предложил следовать за ним.

Офицер ведет меня из Ямато-отеля через дорогу в особняк японского генерального консульства. У широких дверей большого дома стоит солдат с винтовкой. Он впускает нас. Мы поднимаемся на первый этаж, затем по внутренней лестнице на второй. Дом пустой, мертвый. Ни живой души. Офицер ведет меня по длинному коридору между рядами дверей с обеих сторон. В последнюю дверь слева он вводит меня, оставляет там, а сам уходит. Где я? Маленький, крошечный коридорчик, из него куда-то ведут три двери. Открываю дверь направо: ванная, туалет. За следующей дверью маленькая комната с окном на Вокзальный проспект. Комната совершенно пустая, даже стула, табурета нет. И лампочка электрическая выкручена. Открываю третью дверь. Заглядываю туда. О, знакомый! За голым столом на табурете сидит председатель грузинской колонии. Он, увидя меня, удивлен, но еще больше обрадовался — живой человек. Мы — в кухне. Плита и над ней большой бак. Напротив, на стене, висит полка для посуды, тарелок. Простой кухонный стол и табурет.

— Что вы тут делаете? Как попали сюда? Давно ли вы здесь? — забрасываю я соседа вопросами.

Пришел он тем же путем, что и я — из Ямато-отеля, куда явился от грузинского общества, по приглашению «представиться». Он тут, на кухонке, уже более часа, никто не заходил к нему, никуда не вызывали, ни о чем не спрашивали. Уступил мне свое место, настоял, чтобы я взял табурет, а сам сел на кухонный стол. Сидим, беседуем, гадаем. Что это означает? Что будет дальше?

Думы мрачные.

Вдруг слышим шаги в коридорчике. Мы смолкли. Кто-то шагает: взад и вперед, взад и вперед. Я решился выглянуть. Открываю дверь: ба! А. И. О-н. Он поражен, испуган, увидя меня. Приглашаю его к нам, на кухню. Нас уже трое. Как попал сюда? — спрашиваем. И он зван представиться. Он в прошлом городской голова г. Б.

(Приамурье), пароходчик. В Харбине был директором Банка взаимного кредита. Что ж, для тюрьмы или лагеря и это материал... В СССР говорят: был бы человек, а «статья» найдется.

Девять часов, десять, уже одиннадцатый час. А.И.О. не то спрашивает, не то восклицает: неужели мы арестованы?!

Я отвечаю: вы еще сомневаетесь. А грузин, словно своим мыслям в ответ, как бы про себя говорит: еще в расход выведут ... А. И. вздрогнул, даже затрясся.

12-й час ночи. Слышим топот ног, голоса. Шум какой-то. Мы выглянули в один, другой коридор: ба! Знакомые все лица... Коридор освещен, и в нем толпятся человек 50—60. Тут и два члена еврейской общины, и представители украинской колонии, армянской, тюрко-татарской, общества литовских граждан во главе с консулом Литвы д-ром Я. Тут и представители разных организаций и учреждений: общины Красного Креста, общества соседской взаимопомощи, «танаригумы» и еще, и еще. Все они явились «представиться» по вызову высшего советского начальства, новой власти. Мои коллеги по еврейской общине, увидя меня, подбежали ко мне, радостно обнимают и спрашивают: вы уже представились? Я им сказал, что мы фактически заперты здесь с 6 часов и добавил:

— Для вас неясно, что мы арестованы?

Их испугали мои слова:

— Что вы, что вы! Сейчас, наверно, будет общий пригем, и мы поедem домой.

Никто не хотел думать, что мы арестованы. Председатель украинской колонии, инженер В., резко порицал мой «мрачный пессимизм». Литовский консул просто возмущался, он сердился, протестовал против моих слов об аресте. Некоторые молчали растерянно.

У дверей одного из кабинетов появился боец с винтовкой, а в комнате зажегся свет. Кто-то подошел к солдату, заговорил с ним. Солдат охотно вступил в

разговор, рассказывает, как «мы шли на Берлин», как «брали Берлин». Аудитория бойца все увеличивается, ему задают вопросы, он отвечает.

В 12 ч. ночи из кабинета выходит майор. Среди полной тишины он обращается ко всем нам: прошу следовать за мной.

На лицах многих торжествующая улыбка: идем «представиться», и — домой.

Мы проходим по темному коридору, впереди майор, а позади нас — солдат с винтовкой. Спускаемся по внутренней лестнице вниз, в первый этаж. Мы у широких выходных дверей на Вокзальный проспект. Но двери перед нами не открываются, спускаемся ниже, в подвальный этаж. Большая длинная комната. Не убрано, на каменном полу разный хлам и мусор. У стены стоит ванна, наполненная грязнушей водой, и у каждой из дверей подвального помещения — молодые бойцы с винтовками. Офицер вышел, мы остались с бойцами. Сесть не на что — ни одной скамейки, стула, табуретки.

Многие «прозрели», поняли, что арестованы. Но литовский консул еще не сдается. Это будет, по его мнению, проверка личности, и... домой. Неужели неясно... Грязный подвал, вооруженная охрана. А тут еще окрик стража:

— Не разговаривать промеж себя!

Открылась дверь, показался старший лейтенант и объявляет:

— По двое заходить сюда, по очереди.

Кое-кто поспешил войти первым. Прошло минут десять, зовут следующую пару. А первые двое обратно не вернулись. Дошла очередь и до меня. Мы (я и А.И.О.) вошли в узенькую комнату, проходную. За двумя столиками сидят два старших лейтенанта, по одному за каждым. У первого столика меня останавливают. Вопросы: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность (это у советских обязательно при всех опросах, допросах, на всех анкетах...). Затем предлагают выло-

жить на стол все, что имеешь при себе. А было у меня денег 2960 иенами и даянами (как раз в тот день получил гонорар за больных), ручные часы, авторучка, золотое кольцо, паспорт, записная книжка, ключи от письменного стола и квартиры. Все выложил на стол. Приказали снять галстук и кожаный ремень. Офицер все записывает под номерами, пересчитывает деньги. Читает вслух, что мною «сдано» на хранение и что он «принял». Я подписываюсь, он подписывается, — все честь честью. И ... конец моим деньгам и вещам, — больше я их никогда не видел ...

Офицер, обращаясь к стоящему тут же старшине, говорит: в третью. И для старшины и для меня — все было ясно ...

Старшина ведет меня. Какой-то узкий полутемный коридор. Вся стена слева в железных решетках, высоких до потолка. Клетки, как те, в которых в зверинцах держат зверей. Внутри клетки разделены между собой стенками. Вот № 5, 4. У № 3 меня задерживают, открывают ключом крошечную железную дверцу, идущую от пола, в которую войти можно только сильно согнувшись. Меня вталкивают в дверцу. Я в клетке. Полумрак. Свет только от одной потолочной лампочки в коридоре. В клетке нары. На них кто-то лежит, закутавшись в свое пальто. Недвижим. Нары человек на пять. Сел на нары, — невозможно сидеть на них: доски, видимо, новые, нестроганные — острые колючки, как иголки, врезаются в тело. Вскочил с нар, сел на пол у решетки. И так просидел всю ночь. То одного, то другого приводят в одну из пяти камер. Проснулся мой сосед, всматривается и восклицает:

— Доктор, а вы как сюда попали?!

Я ответил:

— Должно быть все пути ведут сюда ...

С утра стали прибывать новые арестованные, и до полудня в моей камере-клетке было уже десять человек. Еле-еле вмещаемся, друг на друге сидим, толкаемся. Душно, дышать нечем. Окна в камере нет. Три глухие стены,

одна задняя и две боковые граничат с другими камерами. И железная решетка в коридор. На наружной стене узенького коридора, почти под самым потолком — небольшое тюремное оконце. Оказывается, мы в арестном помещении японского жандармского управления, куда прятали людей. Едва ли кто знал об этой тюрьме в подвале прекрасного особняка генерального консульства.

Советские власти использовали это помещение, как и подвалы жандармерии и полиции во всем городе. Все эти тюрьмы были переполнены: арестовывали не сотнями, а тысячами в день. По заветам Дзержинского, Ежова, Берия — по заветам Сталина и иже с ним.

На одной стене камеры какие-то таинственные надписи. Всматриваюсь, читаю:

каленное железо!!!!!!

пепельницы!!!

бамб!!!

Это означает, что жертва, пребывавшая в этой камере, подвергалась пыткам каленым железом по телу — шесть раз (шесть черточек), бамбуковой палкой лупили — три раза (три черточки), зажженную папиросу тушили на голове заключенного (это его голова — пепельница) — три раза. Жутко. В дальнейшем в советских тюрьмах я слышал про пытки, намного превзошедшие бамбуковые палки, «пепельницы» и т. п.

Кто у кого учился? ...

На второй день моего пребывания в тюрьме кто-то крикнул в одной из соседних камер:

— Доктор К., смотрите в окошко, там ваша жена.

Взглянул через решетку в окошко-форточку, вижу, жена со знакомой (дочь М. Г.) проходят медленно мимо окна и не смотрят, конечно, в подвальный этаж консульства. Да они ничего и не увидели бы — камера в глубине. Зато нам видно, что делается на тротуаре. Сердце забилось, я не сумел сдержаться, заплакал. На завтра я увидел сына Т., стоящего на углу здания бывшего Русско-Азиатского банка. Так, несколько раз я видел своих,

расстраивался, плакал и по целым дням, с утра и пока стемнеет, смотрел в окошко.

Тяжко мне. Мои сокамерники — все незнакомые люди, я — единственный еврей среди них. Мои коллеги по еврейской общине оба в камере № 4. Два раза в день нас выводят в туалет, по камерам, каждую отдельно. Проходя мимо второй и первой камер, слышу приветствия: здравствуйте, А. И. Там все больше и больше знакомых. Д-р Т. иногда добровольно подметает пол в коридоре. И, должно быть, чтобы показать, что не пал духом, бодр и полон веры, он дурачится, пляшет в коридоре с метлой. Разговаривать с другими не полагается, но д-р Т., подметая пол возле нашей камеры, успевает спросить меня о здоровье и добавить:

— Скоро, скоро, А И., будем на свободе

Он вообще был уверен, что не сегодня-завтра он будет освобожден. Попав затем, в начале 1946 г., в лагерь на Урале и работая в лагерной больнице врачом, мой коллега стал петь хвалебные гимны большевикам, коммунизму. Он был осужден на 10 лет. В Сиблаге получил еще десять лет после того, как уже отсидел шесть. Был отстранен от врачебной работы, впал в отчаяние, ипохондрию и ... умер в лагере, не дожив до «свободы».

Каждый день приводят ночью много арестованных. Растет число молодых. Я волнуюсь, не тронут ли чекисты-бандиты моих сыновей. Однажды утром соседи, вернувшись из туалета, передали: в подвале новая большая партия арестованных, человек 50, почти все молодежь. Кровь стынет в жилах. Боже мой! Пожалей детей моих! Не могу дожидаться, когда нашу камеру № 3 выведут. Нас ведут. Подвал переполнен новичками. Я направляюсь прямо в толпу арестованных, ищу тревожным взглядом. Кое-кто из молодежи, бывших учеников Коммерческого училища, где я преподавал и был председателем правления, окликают меня: «Доктор»! Я спрашиваю, где их взяли, когда, за что, не видали ли моих ребят. Нет, моих сыновей нет среди них, — страх отпустил на время. А людей, рас-

сказывают они, прямо на улице арестовывают, ловят, хватают по-бандитски, вталкивают в автомобиль и везут в тюрьму, в подвал... Каждый день, каждую минуту переживаю муки — страх за детей.

Среди заключенных есть больные. Заявили об этом тюремному начальнику, старшине. И вот сообщили, что сегодня будет врач. Многие записались к врачу. Записался и я с надеждой — авось врач знакомый. Ведь никакой связи с внешним миром нет. Часов в 11 пришел «врач» — фельдшер тюрьмы на Коммерческой улице. Русский, кажется, из ротных фельдшеров. Он в сопровождении какого-то офицера подходит к решетке каждой камеры — кто болен? что болит? — и оставляет порошок аспирина или пирамидона. Подошел и к нашей клетке. Узнал меня. Я прошу его посмотреть меня, у меня боли в кишечнике. Офицер отпер, чтобы фельдшер вошел. Но фельдшер, вижу я, вдруг побледнел, дрожит, не может войти в камеру. Боялся, очевидно, что обратно не выйдет. Этот фельдшер всего лишь месяца три тому назад болел тифом, и я его лечил сначала на дому, а потом забрал в еврейскую больницу. Он был очень благодарен и признателен мне. Через некоторое время, будучи в тюрьме на Коммерческой улице, я оказался у того же фельдшера в амбулатории, и он мне шепнул, что боится за себя, каждый день ждет ареста. Все его знакомые, друзья арестованы.

Числа 25—26 августа некоторых вызывают из камер. Среди них и мои коллеги по еврейской общине. Их проводят мимо нас. У них радостные лица, — они верят, что их освобождают ... Оставшиеся в звериных клетках завидуют им. М. Г., проходя мимо моей камеры, приветствует меня рукой, улыбается и успевает шепнуть: скоро и вы, А. И., будете дома ...

Не знаю, откуда у них взялась эта вера, — возможно, как это в дальнейшем не раз бывало, начальство внушало: собирайтесь, освобождают вас. К этой лжи и обма-

ну постоянно прибегают. И человек верит — верит, потому что надеется...

На следующий день кто-то, возвратившись с допроса, рассказывал, что все, кого вчера вечером «освободили», сидят в тюрьме. Их перевели в тюрьму, **освободив** здесь место для других — сотен, тысяч ...



Вот уже две с половиной недели я нахожусь в заточении, в этом подвале. Меня ни разу не вызывали на допрос.

Наступил первый день Рош-Гашана. Рано утром, когда все еще спят, я молюсь, вспоминаю молитвы. Губы мои шепчут «Унсане Текеф». И думаю, думаю: «ми ихие, уми иомут» ... Кому какая судьба, кто какой смертью ...

Вроде как помолился. И словно легче стало на душе.

В тот же день нас погрузили на грузовой автомобиль и повезли куда-то. С тротуара в грузовик бросают папиросы, конфеты, яблоки, сочувствуют жертвам насилия. Едем мимо отеля «Модерн». У входа стоит метрдотель Лев. Фр. О. Я подаю ему знак рукой, мол везут в тюрьму на Коммерческую улицу. Он в тот же день сообщил об этом моей семье. (Через два месяца мы с ним встретились в арестантском вагоне по дороге в Свердловск). Нас выгрузили посреди луж в дальнем углу двора. И после проверки загнали всех, человек 60, в одну пустую камеру. Вновь вижу немало знакомых, — редакторы газет, журналисты, писатели. Принесли нечто вроде обеда, — какая-то каша и хлеб. С голоду ели все без остатка, и даже порции тех, кто не мог преодолеть отвращение к этой так называемой «каше». К вечеру нас стали распределять — пачками отводили одних и приходили за другими. Осматриваюсь на новом месте: камера довольно большая, нары вдоль всех четырех стен. Окна со щитами, но все же видна улица и прохожие. В одном углу — непременно «параша». Нас 46 человек. Отдельно дер-

жаты восемь китайцев и японцев, — тут и управляющий железной дороги, и губернатор Биньцзянской провинции, и «высокие» чины администрации. Все они хорошо одеты, в полувоенной форме.

Вечером началась перекличка. Сержант записывает. Дошла очередь до нас. Мой сосед во весь голос заявляет: Т. С. И., 1886 года рождения, еврей. Последнее слово резануло мой слух. Как еврей? Несколько десятков лет живет в Харбине, известен как православный, вращается в церковных кругах, чуть ли не староста церковный, и вдруг — еврей. Он старый мешумед. Правда, при случае, в беседе со мной, он не отрицал своего еврейского происхождения. Каждый год в Рош-Гашана поздравлял меня по телефону и даже решался произнести по-еврейски: *לשנה טובה*. Но он-то настоящий «православный»... С редактором одной из русских газет повторилось то же самое — объявил себя евреем. Отец и мать его — выкресты, сестры, дядя — тоже. Он родился уже христианином, православным. И этот — в тюрьме евреем стал ... В дальнейшем в советской тюрьме и вообще в Советском Союзе я встречался всегда с обратным явлением ... При перекличке произошел явный и весьма характерный инцидент. Один заключенный, когда до него дошла очередь, назвал свою фамилию, год рождения и национальность указал: украинская. Лейтенант поясняет: значит, русский. «Нет! Не русский, я украинец!».

— Какой такой украинец! Русский!

— Я не русский, я — украинец.

— Пиши, русский! — приказывает лейтенант сержанту.

— Нет, пиши: украинец. Я сын украинского народа, а не русского.

Сержант записал: русской национальности. Окончилась регистрация. Помощник начальника тюрьмы рассказывает, как хорошо нам будет в Союзе, как там ценится и высоко оплачивается труд. Нам простят все «преступления» и «прегрешения» перед советским народом, и мы сразу же будем работать на пользу «дорогой Родины».

Помощник начальника тюрьмы иллюстрировал свои слова «наглядным» примером: вот этот солдат. он отсидел в тюрьме и лагере пять лет, исправился и теперь сержант в армии и на хорошем счету. Он обладает «прекрасным» голосом и сейчас споет нам русские песни. Сержант запел: «Хороша страна моя родная» ... С полчаса пел сержант, собственно, кричал, орал своим зычным голосом. Потом мы узнали, что этот сержант, действительно, отсидел пять лет в заключении за ... грабеж и кражу со взломом ... Лейтенант, представляя его, назвал «настоящим советским человеком» ...

Спать улегся на голых досках. Пиджак сложил вдвое, втрое, скатал его — и под голову. Но разве уснешь? Сотнями, тысячами повыползли клопы. Мириады клопов. Нечто ужасное. Все вскакивают, пытаются бороться с ними, ловят их. Давят их башмаками, чем попало. Все чертыхаются, ругаются, по-русски, по-украински, по-польски. Японцы по-своему проклинают все и всех. Страшные клопы, клопы-звери ...

У дверей камеры по ту сторону стоит молодой боец, 19-летний, украинец. С винтовкой, конечно. Стережет нас. В дверях окошечко-волчок, в которое он то и дело заглядывает. Так положено. А может быть, из любопытства или совсем по иной причине ... Ночью этот боец и еще один молодчик, товарищ его, подбираются к японцам, забирают пару сапог, хороших, новых. Японец не спит, видит покушение на его сапоги, поднимает шум, пытается вырвать сапоги из рук стражей-воров, но они силой тащат его и еще одного японца, который лежал рядом на нарах в своих добротных сапогах. Уводят их, запирают на ключ и засов дверь камеры. И ... стало тихо. Через минут пятнадцать два японца возвращаются — без сапог и без брюк, которые на них были, — брюки из хорошего военного сукна. В уборной под угрозой оружия их раздели и забрали брюки и сапоги. Через час-другой на нарах возле ограбленных японцев лежали старые рваные штаны и заплатанные ботинки... Японец из

управления Северо-маньчжурской жел. дороги возмущается, волнуется, кричит, — он требует начальника тюрьмы. Всем было ясно, что это делалось не без участия начальства, если не по его приказанию ...

Клопы отравляли и без того горькую жизнь нашу. Умоляем начальника тюрьмы: в любой аптеке есть очень хороший порошок, японский, мгновенно уничтожает клопов. Начальник отвечает:

— У меня нет кредитов на это.

— Я могу взять порошок в аптеке еврейской больницы, если вы разрешите.

— Пишите записку в вашу больницу, я пошлю за порошком.

В тот же день был у нас чудодейственный порошок из аптеки еврейской больницы. От клопов мы избавились...

Как-то вызывает меня начальник тюрьмы к окошечку (волчку) и говорит:

— Была тут жена ваша, передала записку. Можете ответить, если хотите, но только писать о здоровье, или просить чего прислать. И по-русски писать. Будете?

— Да, буду.

— Вот вам бумага, карандаш. Через 10 минут я приду за письмом, — и, передавая мне пакет (мыло, зубной порошок, полотенце), добавляет:

— Был еще шоколад, но мои ребята (солдаты) съели его.

Цинично-откровенно...

Жизнь в тюрьме томительна. Кого-то вывели из камеры и, как передавали, отправили якобы в Хабаровск. Разные слухи неведомыми путями проникают за мрачные стены тюрьмы: кто «новенький» прибыл, кого вывезли в Советский Союз. Есть даже слух, что кое-кого освободят... И каждый хочет думать, что это его выпустят на свободу... именно его. Конечно, его...

Мы грязные, обросли. Наконец-то слышим, в коридоре расположились три парикмахера. Все довольны: понстине, стригут и бреют. И меня повели. Постригли,

сняли бороду, а усы, которые за месяц стали пышными, парикмахер отказался сбрить. «Почему?» — «Не надо, и баста!» Оставил меня с густыми усами. Видимо, не только «у каждого барона своя фантазия», но и у каждого брдобрея...

А наавтра еще большая радость — баня. Не Бог весть какая, но все же пополооскались в горячей водичке, смыли грязь. Надолго ли? Взамен грязнувшего белья получили по чистой паре, — не новой, и даже рваной местами, но стираной.

Вот так живем: что день, что ночь. Кое-кто умудряется спать целыми днями, и ночью спит. Таким легче — они все время во сне. А мы — мученики. На душе тревожно, мысли, думы терзают. И днем и ночью без сна.

Иом-Кипур. Тяжко мне. Я один знал, что сегодня (18 сентября) Иом-Кипур. Ничего не ел, не пил. Когда постишь на душе чище, словно спокойнее. И даже светлее в мрачном заточении. Про себя, лежа на нарах, молился: некоторые молитвы приходят на память.

Кончаются праздники. Сумерки. Там, в храме, раздается звук шофара, трубный звук, и дружный возглас — пожелание — надежда.

לשנה הבאה בירושלים!

А я? Меня что ждет?...



Нас в камере стало меньше. Куда-то убрали японцев и китайцев. Солдат из нашей стражи сказал, что их отправили пароходом в Советский Союз, в Хабаровск. И мы томимся от неизвестности.

Как-то часов в 11—12 ночи меня вызывают. Среди ночной тишины произносится громко моя фамилия. Подхожу к двери.

— Ты Кауфман?

— Да.

— Выходи.

Вышел в коридор. У дверей стоят два солдата: старшина и боец. Старшина берет меня за руку, вводит в комнату направо, тут же, рядом с моей камерой. Комната без двери, и лампочки в ней нет, — свет падает из коридора, в котором в разных концах висят на потолке маленькие лампочки с тусклым светом.

Мне страшно в темноте с двумя красноармейцами-тюремщиками. Старшина садится на небольшой стол, стоящий посредине комнаты и обращается ко мне:

— Мы только что были у тебя дома. (Мне стало жутко при этих словах). — Ох и угостили нас. И водки — сколь хошь. Младший сын твой молодец: пил водку с нами. Письмо вот есть для тебя.

И он, полупьяный, стал шарить в своих карманах. Вытаскивает из карманов разные бумажки, шнурки, мундштук, коробочку папирос, какую-то грязную тряпку (вероятно платок), пуговицу, спички, зажигалку и еще, еще. Кладет все на стол. Начинает копать в бумажках. Света нет в комнате, смотрит в темноте. Нашел какую-то бумажку:

— Вот, это тебе!

И сует ее мне в руку. Я говорю: а может, это не мне, надо посмотреть при свете. Он зажигает спичку, всматриваюсь, — да, действительно, эта записка мне.

Старшина говорит:

— Там еще жена послала тебе пальто, но в конторе (тюрьмы) его задержали, — ну завтра получишь, — и вдруг обращается ко мне: — Хочешь сейчас поехать домой?

Я испугался. Знаю, что движение по городу в ночное время запрещено; старшина пьян. Кто знает, что он затеял! Я говорю ему: поздно, нельзя. Он настаивает:

— Поедем! Сегодня вся стража моя: и вверху и внизу, и у ворот.

Накануне обстреляли автомобиль с солдатами, которые ехали по улицам города, не имея на то специального разрешения, а старшина упорно уговаривает меня:

— Повидаешь своих — и обратно!

Я отказываюсь. Может это провокация, ловушка? Я не поехал.

А пальто бы мне очень пригодилось. Уже конец сентября. И лежать на нарах не на чем, и покрыться нечем. Навтра я спрашиваю начальника тюрьмы о моем пальто.

— Какое такое пальто?

Объясняю ему, как мне сказал старшина: пальто послали мне, в конторе оно. Задержали его там.

— Никакого пальто не видел, никто его там не задерживал.

Я прошу его спросить старшину Медведева (так тот называл себя). Начальник тюрьмы протяжно свистнул: «Медведь? Их полк сегодня утром уехал домой, на родину...»

★ ★

Вскоре стали поговаривать, что нас отправляют куда-то. «Сведения» противоречивые: у одних — что в «лагерь» в Старый Харбин, у других — что в Советский Союз. Многие выражают удивление, возмущаются: как же так, ведь еще ни одного допроса не было. И действительно, меня за весь месяц в той и другой тюрьме ни разу не вызывали на допрос, вообще какого-либо видимого интереса к моей личности не проявляли.

25 сентября стало известно, что нас вывезут. Все «новости» от дежурного солдата — часового. Некоторые стараются беседовать с ним, «интервьюируют» его. А он, когда никого из начальства в коридоре нет, охотно рассказывает обо всем, что знает, что слышал, что подслушал.

Днем была у меня на «свидании» (через улицу) жена. Мы приветствовали друг друга, — я из своего тюремного окна, она с балкона дома визави во дворе. В бинокль смотрела на меня. Не удержался от слез. Когда уже прозвучал приказ собираться, — я увидел младшего сына Диму, стоящего наискосок от моего окна. Поздоровался с ним, стал подавать ему знаки, что

меня уводят отсюда. Вижу, не понимает. Хватаю какую-то лежащую на нарах шляпу, одеваю на голову, снимаю, кланяюсь, чтобы понял, что расстаемся, прощаюсь. Дима то озирается кругом, то в упор на меня смотрит. Но я должен идти: приказ строиться парами. Нас выводят в другой коридор, тоже на втором этаже. Вводят в камеру окном во двор, набитую людьми до отказа. Свыше ста человек. На нарах все места заняты, некуда приткнуться. Располагаемся на грязном полу. Дверь в коридор открыта. У решетки в камере напротив стоит д-р Фр., немец, товарищ председателя харбинской национал-социалистической партии (нацист). Последние годы еврей-врачи избегали встреч с ним даже на консилиумах. Слышу, д-р Фр. приветствует меня. Рад, наверно, что и я среди заключенных... Судьба этого нациста была иная, лучшая. Через два месяца он был освобожден советской властью, выпущен на свободу...

Часов в 9—10 вечера нас начинают выводить из камеры человек по десять. Каждый подходит к столу в коридоре, за которым офицер записывает фамилию и имя. Кое-кто пытается спросить его, офицер не отвечает, машет рукой, чтобы дерзнувшего спросить увели... Какие могут быть объяснения! Кто смеет задавать вопросы в ГПУ 1, МГБ 2, «Гестапо»?!...

В 11-ом часу ночи нас начинают выводить человек по 30. Уведенные обратно не возвращаются. Уходит одна партия за другой. Вот и я среди них. Во дворе, у самого крыльца стоит грузовик. Полно охраны. Винтовки, ручные пулеметы, наганы. Солдаты, офицеры. Усиленная стража. Ночь темная, сеется дождь. Поднимаемся на грузовик. Один из офицеров дает команду: сесть на корточки! Не смей вставать! В того, кто встанет, —

1 ГПУ — Государственное политическое управление.

2 МГБ — Министерство государственной безопасности. Сейчас КГБ — Комитет государственной безопасности.

приказываю стрелять! На грузовике человек 30 и четверо хорошо вооруженных солдат. Офицер еще раз повторил свой приказ: кто встанет — приказываю стрелять без предупреждения — и грузовик двинулся. Темно, город плохо освещен. Но я узнаю улицы, дома. Едем по Китайской, Аптекарской, Артиллерийской, Диагональной. Вот угол 3-й линии. Вот моя квартира — рукой подать. Семья в неведении, тревоге за меня и за себя. И слезы льются из глаз моих. Мы переехали виадук, мы в Новом городе, мимо вокзала куда-то дальше едем. Все сидят на корточках, голову поднять боятся, молчат. Тридцать живых трупов...

Остановились. Где мы? Далеко за товарной станцией. На корточках, еле сидим, без сил. Внизу, возле грузовика, усиленная стража, нас крепко охраняют. Накрапывает дождик. Приказ слезать с грузовика, строиться парами. Под усиленным конвоем, чуть ли не по солдату у каждой пары, мы идем по какому-то двору, мимо какого-то домика и приходим на какой-то далеко отстоящий железнодорожный путь, на котором стоит поезд со множеством вагонов. Полумрак. Мы останавливаемся у товарных вагонов. При свете свечных фонарей нас вталкивают в один из таких вагонов с надписью: 40 человек, 8 лошадей...

Мы влезаем. Небольшой вагон. Темно. Половина вагона — нары в три яруса. По десять человек на ярус. Но по десять человек можно только лежать на боку — всем на одном боку, так, чтобы твои колени входили в подколенки соседа, лежащего впереди тебя, а колени соседа сзади — в твои подколенки. На спине лежать нельзя — нарушаешь весь «строй». И если кто-либо хочет лечь на другой бок, то все должны повернуться на тот же. 30 человек таким образом улеглись на нарах, и я в том числе. А остальные десять (поистине, «40 человек, 8 лошадей»...) на грязнущем полу. И нары были из грязных досок.

С нами внутри, в вагоне, два молодых бойца с руч-

ными пулеметами ППШ через плечо. Уборной нет, даже обычной, примитивной, — желоба, по которому стекают наружу нечистоты. Кто-то спрашивает бойцов: как же быть? Оказывается, дело просто: боец раздвигает стену — двери вагона и «пожалуйста», — «хошь по-легкому — становись в дверь, хошь по-тяжелому — садись задом на воздух»...

Простояв еще с час на станции где-то в Харбине, поезд тронулся в путь. Куда едем? Ясно везут в Советский Союз. Это было в ночь на 26 сентября 1945 года.

Ночь. Полумрак. Горит маленькая электрическая лампочка. Лежим на нарах, на полу. Один из бойцов нашей стражи тотчас же улегся спать, положив возле себя ППШ. И сразу уснул. Спит крепко. Второй солдат сидит у двери, еле держит голову, она клонится вниз, веки отяжелели, глаза смыкаются. Хочет спать — нет сил. Обращается к двум заключенным:

— Вы, ребята, посидите тут, посмотрите, чтобы чего не случилось, а я лягу.

И он улегся, доверившись узникам. Спит стража, крепко спит. Намаялась за день с бесчисленными «арестантами», гоняла их всю — из сил выбилась...

В этом вагоне я провел двое с половиной суток. Кормили плохо: давали по 400 грамм черного хлеба в день и один раз приносили бочку с капустными щами. Сопровождаемые стражей, несколько арестованных ходили на станцию за щами и кипятком. Наши часовые получали сахар, консервы. Солдаты угощали дежуривших за них ночью заключенных, настаивали, чтоб и я взял: «Ешь, врач!» Но я не брал: неудобно перед товарищами быть привилегированным.

Один из стражников заговорил со мною. Вначале попросил медицинского совета: там у него болит, тут ноет. Он все не мог понять: как это так «врача» арестовали... Рассказал мне, что они сопровождают нас до Гродеково и — обратно в Харбин. И узнав, откуда я и кто там у меня остался, предложил мне передать семье записку.

Я испугался этого предложения — боялся за семью. Но боец шепотом повторяет:

— Напиши адрес, я зайду к жене твоей, расскажу о тебе, — и дает мне бумажку и карандаш.

Это было ночью. Я написал семье несколько слов о том, что здоров, надеюсь, скоро увидимся (тогда еще верилось в это... О, sancta simplicitas!) На другой записке, отдельно, написал адрес. И отдал солдату. Не без волнения и тревоги...

Через 16 лет, когда я встретился с семьей в Израиле, я узнал, что солдат, стражник мой, записку передал.

26 сентября вечером — тревога. Наш арестантский поезд остановлен где-то в степи, не движется. Стражу вывели из вагона, а нас заперли снаружи. Слышим: беготня, суета, возгласы, крики. Что случилось? Поздно вечером, когда все уже лежали на нарах, японец из соседнего вагона, которому открыли дверь для естественных надобностей, оттолкнул стоящего возле него солдата, и выпрыгнул на полном ходу. Местность покрыта лесом. Ночь темная. Пока дали сигнал тревоги и остановили поезд, беглеца и след простыл. Все солдаты-стражники отправились на поиски японца, но так и не нашли его. Видимо, он хорошо знал местность, знал, где можно укрыться. Вернувшись на свой пост, солдаты уже ложились спать по очереди. Беглец-японец вызвал недоверие ко всем. Стража осторожно наполовину открывала дверь для отправлявших естественные потребности и держала заключенного за руку.

28 сентября в 6-ом часу утра нас высадили из вагона на одну из платформ Гродеково — пограничной станции Китай—СССР. Я оказался на советской территории пленником, быть может, самых ужасных в наше время варваров.

ГЛАВА 2.

Нас построили по четыре в ряд, 1500 человек, арестованных в Харбине и Маньчжурии, и под усиленным конвоем повели по еще не проснувшимся улицам Гродеково. Было рано. Тишину нарушили лишь редкие американские грузовики, да то и дело со зданий кричали на нас плакаты и транспаранты: «Слава Великой Красной Армии, освободившей мир от фашизма и спасшей мировую цивилизацию», «Слава великому вождю мирового пролетариата, учителю всех народов, гениальному полководцу великому Сталину»... На многих домах развевались красные флаги.

Мы подошли к большому участку, кругом огороженному колючей проволокой. У ворот стоят вооруженные солдаты. Внутри одно длинное одноэтажное полуразвалившееся здание и пять—шесть маленьких домиков, тоже старых, очень неприглядных. Повсюду на окнах железные решетки. Это — тюрьма. Но откуда в этом поселке тюрьма на 1500 человек?

При царе-самодержце в такой тюрьме не было надобности. Гродеково — казачья станица, пограничный пункт, и в нем всегда стояло войско, гарнизон. Был офицерский клуб и офицерская гостиница. Давно это было — лет 25—28 тому назад. С тех пор здание разрушалось, гнило. А теперь пригодилось... Тюрьмы стали нужны в большом количестве для многих миллионов людей, для десятков миллионов, которых отправляли в разные города и селения Дальнего Востока — в Гродеково, Ворошиловск, Хабаровск, Ишим и др. Для этого и приспособили в Гродеково бывший офицерский клуб и гостиницу под

советскую тюрьму. Неважно, что здание развалилось. Огородили весь участок колючей проволокой, поставили вышки с часовыми — вот и тюрьма. В большом длинном здании имеется зал, остатки сцены и много отдельных комнат. Грязь в нем необычная, — десятки лет не мыли, не чистили, не подметали. Вот в это длинное деревянное здание нас ввели и стали расталкивать по отдельным комнатам. Куда попало. Меня — в комнату № 2 (на дверях намазана цифра 2.) Бывший номер для двоих, с одним небольшим окном. У дверей — печь высокая, до потолка, дверцы печки снаружи, в коридоре. Напротив печки — огромная бочка, ведер на 50. Это параша — популярная российская тюремная «параша». Вот и вся мебель «номера», вся обстановка. В эту комнату втолкнули 32 (тридцать два!) человека. Поистине, как сельди в бочке. Как же разместиться? Пол до того грязный, что и лечь страшно. Стали укладываться. Одни вдоль одной стены, другие — напротив, вдоль другой, ногами толкая друг друга. При всей экономии места, могли улечься только 8 человек с одной стороны до печки и 9 с другой — до параша. А остальные 15? Решили спать — лежать по очереди. У каждого будет 6 часов днем и 6 часов ночью.. Уже не беда, что на голом грязном полу ни лежать не на чем, ни подстлать нечего. Беда в том, что когда 17 человек лежат, куда деваться остальным пятнадцати? Двое сели на подоконник, один на край параша, другой упирается спиной в дверь. А остальные — кто стоит, а кто садится меж ног лежащих, на полу. Света в комнате нет, ночью тьма кромешная. Когда надо к параше — ходишь по людям, ступаешь на ноги, на руки.. Крики, протесты...

А сколько «зверей»! Клещи, тараканы, мошкара. Вскоре завелись и вши.

Первый день в Гродеково нас совсем не кормили. Только часов в 7—8 вечера выдали по куску хлеба. Кто-то возмущенно говорит: этак, мы скоро здесь подохнем.

В ответ кто-то в отчаянии: «Ну, и дай Бог, чтобы скорее передохли!»

Так потянулись дни в этих кошмарных условиях. На прогулку мы не ходим, только два раза в день выводят в «туалет». Где-то в конце двора стоят две будки — уборные, видимо, годами не чищенные. Туда нас водят рано утром и часов в 6 вечера. Через некоторое время вырыли во дворе большую яму — ров, перекинули с одного конца на другой длинные доски — это была общая уборная. Когда мы в первый раз отправились в эту новую, под открытым небом, уборную, один из конвоиров, молодой солдат, с восхищением сказал: «Вот так культурно!... Очень культурно»...

Лишь в конце октября нашу камеру повели в баню. Шли почти через весь поселок под усиленной охраной, по грязным улицам, по бездорожью. Мальчишки на улицах кричали нам вслед: «фашисты», «фашистов ведут», дразнили, показывая кусок хлеба: «На! На!» Протягивают его по направлению к нам и, радостно, громко смеясь, кладут хлеб в свой рот. Бабы выскакивали из хат смотреть на «фашистов», глядели в окна... Все же помылись в бане, в плохой скверной баньке, тесной, с крошечным холодным предбанником, да и горячей воды не хватило, — но все же окатились водичкой. Мыла дали микроскопическую дозу, так что еле-еле могли намылить голову. Многие без мыла стирали свое белье. Прошло полчаса — приказ одеваться, выходить из бани. Вышли и целый час стояли на улице, мерзли, в ожидании старшего конвоира — без него нельзя с места тронуться, он ответствен за наши тридцать две головы...



Как-то вечером меня вызывает начальник тюрьмы, старший лейтенант:

— Вы доктор?

— Да.

— Больных у нас тут много по камерам, а наш врач уехал в Ворошиловск за медикаментами. Да и какой он врач! Фельдшер военный (по-старому «ротный»). Посмотрите больных, доктор.

Я согласился. Со мною пошел этот начальник и еще один солдат. Камера № 1. На полу валяются 25 женщин. Когда я вошел, раздались голоса: «Ой, д-р Кауфман!» Больны две женщины, немки. Их мужья были представителями крупных германских фирм в Харбине. Я осмотрел больных в нескольких камерах, раздал порошки, таблетки. У одного из больных, крестьянина-пчеловода с Китайско-восточной железной дороги, был острый аппендицит. Я сказал начальнику, что его надо отправить в больницу, требуется немедленная операция. Начальник удивленно посмотрел на меня:

— Дайте ему каких-нибудь порошков, а завтра видно будет.

— Тут порошки не помогут, надо срочно оперировать, нельзя терять ни минуты.

Но мои слова не произвели на него впечатления.

— Где я буду искать для него больницу?

На это я возразил:

— Раз в поселке есть большое население и гарнизон, должна быть больница, и не одна, пожалуй.

Начальник пожал плечами, и мы пошли дальше. Все лекарства были розданы, и меня водворили на мое место, в камеру № 2. Больного с острым аппендицитом лишь через день—два отправили в какую-то больницу, где он, как я узнал, скончался на операционном столе от гнойного перитонита.

В следующий раз начальник тюрьмы предложил мне вести прием больных в амбулатории вместе с их «врачом», военным фельдшером, старшиной. Я согласился (хоть часа 3—4 в день буду в более или менее сносной обстановке) и стал принимать больных-заключенных. А заключенные в Гродековской тюрьме были исключительно харбинцы, земляки, свыше 1500 человек.

Когда они узнали, что я веду прием больных, почти все стали записываться к доктору и, придя в амбулаторию, приветствовали меня и подходили ко мне, не обращаясь к ротному фельдшеру, старшине, «начальнику здравпункта». Это заметно злило его. Как я ни старался смягчить положение, ничего не получилось, — все больные подходили ко мне со своими жалобами на болезни. Дня через четыре, когда утром конвоир привел меня в амбулаторию, старшина-фельдшер велел мне развешивать порошки, фасовать, класть их в кулечки-конвертики. Сначала он сам сел со мною, а как только привели больных, он стал принимать их, а меня «просил» продолжать то, что обычно делают санитары. Назавтра я пойти в амбулаторию отказался. Фельдшер послал за мной вторично, но я не пошел. Начальнику тюрьмы я сказал, что я готов работать как врач, но старшина-фельдшер не допускает меня к больным, а дает мне работу, которую может делать любой санитар и просто любой солдат. На это мне начальник сказал:

— Он у нас никудышный, через неделю прибудет сюда врач вместо него, настоящий врач.

Через неделю, действительно, приехал молодой врач, только что «со школьной скамьи», старший лейтенант, еврей. Он с первых же дней часто вызывал меня на консультацию, а потом я каждый день с утра вел вместе с ним прием больных. Он всегда спрашивал мое мнение, советовался, снабжал меня медицинскими книгами, прося лишь прятать их, когда иду по двору из амбулатории в свою камеру.

Меня перевели в другую камеру, маленькую, крошечную. Нас тут 14 человек: еле усаживаемся на полу. Но я отдыхаю днем. Предложили заключенным разгружать вагоны. Все пошли в надежде что-либо получить, хоть кусок хлеба. И действительно, приносили с собой немного пшеницы, а кое-кто хлеб. Я оставался один в камере. Отдыхал от всего: от духоты, шума, перебранки, грызни. И почитать днем мог. Они уходили на

работу часа на четыре. Как-то смотрю в оконце, выходящее во двор, пустой, грязный с двумя будками-уборными в конце его, у колючей проволоки. Вижу женщин ведут, совсем близко мимо окна моей камеры, и среди них вижу знакомую, председательницу ВИЦО, и она среди узников... Она меня не заметила, но через некоторое время мы с ней встретились. Какой-то женщине стало дурно, меня вызвали как врача, оказать ей помощь. Неподалеку от дверей, на нижних нарах (единственная камера, где были нары), лежала больная, охала, стонала, корчилась от боли. Я сел возле нее и взглянул случайно наверх: на верхних нарах напротив — знакомая из ВИЦО. Мы встретились с ней взглядами. Вижу, она сильно испугалась, повернулась на другой бок, спиной ко мне. Как потом оказалось, она знала уже, что ее освобождают и, вероятно, испугалась обнаружить «знакомство» со мною. Вскоре ее, действительно, освободили, вернувшись в Харбин, она рассказала по секрету о «встрече» со мною. Но недолго была эта женщина на свободе. Ее вновь арестовали. Потом она исчезла. Ее «ликвидировали»...

Однажды, — к тому времени уже начался допрос арестованных, — повели меня через весь двор к двухэтажному каменному дому, где помещались следователи, а некоторые из них и жили там. Ввели в кабинет. Следователь обращается ко мне:

— Я, доктор, вызвал вас, чтобы вы полечили мою жену. Вот уже две недели она болеет. Смотрел ее наш фельдшер, был и военный врач, полковой, но ей все хуже и хуже. Знаю я, что вы врач с большим опытом, известный. Я прошу вас посмотреть мою жену и дать ей нужное лечение, настоящее, хорошее.

— Пожалуйста, я не откажусь, — сказал я.

— Тогда пойдете.

— А где вы живете?

— Недалеко, в поселке.

— Но, гражданин старший лейтенант, не могу же я пойти в таком виде, оборванцем, на мне лохмотья.

— Ничего, это пустяки! — заявляет он.

Но я не соглашался. Я был, действительно, оборванцем. Лишь обувь была на мне довольно приличная. Почти новые полуботинки, темно-коричневые, из бельгийского хрома. Зато на брюках сзади большая зияющая дыра. Офицер оставил меня на пару минут одного в кабинете и вернулся с солдатской шинелью.

— Вот оденьте!

Я залез в шинель, и мы пошли к его больной жене. Солдат-конвоир, который меня привел, двинулся было за нами, но старший лейтенант сказал ему:

— Ты жди здесь.

Мы прошли по поселку, мимо невзрачных одноэтажных домиков, мимо палаток и вошли в какую-то хижину. Две убогие комнаты, серовато-грязные стены, мрачно. Лежит на кровати молодая женщина, а возле нее на полу и на стуле трое детей — это семья ст. лейтенанта.

— Ну вот, Танюша, я привел к тебе известного врача из Харбина. Он поставит тебя на ноги.

Женщина уже две недели болеет. У нее дизентерия, большое сердце. Я обследовал ее, сделал назначение, и мы со ст. лейтенантом отправились в обратный путь. Вернулись в его кабинет.

Он усадил меня на стул возле своего письменного стола и спрашивает:

— Как живется?

— Плохо, очень плохо, — ответил я. — Ужасные условия: тесно, грязно, душно, кормят скверно, вши беспокоят, ни белья, ни одежды, ходим, как видите, в лохмотьях...

— Скоро будет лучше, — говорит ст. лейтенант, — будете в лагере, там лучше. Скоро, скоро поедете в лагерь.

— Радости мало, — усмехнулся я.

— Что же? Ничего не поделаешь, — сказал он со вздохом.

И у него сорвалась с уст жестокая, но правдивая прибаутка про лагерь:

Кто не был — тот будет!

А кто был — тот не забудет!

Поистине, кого только «там», в тюрьме и лагере, не было! И едва ли кто-либо может забыть это!...



В конце сентября, после двухмесячного пребывания в тюрьмах, меня впервые вызвали на допрос. 10 ч. вечера. Темно. Меня ведут два вооруженных солдата: один с винтовкой за плечом — впереди меня, другой с ручным пулеметом — сзади. Тюремный двор кругом в сторожевых будках, возвышающихся над зданиями, — «вышки»... На вышке вооруженный солдат. То один, то другой с вышки окликает: «Стой! Кто идет?» Жутко. Конвоиры привели меня в нижний этаж двухэтажного дома, подвели к одной из комнат, и боец, осторожно открыв дверь, сказал:

— Товарищ старший лейтенант, привел заключенного.

— Дурак! Сколько раз я тебе говорил, что это не заключенный, а следственный!

— Виноват, товарищ старший лейтенант, привел следственного.

Молодой следователь начинает допрос: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность.

— Принадлежали ли к политической партии?

— Нет.

— Но вы сионист?

— Да! Сионист.

— Это тоже политика, национальная политика, — авторитетно заявил он и стал что-то записывать.

— Вы врач?

— Да.

— В армии у нас много венерических болезней. Никогда раньше этого не было. Заразили немецкие б...

А с лечением плохо обстоит. Все перебрасывают с одного места на другое, где тут лечиться регулярно, а то и лекарства нет...

И он стал интервьюировать меня по вопросу о современном лечении венерических болезней и их последствий. Видимо, его этот вопрос очень беспокоил. Мне стало жаль его...

Раза три вызывал меня на допрос этот следователь. И допрашивал и записывал мало. То ли он не знал, не успев проникнуться подлостью МВД, как ведутся эти сфабрикованные дела, то ли не знал, как подойти к сионизму. Молодого следователя сменил некий майор. Он допрашивал меня о харбинской сионистской организации, о том, кто был ее основателем, называл фамилии давно умерших членов комитета и все добивался списка настоящего состава комитета С. О. Я ответил ему, что С. О. в Харбине с момента начала войны, с 1942 года, не существовало, т. к. была прервана всякая связь с Палестиной и другими странами. Тогда он стал называть имена всех членов городского комитета С. О., причем в его списке был И. В. Г-н, который более 20 лет тому назад уехал во Францию, и еще некоторые, давно выбывшие из Харбина и умершие. Но были имена и живых, поныне активных деятелей. Затем меня три раза вызывал к себе начальник следственного отдела капитан П-ый. Он начинал допрос с оскорблений, все время сопровождая свою речь матерной бранью. Ругал меня, сионизм, Вейцмана, называя его английским шпионом. Чего только этот малограмотный хам и хулиган ни наговорил, какой только матерщиной ни украшал свои речи. Держал меня по четыре часа, требовал признания в сионистском шпионаже, стучал кулаком по столу:

— Говори, подлец! Что молчишь, сволочь!

Я и «прохвост», и «негодяй», и «проститутка»...

Один допрос продолжался всего с полчаса, — мне повезло. Во время допроса (это было в 5 часов дня) раздается телефонный звонок, — капитана зовут на «префе-

ранс» (карточная игра). Он тотчас же вызвал конвоира и приказал отвести меня в камеру.

Таким было следствие в Гродеково. Оно кажется пустяковым по сравнению с тем, что мне пришлось испытать на допросах в тюрьмах Свердловска и Москвы.



Нас без конца перебрасывают из одной камеры в другую, из одного домика-барака в другой. Система перемешивания людей и распространения обнадеживающих слухов обычна в советских тюрьмах. Начальство вообще все время распускало слух, что все будут освобождены, поедут обратно в Харбин, что есть такой приказ из Москвы, от Молотова и т. п. И не было у нас сил не верить этому.

В тюремной камере я — единственный еврей. Не раз мне приходилось выслушивать антисемитские речи, вроде «все из-за евреев», «еврейская власть», «все евреи — большевики». Слово «жид», видимо, тогда еще боялись употреблять в советской тюрьме. «Жид» считалось оскорблением. Зато повсюду стали евреев обзывать словом «Абрам», причем умышленно картавили: «Абхам». С антисемитизмом в разных формах и проявлениях мне часто приходилось встречаться во всех кругах и слоях в СССР, и в особенности среди тюремной и лагерной администрации.

Я уже свыше двух месяцев в Гродековской тюрьме, в кошмарных условиях. Людей днем гнали на работу, да они и сами рады побыть хоть несколько часов вне ужасной камеры, а иногда и заработать кусок хлеба. Кормили нас очень плохо. Как-то появилась американская тушенка. Но это было всего 3—4 дня, и давали коробку на десять человек. Так что кусок хлеба в нашей жизни означал немало. Однажды вернулись мои сокамерники с работы и говорят: «Для вас, доктор, есть посылка из Харбина, вещевая, большая». Они разгружа-

ли вагон и видели якобы посылку для меня. Стал ждать посылку, столь жизненно мне необходимую. День, два, три — нет ее. Я обращаюсь к начальнику тюрьмы, прошу выдать мне посылку, ведь я совершенно раздет, а уже холодное время года.

— Какая посылка? Кто вам сказал?

Говорю, видели посылку, адресованную мне.

— Не знаю, посмотрю.

Посылку я так и не получил. Заключенных систематически и всюду обирали, грабили господа советские начальники... Я в дальнейшем не однажды испытал это на себе.

Население в тюрьме самое разнообразное. Интеллигенция и люди физического труда, рабочие, люди свободных профессий и крестьяне, сельские хозяева. Молодой инженер, художник, артист-певец, секретарь польского консульства. Чиновники, приказчики, служащие полиции. И два православных священника среди арестованных. Вон тот, в углу, был сторожем на мулинских угольных копях, а тот, возле него — секретарь североманьчжурского университета. Все валяемся на полу, в пыли, грязи. Иногда беседуем меж собой, но общего мало, кроме горя, страданий, лишений.

Рано утром, после подъема, многие наперебой рассказывают свои сны, и начинаются толкования, подчас самые разнообразные. Однако есть и прочно установленное значение снов, не подлежащее сомнению и не вызывающее спора. Так, если снится вагон поезда или трамвая, — это означает дорогу. Сапоги тоже предстоящая дорога. Если вам снится еда, пища — это к добру, но если вы сами кушаете — это плохо, к худу. Церковь, вообще храм Божий, во сне — это к счастью, к добру, к удаче. Буквально все имело свое толкование, даже вши во сне. Ну, а наяву их толковать не приходилось. Они сами за себя говорили... и кусали... Каждое утро часами сидели на полу несчастные заключенные и толковали сны, придавая им огромное значе-

ние, то надеясь на лучшее, то впадая в отчаяние. Суеверие развилось у всех до невероятного. Я в этих беседах не принимал участия и своими сновидениями не делился. Но все это, видимо, влияло на меня подсознательно. И снится мне, что сижу я у себя в комнате дома, пишу. На столе перекидной календарь, 19-ое число. Проснулся и думаю о сне. Почему 19-ое число? Сегодня 6 ноября. И я начинаю внушать себе: что-то случится 19-го. Уж не освободят ли меня? Ведь вины-то никакой нет. Нет, этот сон неспроста, — 19-го что-то хорошее случится. Пару дней назад меня перевели в тот домик-барак около вышки, куда, все говорят, помещают тех, кого освобождают. Эх, скорей бы уж это 19-ое число! Я ни с кем не делюсь своим сном, ожиданием, воображаемым «счастьем». Моя фантазия со дня на день становится все более разгоряченной. Я верю в 19-ое ноября, жду его.

Через 8—9 дней меня и еще человек пять вводят в большое здание тюрьмы, в зал, выстраивают на полуразрушенной сцене, где уже десяток заключенных. Начальник тюрьмы делает переключку и приказывает развести нас по камерам. Вновь переброска. Меня — в пятую камеру. Когда открыли дверь в 5-ую камеру, я увидел маленькую комнатку, битком набитую людьми, дымно, душно. Был вечер. В камере полумрак. Меня втолкнули в камеру, и кто-то крикнул:

— Боже мой! Еще! Да куда же! Стоять негде! Ведь это уже девятнадцатый!

Слово «19-ый» мне ударило в голову. Мелькнула перед глазами цифра 19 на настольном календаре в моей комнате. Вот тебе и разгадка. Пришло 19-ое, прошло 19-ое — а я все в тюрьме... Устроиться в этой камере, где-либо усесться — было труднейшей задачей. Ни живого местечка. В углу у дверей большая параша, всю ее со всех сторон обнимают люди. Кто-то пристально смотрит на меня и, наконец, восклицает: «Доктор!» Всматриваюсь — и узнаю П. И. Ч-ва. И он тут... Старик занимал ответ-

ственные посты на Кит.-вост. жел. дороге, был начальником коммерческой части КВЖД. В старые годы мы с ним частенько встречались. Он очень интересный, культурный человек, большой любитель Библии. Я часто вспоминал наши прежние интересные беседы. Здесь, за тюремной решеткой, мы вновь говорили о Библии и на библейские темы. Когда население камеры услышало мое имя, каким-то чудом выкроили для меня местечко возле П. И. Ч-ва.

В ноябре нас «приодели». В каком-то сарае, где валялись груды разного барахла, мне дали грязные летние брюки, старую сильно поношенную кепку и такую же летнюю шинель, офицерскую, японскую. Каждого надели добром с убитых японских солдат и офицеров. Конечно, мы все приняли, ибо большинство, как я, были совершенно раздеты. А уже ноябрь на дворе. К счастью, не было еще сильных холодов, стояли хорошие дни, не морозные, — «сиротская зима»... В общем я кое-как одет. Правда, все грязное, старое, шинель длинная до пят, но все же одет...

Стали выводить на прогулку, на двадцать минут. По две камеры одновременно, — одна камера в одной половине двора, другая — рядом, в другой. Среди заключенных двое в военной солдатской форме, без погон. Они рассказывают, возмущенно, гневно: по семь лет заключения дали каждому из них за то, что они в Харбине грабили квартиры, отбирали часы, кольца, вытаскивали абсолютно все: радиоаппараты, стулья, посуду.

— Это делали и офицеры, с нами были вместе. Где же правда? На фронте фашистов били, а теперь вот по семь лет дали, вместе с фашистами в тюрьме сидим...

Грабили население в Харбине и других городах. Грабили, насиловали русских, евреев, японцев, китайцев. Опустошали квартиры, выносили все, до последнего табурета. И делалось это открыто, «официально», высшие чины — офицеры — руководили этими грабежами. Некоторые пытались протестовать, жаловались комен-

дану, высшему командованию. Те говорили, что этого не может быть, или обещали принять меры, а кое-кто чистосердечно предупреждал — это еще что? Вот придут ребята генерала Рокоссовского, тогда увидите, что будет, не так завоюете... Из окон камер в Гродековской тюрьме и будучи на прогулке мы видели, как по несколько раз в день проходили сотни открытых платформ с вывезенным из Харбина и других городов добром — мебель, машины, несгораемые кассы, кровати, ковры, телефонные аппараты, радиоприемники, автомобили...

Как-то меня вызывает мой следователь и спрашивает, что у меня забрали при задержании. Я ему перечислил.

— Квитанцию имеете?

— Нет.

Ст. лейтенант все записал, дал мне подписать протокол о том, что я сдал «на хранение», а он подписался, что получил.

— А копию протокола дал вам?

— Нет, не дал.

— А как фамилия ст. лейтенанта?

— Не знаю.

— А кто был при этом? Старшина? — следователь называет фамилию старшины.

Говорю, кажется так. Следователь как бы недоволен, сердит. Через дня 4—5 в коридоре какой-то молодой офицер сует мне ручку:

— Подпишите эту бумагу.

Читаю, в ней сказано, что у меня ничего не взяли. Я говорю:

— Как же так, у меня забрали много денег, золотое кольцо, авторучку — семнадцать предметов.

— Но в Гродеково ведь у вас ничего не взяли.

— А что было у меня в Гродеково? Я приехал сюда, голый, обобранный, у меня при аресте все забрали.

— Но здесь у вас ничего не забрали.

— Так ведь тут не сказано, что речь идет о Гродеково, а при задержании.

— Подпишите!

Я подписал, прибавив крупными жирными буквами «В Гродеково». Офицер посмотрел на меня зло и покрыл сочным, многоэтажным матом...

13 декабря бродит упорный слух, что нас завтра отправляют. Кто-то говорит — в Хабаровск (Приамурский край). И хотя каждый понимает, что ничего хорошего его не ждет, но все рады, что покидают эту кошмарную тюрьму, эти ужасные условия, в которых мы живем вот уже свыше двух с половиной месяцев.

14 декабря утром нас вводят в большое здание, где сидят два офицера и выдают белье и обувь. Один из офицеров бросает к моим ногам несколько пар ботинок:

— Подбери себе.

Я заявляю, что останусь в своих полуботинках. Вижу, моя обувь понравилась ему.

— Тебе в них холодно будет. Снимай!

Я повторяю, что всегда, всю зиму хожу в таких полуботинках. Приказ: «Снимай!» Ко мне подсказывает солдат и начинает снимать с меня мои хорошие коричневые полуботинки. Что поделаешь? Они сильнее меня... Мои полуботинки офицер быстро куда-то спрятал, опасаясь, очевидно, чтобы они не приглянулись другому товарищу... Из 3—4 пар ботинок, предоставленных мне на выбор, я ни на одной остановиться не мог, — все драные, смотреть противно. Офицер подбросил мне еще две пары. Я выбрал наименьшее зло — ботинки с двумя заплатами на каждом...

Окончилось снабжение бельем и обувью, и нас выводят на какой-то путь, где стоял поезд и несколько десятков товарных вагонов. Было морозно, дул снежный ветер. Часа два нам пришлось ждать на путях, пока нас

погрузили. Команда: Сажай! — и нас по одному стали гнать под усиленной охраной в товарные вагоны. Не так-то просто залезть в товарный вагон. Двери вагона раздвижные, высоко над землей, ступенек нет, лестницы не дают, — взбирайся как знаешь. Шинель длинная, мешает. Поставил одну ногу на какой-то крюк, держусь рукой за какую-то скобку, а подняться не могу. Два солдата подхватывают меня, помогают взобраться, причем один из них крепко стукнул меня прикладом. Спасибо! — помог...

ГЛАВА 3

14 декабря 1945 г., вечером, мы покинули Гродеково и отправились в неизвестном направлении. Дорога в товарном арестантском вагоне была еще ужаснее, кошмарнее всего до нее пережитого. В вагоне нас 104 человека: русские, японцы, китайцы. На нарах с трудом могут разместиться 56 человек. А нас 104. Нарамы решили пользоваться по очереди — делить день и ночь пополам. Двери-ворота вагона раздвигаются в обе стороны. С одной стороны возле них желобок — это уборная, туалет. По желобку все нечистоты идут вниз, на полотно, в поле. Примитивно, но и тут советский воин сказал бы: культурно... В левой и правой половине стоят железные печки. Посредине вагона небольшая кучка угля. Грязь, пыль. Стены внутри снегом покрыты.

Человек шесть устроились на полу, возле печки. Затопили — дымно; в вагоне стало теплее и... сыро. Снег на стенах и нарах растаял, стекает, лежим буквально в воде. Так день, другой. А не топить нельзя — мерзнем. Подостлал шинель и лежу на полу. От места на нарах отказался. От дыма, грязи угольной пыли мы черные. А воды для умывания нет, да и для питья нет. Кормят один раз в день чумизной или гаоляновой кашей. Хлеба дают по 400 гр. в день. Рано утром и днем наполняют бочку кипятком, по одной кружке на человека. Раз в день приносят сахар — 104 кусочка, по одному (7—8 гр.) на каждого. И это все. Были дни, когда давали кипяток только один раз и были дни, когда ни разу не давали воды. Было, когда и каши (чумизной) не дали, — только хлеб и кипяток.

Самое ужасное — это вши. Мириады вшей на каждом из нас. Дается команда (внутренняя, наша): бейте вшей! И каждый день с утра начинается эта «битва» — сбрасывают с себя одежду, белье и.... бьют, стреляют. Жуть! Следят, чтобы все это делали. И все это делают изо дня в день. Но от вшей избавиться не могли, несмотря на миллионы раздавленных, уничтоженных.

Мы заперты, на дверях снаружи замки, засов, на площадке — стража. Открывают дверь только, когда приносят пищу — хлеб, воду, кашу. И все же каждый вечер, в 6 часов, нас проверяют, — все ли налицо. Трудно считать в темном вагоне: нары, печки, уголь. Старшина стоит у дверей еще с двумя солдатами и велит всем по одному пройти мимо него. А он винтовкой отсчитывает: один, два, двадцать, сорок... И всякий раз счет вначале не сходится, — то всего 102, то 103, нет 104. Он злится, кричит, матерится. Еще раз считает. Бывало иногда считал по пять раз. Однажды, «начальник» приказал мне считать. Стою рядом с ним и солдатами, все проходят мимо нас, я считаю. Насчитал 103. Услышав эту цифру, начальник рассвирепел, ударил меня винтовкой, толкнул в грудь и велел всем снова строиться. Я говорю ему: гражданин начальник, счет же правильный, зачем считать? Он стал меня крепко ругать трехэтажной русской матерной бранью. А я ему говорю: «103 и я 104-й. А нас всего 104». Обрадовался, лицо засияло, выматерился от радости и, крикнув «по местам», удалился из вагона.

Не знаю, случайно ли, я вновь единственный еврей в вагоне. Среди нас много молодежи, пожалуй, половина в возрасте до 30 лет, есть и один подросток, ему еще нет полных 16-ти. Он обратил на себя внимание и тем, что был совершенно раздет. Без шинели, без пальто, даже без куртки. Я счел своим долгом похлопотать за мальчика, чтобы ему дали одежду. Тем более, что я был старостой. На второй или третий день нашего пути

начальник эшелона на остановке обходил вагоны. Зайдя к нам, он спросил:

— А где староста?

— У нас нет старосты.

— А вы кого-нибудь выберите старостой (кажется, единственное «выборное начало» в Советском Союзе).

После его ухода занялись этим делом. Все в один голос стали называть меня. Я отказывался, не хотел. Но все настаивали. Собственно, старосте нечего делать — лишь получать сахар и раздавать по одному кусочку каждому.

Через пару дней мальчику принесли какое-то длинное, старое пальто, вероятно с одного из умерших в поезде заключенных. А умирали многие... Органы советского МГБ, военная «Смерш» («Смерть шпионам») арестовали мальчика как служащего Японской военной миссии по обвинению в шпионаже. Действительно, в ней он топил печи, подметал. После тюремного вагона я не встречал этого подростка, но, несомненно, он был осужден минимум на десять лет — как весьма серьезный «преступник».

Известное изречение русского правосудия — «лучше десять виновных оправдать, чем одного невиновного осудить» — советские чекисты осуществляли иначе: «лучше сто невиновных засудить, чем одного виновного оправдать»...

★★

Мы едем без конца — день, два, пять, семь. Никто из нас не знает, куда везут? Часами стоим на каких-то занесенных снегом пустошах. Окон нет. Но в двух концах вагона, высоко в стене, над верхними нарами, есть узенькая, в десять сантиметров, полоска, конечно, с решеткой. Не поймешь для чего она: ни света, ни воздуха она не дает. Но через нее можно видеть степь, снежные поля. Сквозь щели между досками в двери вагона можно кое-что видеть. Как-то через 7-8 дней нашего пути, смотрю в щель и вижу среди снежных сугробов убогое, ма-

ленькое здание и над ним надпись черными буквами на белом фоне по-еврейски и по-русски: Биробиджан — **בירובידזשאן** Кругом мертво, ни живой души. Я не отходил от дверной щели, все смотрел на печальный сиротливый вид заброшенной к черту на кулички «Еврейской автономной области»... Судьбе угодно было, чтобы я и здесь побывал, хоть из окна арестантского вагона, но все же повидал эту пресловутую «автономную» область. Проехали Хабаровск, Биробиджан... В вагоне среди заключенных только и разговору: куда же везут нас. Кто-то говорит: «Известное дело куда, на Колыму». И в ответ с верхних нар: «Колыма, Колыма — чудный край света, двенадцать месяцев зима, остальное — лето»... Сколько на этой Колыме погибло заключенных, сколько на всю жизнь искалечено.

Случилась у нас в вагоне беда. На японской половине (русские как-то сразу отделились) загорелся пол под печкой. Публика заволновалась: шутка ли — пожар в арестантском вагоне. Умышленно, с целью побега... Тушить нечем — воды нет. А под печкой пол прогорает. К счастью, поезд остановился через полчаса. Стучим, кричим, зовем часовых.

— Что стучишь?

— Пол горит в вагоне!

Пришло начальство, человек 5—6. Один из начальников прежде всего надавал оплеух японцам, крепко обматерил всех. Кто-то из японцев сказал, надо за водой пойти. А начальник вместо этого заставил всех мочиться на горящее место: поливайте, сволочи, мать... И один за другим по десятку сразу стали «поливать». При этой процедуре несколько японцев получили оплеухи и удары прикладом. Часа три стояли мы, пока привели в порядок горевший пол. Два дня не давали дров для растопки и угля. Мы мерзли в наказание.

Уже свыше двух недель в пути. Вот и Новый год—1946-й. Среди нас начались заболевания. У многих гной-

ники, абсцессы, фурункулы. А помощи никакой. Ни бинтов, ни мази. Мы знаем, что в эшалоне есть санитарный вагон и сопровождает эшелон врач. На каждой остановке стучим в дверь, просим послать нам врача. Отвечают: «Ладно». Проходит день, два, три — врач не приходит, никакой помощи. Вечером на поверке я говорю лейтенанту, что у нас много больных, ни врач, ни фельдшер не приходят. Пусть дадут медикаменты, я сам буду лечить больных. Через два дня после этого солдат передает мне пакет — три бинта, кусок ваты, раваоловая мазь, граммов 50. И это все. Сделал кое-кому перевязки. Но как быть с двумя, у которых абсцессы на руке. Опухла рука, сильные боли. Гнойная инфильтрация прогрессирует, лимфатические железы болезненно припухли. У одного высокая температура. Они оба кричат от боли. Необходимо немедленно вскрыть абсцесс, опорожнить от гноя. Но что я могу сделать? У меня нет скальпеля. Кто даст в вагон заключенных такое острое «оружие»?! А врач не идет. Для чего санитарный вагон, врач, медсестра?.. Во всяком случае, не для медпомощи заключенным. Потом я в этом убедился. Как оказалось, во всех вагонах были и серьезные заболевания и не мало смертных случаев. С конца декабря началась у многих алиментарная дистрофия в тяжелой форме. Мы уже свыше четырех месяцев в кошмарных условиях. Голодание или систематическое полуголодание, длительное понижение калорийности пищи на 60—70 процентов. Почти полное отсутствие белков в нашем пищевом рационе — белковое голодание. В тюремных условиях, при этом состоянии психической сферы, дистрофия стала принимать опасные формы. Резкая слабость, сильная отечность всех органов, атрофия мышц, поносы с кровью. У нас в вагоне болеют человек 50, особенно японцы. Один японец умер. Без конца весь день зовем врача, стучим в дверь, в стену, кричим в окошечко в пути, на остановках. Много тяжелобольных, нужна помощь. Ответ:

скажем врачу. А врача нет. Кричим: у нас труп в вагоне, один из больных умер. Заберите труп.

— Ладно, придет врач.

На 5-й день пришел врач в военной форме — майор медицинской службы, изрядно выпивший. Первый вопрос врача:

— Кто у вас тут врач?

Указывают на меня. Я ему говорю о больных, — вот два с абсцессами, надо вскрыть их, дайте скальпель, перевязочный материал, и я это сделаю. Врач-майор отвечает мне:

— Я сам хирург, но разве тут можно это сделать?

— Но ведь есть санитарный вагон. Наконец, мы проезжаем большие станции, города, где на вокзалах имеются медпункты.

— Что поделаешь? — отворачивается майор, — тут не больница. Пришлю вам лекарства.

Я говорю майору:

— Конца нет нашему путешествию, уже 26 дней в пути, в этом грязном, душном вагоне.

Майор отводит меня в сторону и шепчет на ухо:

— Только никому не говорите, сообщаю вам, как коллега, — через 3—4 дня будете на месте, — положил пальцы на губы и шепнул: — в Свердловской области. Так я вам пришлю медикаменты, и вы уж давайте больным, вздохнул и добавил: — напасть! Попутал меня лукавый с этим эшелон! Беда!

Труп японца убрали, и на этой же остановке майор прислал порошки аспирина, пирамидона, бинты и мазь.

Мы ехали по великой Сибирской магистрали. Остановки были почти на всех станциях, и на каждой станции выносили из вагонов по нескольку трупов. В первых числах января заболел и я. Я не испытывал, как многие, чувство голода, но у меня появилась необычайная утомляемость, слабость, полиурия, сильное расстройство кишечника, головокружение, мышечные боли. Я валяюсь

на полу на своей шинели и страдаю. Страшно болеть. К счастью, мы, действительно, как мне сказал врач-майор, на четвертый день прибыли в пункт назначения. Это была станция Азанка, Свердловской области, в 300—250 км от г. Свердловска. 12 января 1946 г. наш поезд доставил на ст. Азанка 1500—1600 заключенных, жителей Маньчжурии. После кошмарных тридцати дней и тридцати ночей путешествия я еле держусь на ногах, у меня резкая слабость при малейшем движении. Поезд стоит на каком-то пустыре. Все кругом занесено снегом. Нелегко выйти из вагона: высоко, ступенек нет, внизу сугробы. В снегу стоит солдат с винтовкой. Я всех переждал — ну, как я с такой высоты прыгну, больной. Конвоир торопит: прыгай! Я подтягиваю вверх свою длинную шинель и, набравшись сил, прыгаю в глубокий снег. Солдат показывает мне дорогу — под вагон. Мы проползаем под вагоном на другую сторону. Там на платформе стоит начальство. Парами выстраивают заключенных. Какая-то женщина, одетая в овечий полушубок, подпоясанная ремнем, в валенках, на голове шапка-ушанка, обращается ко мне:

— Это вы врач?

— Да, я врач.

— Больны?

— Еле держусь на ногах.

Она дает команду:

— В госпиталь! Вот на эти сани его!

Тут же стоят сани — развальни. В санях паренек, держит в руках вожжи. Лишь только я улегся, паренек свистнул, подбодрил свою лошаденку: «Эй, Касатка!» — и мы помчались. Как я себя хорошо чувствовал на морозе! После тридцати дней в вагоне, после пяти месяцев удушья тюремных камер мы мчимся по снежной дороге. Кое-где домики, хатки, огонек тусклый в окне светит. Тишина мертвая. Километра три во всю прыть несется «Касатка». Я дышу свежим морозным воздухом, спешу дышать им, побольше вдохнуть его.

ГЛАВА 4

Уже приехали? Остановились у каких-то ворот у маленькой хатки-вахты. Конвоир открыл ворота. Нас подвезли к домику в конце двора, у забора. В домике полно народу, людской гул, темно. Стоят, сидят или в бессилии лежат на полу. Слышен стон. Я с трудом сижу — резкая слабость. Вошел человек, представился:

— Я врач. Сейчас вас поведут в баню, а потом в больницу. Накормим. Среди вас есть врач? Где он?

Я отозвался. Он подошел ко мне, осветил мое лицо карманным электрическим фонарем, протянул и пожал мне руку, назвал свою фамилию (Е-ов, Дм. Ис.) и добавил тихо: тоже заключенный.

Нас ведут в баню — она тут рядом. Разделись в холодном предбаннике. Все мои вещи заворачивают в шинель и забирают. Нас впускают в баню. Ничего не видно из-за пара. Становимся в очередь. На подмостках у оконца сидит женщина в белом халате — это парикмахер. Вокруг нее нагие мужчины. Чувствуешь себя неловко — женщина. Но что поделать, таков быт... Сел и я на табурет на подмостках, и женщина постригла меня наголо и побрила. Моюсь. Рядом со мною на банной скамейке незнакомый человек обращается ко мне:

— Вот, д-р К-н, мы оба в советской тюрьме, вы — еврей, свой человек у коммунистов, и я фашист, враг большевиков. Мы боролись с вами, евреями. Из-за вас закрыли «Наш путь», из-за вас распустили нашу партию. Но теперь мы уравнины, мы — товарищи, одна участь у нас. Забудем все.

Я ему ответил:

— Мы товарищами никогда не были и никогда не будем, даже в несчастье...

Он лежал в одном больничном бараке со мною, но никогда не подходил ко мне, не смел после моих слов. Через месяца полтора он умер от туберкулеза легких.

Помылись, каждому дают по смене грубого белья, кому новое, кому уже ношеное. Чего-то ждем, мерзнем. Служитель приносит два тулупа и три пары валенок. Мне и еще одному дают по тулупу и валенки, а третьему только валенки. Трескучий мороз. Бедняга третий, в одном белье, почти голый, шествует из одного конца двора в другой. В дальнейшем и мне приходилось таким образом ходить в баню и из бани. Пришли в больничный барак. Быстро сняли с меня тулуп и валенки, понесли следующим. А меня босиком повели в больничную палату. Посреди комнаты печь. Топится. Горят дрова, трещат. Тепло. Моя койка близко от печки. Ох, как хорошо! Через полчаса принесли хлеб и сто граммов каши.

До прибытия нашего эшелона помещение больницы было занято немцами-военнопленными, солдатами и офицерами. Накануне всех их перевели в другой барак. Но четырех врачей-немцев, среди них одного профессора хирурга-гинеколога М., оставили среди нас — 65 больных, размещенных в семи палатах. На завтра два немецких врача явились в нашу палату и стали осматривать больных. Один из немцев немного понимал по-русски. Выслушав наспех первого, второго больного, он говорит другому врачу «Theater», т. е. представляются, симулируют. Второй больной был со мною в одном вагоне, я знал его болезнь, его страдания. Меня возмутило это «Theater», и я по-немецки сказал врачам:

— Нет, это не «Theater», он, действительно, болен уже больше недели, я с ним вместе ехал в одном вагоне,— и добавил:

— Я тоже врач.

Они сначала с иронической улыбкой смотрели на

меня, но услышав, что я врач, не стали осматривать других больных и смущенно вышли из палаты. На следующее утро в сопровождении д-ра Е. в палату вошла женщина, которая отправила меня с вокзала в больницу. Она спросила, как я себя чувствую и скоро ли я буду на ногах. Я ответил, что дистрофия у меня в тяжелой форме и прогрессирует.

— Боюсь, что дело длительное.

Она спросила д-ра Е., почему я не в палате, где все врачи, и распорядилась перевести меня в 1-ю палату. Эта женщина была начальником санитарной части, фельдшерица, татарка по национальности. В течение многих месяцев мне пришлось работать ее подчиненным, я тепло вспоминаю о ней.

Больничный городок, находящийся в километре от лагеря, состоял из многих одноэтажных барakov и домиков. Тут три терапевтических отделения, хирургическое, нервно-психическое. Двухэтажное здание, в котором разместился детдом на 150 детей, детская больничка на 30 коек и роддом. Барак с трехъярусными нарами для «мамок» (матерей детей детдома), барак-общежитие для медперсонала, бухгалтерия, продуктовый склад и склад одежды, кухня. Аптека помещалась за «зоной», в поселке, и фармацевта два раза в день под конвоем выводили на работу и приводили обратно.

Медицинской помощью лагерной больницы и заключенных врачей пользовались все «больные»: начальство, их семьи, и даже жители поселков, находящихся поблизости от лагеря Азанка.

Больные все прибывают, и 90 процентов заболеваний — алиментарная дистрофия. Лишь единичные случаи воспаления легких. Питание по-прежнему плохое. Утром сто граммов каши, в обед крапивный суп, соленая сушеная рыба, хлеба 500 граммов в день. Как-то утром меня вызывают в процедурную. Закутался в одеяло и иду босиком (носков не было, а о туфлях или тапочках и речи быть не могло). За столом у окна сидит не-

кто в кожаной «комиссарской» куртке, брюки с кожаной подшивкой, галифе, большие ярко блестящие сапоги. Не обрадовала меня эта встреча. «Гость» предлагает мне сесть на табурет у столика, за которым и он сидит, и вдруг обращается ко мне на идиш:

— Как ваше здоровье, доктор?

Я ошеломлен. В комнате, кроме нас двоих, никого нет. Я ответил ему, что мое здоровье плохое, очень плохое. Сильные отеки, нечем дышать, сердце стало плохо работать.

— А что вам надо, доктор? Какое питание?

Я ему говорю, что я ничего не ем, нет аппетита, нет сил...

— Так вот, доктор, с завтрашнего дня вы будете получать каждый день молоко по пол-литра, а то и по литру. Пейте на здоровье, поправляйтесь. Я много знаю о вас, доктор.

И на идиш:

זיין זיך געזונט! (Будьте здоровы!)

Он крепко пожал мне руку и ушел. Кто он такой? Откуда он знает обо мне? Почему он пришел? Молоко я стал получать каждый день. Целый месяц получал. А таинственного незнакомца в комиссарской тужурке больше не видел. Позднее один из моих харбинцев передал мне привет от него и кое-что рассказал о нем. Это был еврей из Витебска, эвакуировавшийся на Урал в 1942 году. Тут, как коммунист, занял пост какого-то начальника в лагере. От евреев, моих земляков, он услышал обо мне, моей работе. Что-то «еврейское» заговорило в нем, и он решился помочь больному сионисту.

На третий день моего пребывания в больнице ко мне подошла женщина лет 35.

— Вы доктор К-н? Да, да, я узнаю нашего д-ра.

Она в 1936 г. уехала из Харбина в Советский Союз по «зову Родины». Сразу по приезде на «Родину» ее арестовали. Отсидела 10 лет в лагере, теперь «на воле», в поселке на Урале работает счетоводом. Услышала,

кто среди привезенных арестованных, и прибежала по-видать «нашего доктора». Обняла, поплакала. Назавтра прислала мне «гостинцы» — кусок вкусной рыбы, печенье. Я не помнил этой еврейской женщины, возможно, и не знал ее в Харбине...

Уже когда я работал врачом в лагере Азанка пациентка, молодая женщина лет 22, сказала мне, уходя с приема: «Вы уже лечили меня, доктор, я ведь тоже харбинка». И она в 1936 г., после продажи Китайско-восточной жел. дороги японцам, когда «Родина звала», со всей семьей приехала в Россию. Отец был сразу арестован, а дочь лишь года полтора тому назад. Ей напомнили, что она жила за границей, «сотрудничала с империалистическими державами», «содействовала мировой буржуазии» — она, девочка, выехавшая из Харбина в 12-летнем возрасте... 58-ая статья, пункт 4-й — десять лет лишения свободы.



Болезнь прогрессирует. Мне все хуже и хуже. Жидкость во всех тканях. Голова огромная, шея разбухла. Транссудат в брюшной полости. Резкая адинамия. Головокружение, как только встаю на ноги. Дыхание замедленное. Волнуюсь — неужели недостаточность мышцы сердца? Анализы не делают. Ни рентгеноскопии, ни электрокардиографии. Даже артериального давления не измеряют. Начальник санчасти часто навещала меня, интересовалась, когда смогу начать работать. Она спросила вполголоса д-ра Е. о моем состоянии. Он показал жестом, что прогноз плохой. Нач. санчасти грустно покачала головой. Был в моей палате начальник Сано (Санит. отдела), врач, в чине майора.

— Как бы вы лечили такого больного, как вы? — спросил он, подойдя ко мне: — Какие медикаменты нужны вам? Я постараюсь достать, если их здесь нет.

Я назвал два заграничных препарата. Он попросил написать их названия.

— Если достану, пришлю вам специально с сестрой.

Не прислал, — видимо не достал. Как-то вечером, в конце февраля, мне было особенно плохо. Тихо в больнице, в палате все спят. Я в полудремоте. Лежать не могу ни на боку, ни на спине. Сажу и, сидя, сплю. И, видимо, я сильно стонал, — мой сосед вдруг обращается ко мне:

— Вам плохо, доктор?

Я щупую свой пульс, кладу руку на область сердца.

— Позовите, пожалуйста, сестру, — прошу я соседа.

Сестра делает мне укол кофеина, остается у моей койки, держа меня за руку, следя за пульсом.

— Идите, сестра, мне лучше. Я попробую уснуть.

Я уснул и проснулся, покрытый потом с головы до ног. Мне снилось, что я иду по улице какого-то города. Я в драной одежде, в лохмотьях, босой, с непокрытой головой. Вижу железные ворота и за ними какое-то сильно освещенное здание. Широкие двери, фойе. Вхожу внутрь — залитая светом синагога, полно людей, закутанных в талесы с головою. На галерее теснятся женщины. На амвоне стоит кантор. Арон-Кодеш открыт, в нем полно свитков Торы. Я иду по правой боковой дорожке, поднимаюсь на амвон, никем незамеченный. Подхожу к Арон-Кодеш, целую свиток Торы и во весь голос кричу: **אֱלֹהֵינוּ אֱלֹהֵינוּ! לָמָּה עָזַבְתָּנוּ?** (Боже, Боже! За что, почему Ты оставил меня).

Поднялся необычайный шум. Я слышу крики сверху, снизу:

— Это доктор! Боже! Это д-р К-н!

Под шум и крики я той же дорожкой иду обратно к двери, к выходу. Дошел до ворот... и — проснулся... Я весь мокрый от пота, ослаб. По моему требованию сестра делает мне второй укол кофеина. Но я всецело под впечатлением сна. Долго, долго думаю, не сплю. И вдруг меня поражает мысль: мне снился храм, я был в храме, внутри храма... Ведь это означает хорошее,

удача, счастье... Я выздоровею, я должен быть здоровым... Намечаю план лечения. Один, другой, третий. Я не могу дожидаться утра. Единственное окно нашей палаты закрыто стеной снега. Но вот светает. Я закутываюсь в одеяло и иду к д-ру Е-ву, в его кабинку (он живет в нашем бараке, в крошечной каморке). Я говорю д-ру Е.:

— Доктор, я знаю, что мое положение плохое, но у меня есть основание надеяться на выздоровление. Я хочу начать энергично лечиться. Я наметил план лечения, хочу с вами посоветоваться, просить вас проводить это лечение. Помогите мне.

Д-р Е. ответил:

— Вы старый врач, у вас больше опыта. Пожалуйста, скажите, как вас лечить, и будем проводить это лечение.

План был таков: вливания глюкозы, никотиновой кислоты, впрыскивания кофеина, кордиамин внутрь и соляную кислоту с пепсином.

— Все, кроме кордиамина, есть у нас или можно достать. Пойдемте! — сказал д-р Е., взял меня за руку и повел в процедурную.

Я начал лечиться по новому плану. Питание стало сносное благодаря д-ру Е. Молоко я имел ежедневно. И с начала марта (1946 г.) я заметно пошел на поправку.

В один из первых дней марта по соседству с моей ставят дополнительную койку. Санитарка говорит, что это для заболевшего доктора.

— Какого доктора? — интересуются обитатели палаты.

— Доктора из второго отделения, — отвечает санитарка.

Через час уложили и больного. Времени не знаешь. В 5—5.30 вечера — ужин. Сразу после ужина начинается ночь. Все спят. В мертвой тишине лежу я со своими думами. Вдруг слышу:

חבר רופא! אתה מדבר עברית?

(Товарищ, ты говоришь на иврите?)

— Кто говорит? Неужели я брежу?

И опять:

חבר דוקטור

— Кто вы??

В темноте подходит ко мне человек, протягивает руку: «шалом»! Бывший студент харьковского мединститута, отбывающий второй срок заключения за сионизм. Отсидел пять лет и по освобождении получил новые десять. По тому же «делу» — за сионизм. Через пять месяцев кончается и эта «десятилетка». Он работает фельдшером во 2-м терапевтическом отделении. Когда все спят, мы ведем долгие беседы. Сидя в советской тюрьме и лагерях, он ничего не знал о том, что происходит в еврейском мире, в сионистском движении, в Палестине, и поэтому буквально глотал каждое мое слово. Узнав, что я жил в Перми и учился там в гимназии, он рассказал мне о своем приятеле — пермяке, Теме Вершове, делегате на нелегальной сионистской конференции в Москве в 1921 г. Тогда все делегаты были арестованы. Я хорошо знал семью Вершовых, — это были мои близкие друзья, сионистская семья. Тема был арестован вместе со всеми делегатами съезда, затем был выслан в Палестину, где вскоре умер от туберкулеза легких.

Мой товарищ по заключению закончил свой второй, десятилетний, срок через пять месяцев. Но его не освободили. Его вызвали в «спецчасть» и объявили, что он остается в заключении «до особого распоряжения»... Позднее до меня дошли сведения, что студента-сиониста Я. еще долгое время держали в лагере, много, много месяцев по окончании им срока наказания, а затем он был отправлен в ссылку. Мы с ним стали большими приятелями. Нас сблизили общие стремления, мечты, вера. В Свердловской тюрьме, на одном из допросов, следователь сказал мне:

— Дружка нашел себе в лагере, ну, расскажи про его сионистскую контрреволюционную работу, — и зло бросил в наш адрес: — Английские наемники!

В конце марта (1946 г.), после болезни, продолжав-

шейся около трех месяцев, нач. санчасти временно назначила меня заведующим 2-м терапевтическим отделением. Фельдшером в отделении был мой товарищ — сионист. Мы почти целый день вместе. Он дал мне свой бушлат — их у него было два, дал свои валенки. Вот и я одет: старые грязные брюки, бушлат, тоже не первой свежести, и валенки немного протекают... Не беда! Через неделю мне приказывают принять детдом и детбольницу. Поселился в детдоме, в отдельной комнате. В деревянном двухэтажном здании детдом занимал все помещение, за исключением трех комнат в нижнем этаже — в них роддом. По положению в лагерных детдомах должны находиться дети до двухлетнего возраста, т. к. это «дом малютки», но из-за войны не было возможности отправить их, и 150 детей оставались в лагере. Рожденные арестантками, дети считаются «вольными». На это обстоятельство постоянно обращают внимание, и потому забота о них должна быть особая: питание, уход, лечение. Няни у детей до одного года — заключенные, а для детей постарше обслуживающим персоналом могут быть только «вольные», ибо дети после года уже «понимают», «разбираются», а «преступники» могут привить им «контрреволюционные», «антисоветские» взгляды. Для этих детей, на их втором году жизни, предназначена также «сестра-воспитательница», которая несколько часов в день играет с ними, разучивает стишки и песенки в строго советском духе, а главное о «Сталине великом», про Сталина, вокруг Сталина...

Однажды ко мне на прием, в лагерь, привела свою трехлетнюю дочку сотрудница КВЧ (культурно-воспитательной части лагеря). После моего осмотра и назначения, мать обращается к дочурке:

— Ну, Светочка, расскажи доктору стишок.

И ребенок, встав в артистическую позу, начал:

— Я маленькая девочка, играю и пою, я Сталина не знаю, но Сталина люблю...

Детдом помещается в одном дворе с лагерем, по сю сторону заградительной колючей проволоки. Рядом,

бок о бок, нервно-психическое отделение (неплохое соседство). В само здание детдома, кроме матерей, «посторонних» не пускают. Но вокруг, там где дети гуляют и играют, со всех сторон — заключенные. Лагерное поколение подрастало, воспринимая чуткой детской душой многое скверное и дурное из окружающей жизни. Были среди детей трое от одной матери, но все трое от разных отцов. Старшей девочке 6 лет. Мать отбывает очередной срок за воровство. Заядлая воровка. Ее девочка как-то спрашивает вольную сестру-воспитательницу:

— Ты почему в лагере? Ты тоже воровка?...

Мать девочки живет в бараке для «мамок». Пришла она как-то ко мне что-то спросить о своем грудном ребенке, ползунке. Я ей говорю:

— Ты, кажется, скоро освобождаешься, кончаешь срок?

— Да, тринадцать лет сижу, через два месяца — на волю, — отвечает она.

— Что будешь делать одна с тремя детьми?

— А что, мало, рази, квартир? — говорит она и хитро улыбается.

— Как? — спрашиваю, не поняв ее ответа.

— А так, воровать буду, — был ее ясный и твердый ответ.

Среди «мамок» довольно большой процент отбывает наказание за воровство. Была одна, сидевшая за убийство, остальные — «политические», по пресловутой 58-й статье или «СОЭ» («социально-опасный элемент»). Обычный случай: в очереди среди сотен таких, как она, людей, не получив хлеба (когда очередь дошла до нее в 9 ч. утра, хлеба не хватило и лавочку закрыли), возмущенная женщина сказала:

— Вот с 4 ч. утра стояла и без хлеба осталась. Как же детей кормить! Порядки! И как из-под земли вырос перед ней «некто в сером»:

— Вам не нравятся советские порядки?

— Как же так, — негодует женщина, — ночь в очереди простояла и кусочка хлеба не получила. А детишки-то голодные.

Ее осудили на десять лет ИТЛ (исправительно-трудового лагеря) за контрреволюционную деятельность (КРД) — пункт 10-й 58-й статьи.

Вот еще одна политическая: жила себе молодая женщина мирно, тихо, с двумя детьми и матерью. Мужа забрали на войну. Бедно живут, трудятся. Пошла мать-старушка зачем-то в город. Надела бушлат. На улице валяются разноцветные бумажки. Подобрала старушка штук 5—6 — бумаги-то ни за какие деньги не достанешь. Положила бумажки в карман бушлата. Не читала их — неграмотная. Вернулась домой, повесила на гвоздь бушлат, а про бумажки и забыла. Дочери куда-то надо было пойти, надела бушлат, тот самый, единственный на всю семью, другого не было. На улице обыск, всех прохожих задерживают — ищут летучки. Летучки эти сбрасывали немцы, призывавшие русское население к содействию, ибо они, немцы, несут «мир и счастье» «измученному», «истрадавшемуся» населению СССР, изнемогающему «под игом большевиков». Советская власть запретила поднимать эти летучки. Поднявшему грозило наказание. Остановили женщину, обыскивают и находят в кармане бушлата летучки, немецкие, антисоветские. Что это? Женщина понятия не имеет. С ней долго не разговаривают — 85-ая статья, пункт 10-й, семь лет ИТЛ. Дома никто не знал о ее аресте. Бегала старушка, искала дочь, бегали, искали соседи. И в милицию, и в МГБ обращались — никто не знает, где эта женщина. Пропал след ее. А она тем временем уже в Востураллаге*, в заключении... Написала письма семье, знакомым, поведала о своей судьбе, за что заточена в тюрьму. И вспомнила старушка-мать про «бумажки», желтенькие, беленькие, ко-

* Восточно-уральском лагере.

торые она подобрала. Бумажки-то, вишь, германские были. Вот горе-то.

И вновь стали бегать мать и знакомые по разным учреждениям, доказывать, что не виновата баба. Уже пятый год «сидит» женщина. Через спецчасть в лагере подает одно, другое, третье заявление о своей невиновности, обращается к Председателю Верховного Совета, к Генеральному прокурору, просит пересмотреть дело. После пяти лет лагеря эта женщина получила извещение через Спецчасть, что она подлежит освобождению из «мест заключения», как «неправильно» осужденная... Сколько пришлось слышать таких историй! Ведь в тюрьмах и лагерях оказались многие миллионы ни в чем неповинных людей.

*
*
*

Я заведу детдомом, питаюсь в нем. Лагерники живут впроголодь, а у детей почти каждый день мясо, молоко и каша на молоке. Нач. санчасти вызвала экономку детдома и приказала хорошо, усиленно кормить меня. Она даже распорядилась выдавать мне дополнительно 500 гр. сахара в месяц. Взвесился я — всего 54 кг.

Как-то нач. санчасти встретила меня во дворе лагеря. Было это в апреле.

— Почему вы в валенках?

— Ботинок нет у меня, хожу в валенках, и то чужих.

Послала за бухгалтером, приказала выписать для меня ботинки, добавив: первого срока (т. е. новые).

Назавтра мне дали старые ботинки. Я отказался принять.

— Но других нет, — говорит бухгалтер.

— Так я подожду, пока буду в валенках ходить.

И я ушел. Бухгалтер, тоже заключенный, коммунист, был на свободе главбухом. Проворовался, попался, получил десять лет. Через час завскладом принес мне новые ботинки. Комбинация не удалась. Такое часто делалось лагерной администрацией — записывают, что выдали

обувь или одежду первого срока, а дают — второго, третьего. Новые берут себе или своим близким.

Работа у меня нелегкая. Много детей, не мало из них больны. Детская больница всегда переполнена: 25-30 больных детей — почти как норма. За грудными детьми постоянное наблюдение. Ежедневно проверка веса до и после кормления. Все нужно записывать, а не на чем — бумаги нет. В больнице вообще не ведется историй болезни, а для детдома... заготовлены доски (местность лесная), и на них пишут. Доска с перечнем всех детей, года и месяца их рождения. Доска записи веса, числа и часов кормлений. Температурная доска. Доска больных детей и диагнозов и т. д. — 15—16 досок. Доски толстые. Я прошу дать мне хотя бы фанерные, раз уж мы вернулись к тому времени, когда писали на камнях, дереве... Но фанерных досок не дают. При каждом утреннем обходе сестра и няни несут эту «литературу», эти тяжести за мной...

Приносит как-то повариха продукты со склада и говорит мне:

— Мясо дали несвежее, а есть свежее. Бухгалтер что-то шепнул завскладом, и свежее мясо отложили в сторону, а нам дали нехорошее, посмотрите, доктор!

Посмотрел я, конечно, забраковал:

— Несите сейчас же обратно на склад. Если не заменят свежим, оставьте это там. Совсем не надо мяса. Скажите, доктор не велел брать несвежее.

Завскладом был смущен. То свежее мясо оставлено для кого-то из начальства (лагерная администрация жила тут же в поселке и фактически за счет лагеря). Как же быть? Мясо-то ведь не для заключенных — с ними проще, — а для детей. Он стал уверять повариху, что мясо хорошее, не пахнет. Повариха упирается: врач забраковал. Завскладом, видимо, испугался, что будет «дело», а рыльце-то у него «в пуху», и дал свежее мясо. Бухгалтер, узнав, метал гром и молнии на меня, не забыв и мое еврейское происхождение.

В лживом, извращенном виде доложил об этом нач. санчасти. Я был вызван к ней.

— Почему вчера забраковали мясо?

Я посвятил ее во все проделки. Просил вызвать повариху, завскладом: пусть они дадут объяснения в моем присутствии. Завскладом признался, что мясо было несвежее, но не тухлое. Бухгалтер упорствовал: не имел права без нач. санчасти браковать мясо, должен был ей доложить.

— Но ведь ее не было, что же кормить детей несвежим мясом? Я врач детдома и несу ответственность за здоровье детей

Бухгалтер не выдержал, крикнул:

— Это еврейские штучки.

Позднее, в разных лагерях, мне приходилось встречать многих главбухов, которые сидели за махинации по бухгалтерской части, наворовав десятки и сотни тысяч рублей. Вообще уголовный элемент пользуется в лагерях у начальства большим доверием. Это «свои», «советские люди». Комендантами, например, назначают только уголовников (воров, грабителей, убийц). И в нашем больничном городке комендантом был уголовник, разбойник, который зверски расправлялся с заключенными, бил их вовсю. Сам же, со своей компанией (помощником и др.), воровал вещи заключенных. Я тоже пострадал — из кладовой 2-го терапевтического отделения украли мою шинель, ботинки, белье. Все знали, что это комендант орудует, — но он «свой», советский человек, который расправлялся с «контрреволюционерами»...

В один из майских дней объявили всем японцам (их было человек 70), чтобы они «собирались с вещами», — их отправляют. Радость среди японцев необычайная. Домой едут... Два японца пришли ко мне, говорят, что знают меня по Харбину, просят адрес моей семьи. Они зайдут, передадут привет от меня.

— А вам известно, куда вы едете? — спрашиваю я.

— Да, домой, в Японию.

По некоторым соображениям я отказался дать письмо. С утра, в день отправления, японцам стали выдавать их одежду, бывшую «на хранении» на складе лагеря. Японцы жалуются, громко протестуют — нет многих вещей. Одному не вернули свитер, другому куртку, третьему сапоги и т. д.

— Дайте мне мой свитер! Ведь это же мой собственный, а не казенный, — требует настойчиво один японец.

Нач. спецчасти ему отвечает:

— Тут собственного ничего нет, тут все казенное, и сам ты тоже казенный...

Кроме конвоя в большом количестве, японцев сопровождали две медсестры. По возвращении из командировки одна из них (вольная, конечно) рассказывала мне об этой поездке. Японцы доехали до Петропавловска, полные надежд. Они пели песни в вагоне, плясали — домой едем! Выехали из П-ска и замечают, что они словно в обратную сторону едут. Стали озабоченно смотреть друг на друга, стали спрашивать конвоиров. На ближайшей станции стали стучать в двери, в окна:

— Куда едем?

Стали шуметь, буянить. Их заверяют, что везут «домой», в Японию. Но они уже не верили. Несколько японцев бежали. Их поймали. Японцев привезли в Казахстан, в Карлаг (Карагандинские лагеря). Через пару лет я встретился там с ними. Так японцев «освобождали» и возили «домой»...

Пришел ко мне д-р Р., германский еврей, врач-невропатолог, фрейдист. В 1925 г. он и жена (тоже врач) переселились из Берлина в Москву. Так много наслышались заманчивого о большевизме, что их стала манить к себе страна Советов с ее «свободой». Оба начали работать врачами, но работали недолго, — оба были арестованы. И вот по 58-й статье д-р Р. и его жена находятся в заключении в разных «исправительно-трудовых лагерях».

Д-р Р. рассказывает, что у него в нервно-психиче-

ском отделении находится иешива-бахур из Польши. Намучился д-р с этим иешива-бахуром. Тот ничего не ест. Только в пятницу вечером в честь **שבת קדש** что-то берет в рот. Голодает, худеет, физически и психически деградирует. Д-р Р. просит меня при встрече повлиять на ешиботника, чтобы тот ел хоть что-нибудь. Юноша слышал обо мне и хочет меня повидать. В тот же день, вечером, наша встреча состоялась в комнате врача Р. Иешива-бахур бросился ко мне, схватил мою руку и стал ее целовать. Д-р Р оставил нас обоих. Мы беседовали около двух часов. Я после этого почти ежедневно навещал его, и мы подолгу сидели на скамеечке возле детдома или гуляли по двору. Бледный, ни кровинки в лице, тревожный взгляд, беспокойный, всегда грустный, он забыл как улыбаются. Как болела моя душа за него! Юноша бежал из Польши, от Гитлера, от ужаса, от смерти. На советской границе его схватили. Да одного разве? Сотни и тысячи беженцев сидят в советских тюрьмах по обвинению в шпионаже. Вот и этот иешива-бахур отбывает наказание за «шпионаж». Почему он не ест? А что он может есть из этой кухни? Мы подолгу беседуем. Я уговорил его в будний день пить у меня в комнате стакан чая с хлебом. На завтра принес ему из детдома кисель. Как-то он поел компот из яблок. Бабы — жительницы поселка стояли десятками у проволочного ограждения лагеря и предлагали ягоды (землянику, малину, смородину, чернику), но не за деньги, а за хлеб. Я получал тогда 700 граммов хлеба в день, а съедал не больше 100. Я менял хлеб на ягоды, и бабы молились на меня. Мой иешива-бахур ел ягоды с коржиками из белого хлеба, которые пекла повариха детдома. Бедный иешива-бахур очень тосковал по еврейской книге, евр. учении. Две «книги», которые он захватил с собой, конечно, отобрали у него — ведь это самая опасная контрреволюция...

Я с грустью расстался с этим юношей. Меня увезли в Свердловскую тюрьму. Через год харбинец, находившийся в Азанке, в нервно-психическом отделении, рас-

сказал мне, что в состоянии тяжелой депрессии ушел в другой мир этот молодой ешиботник, жертва страшного советского варварства и вандализма.



Курильщики очень страдают. С трудом достают махорку, с большим трудом. А вот бумаги нет. Не только папиросной (ее вообще нет), но никакой. Самая лучшая бумага для курения, утверждают курящие, — это газетная. А ее нелегко достать. За номер «Правды» в четыре страницы, который стоит 20 коп., берут восемь рублей. А где взять эти восемь рублей? Крестьяне раздобывают старые газеты, обрывки газет и меняют на хлеб. Им деньги не нужны — на деньги ничего не купишь. Некоторые делают большой «гешефт»: покупают газету за восемь рублей, делают из нее чуть ли не сто «закруток» и продают нарезанные для закуток бумажки, — пять бумажек за один рубль.

В июле приехала к нам инспектор сано (санотдела). Посетила детдом, детбольницу, познакомилась с другими отделениями. На совещании всех врачей и административных лиц лагеря, в помещении санчасти, инспектор говорила о постановке дела в больнице, указала на дефекты, отметила хорошую работу медперсонала в детдоме. Это вызвало недовольство врача-хирурга К-ко. Он стал жаловаться, что хирургическому отделению отпускается аптекой мало спирта, чуть ли не столько же, сколько детдому, что в аптеке вообще непорядки, и крикнул

— Черт знает, что там делается. Это не аптека а «еврейская лавочка» (заведующий аптекой был еврей Г-ч, заключенный).

И доктор К-ко демонстративно вышел из комнаты.

Инспектор сано пробыла у нас 3—4 дня. Как-то вечером она пришла в детдом, позвала меня в большую комнату — зал «грудников». Ее интересовало развитие

детей на первом году жизни, естественное и искусственное кормление. Я ответил на все интересующие ее вопросы, подтвердив их цифровыми данными, зафиксированными на толстых деревянных досках. Она, посмотрев на доски, только качнула головой и сказала:

— Канцелярия у вас тяжелая. Бумаги нет, зато в некоторых учреждениях она в изобилии.

(В МГБ у следователей бумага тоннами — в этом я вскоре убедился...). Мы вышли на большую веранду, сели на табуреты. Она стала спрашивать меня о моей жизни до ареста, за что арестован, по какой статье обвиняюсь, какой срок у меня. Я рассказал ей, что уже около года как арестован, у меня нет срока, нет статьи, не было суда, и я, можно сказать, еще без допроса. Сидел в одной тюрьме, сидел в другой, третьей, теперь вот здесь свыше полугода, ни разу не вызывали, не допрашивали.

— А вы получаете зарплату за вашу работу врача? Сколько?

— Около пяти месяцев работаю, пока ни копейки не получил.

— Как так? А немцы-врачи получают?

— Не знаю. Кажется нет.

Через неделю, когда выплачивали зарплату, мне и профессору-немцу выдали по 50 рублей за месяц, начиная с апреля. Деньги добыли из какого-то спецфонда Красного Креста. Что из себя представляли эти пятьдесят рублей тогда, можно понять, если за номер старой газеты платили восемь рублей, за стакан молока два рубля, за алюминиевую ложку — двадцать рублей... С 1948 года Сталин отменил всякую зарплату заключенным. Труд подневольный — какая же тут плата!

Однажды я застал в процедурной толстого, грузного человека в гражданском. Обращается ко мне:

— Вот, доктор, пришел лечиться, колет в спине, дышать больно. Посмотрите, пожалуйста. Может банки поставить надо.

Я его выслушал, сделал назначение. Вместе со мною выйдя из процедурной, он спросил меня:

— Почему вы так плохо одеты?

— А где же я возьму одежду? Не дают.

— А почему вы не обратились прямо ко мне? Я начальник снабжения.

Разговорились. Он оказался евреем, коммунистом, эвакуированным. Здесь дали ему должность начальника снабжения лагеря.

— Что вам нужно? Пойдемте!

Зашли мы с ним в бухгалтерию, и он говорит бухгалтеру:

— Выпиши врачу брюки, рубашку, куртку, бушлат, и все первого срока. Понял? Пиши! Я подпишу.

Я видел, как бедный бухгалтер-антисемит страдает, исполненный ненависти к еврею — начальнику снабжения и к еврею-доктору. Но утром я получил брюки, рубашку, бушлат первого срока.

В разговоре со мною, прощаясь, нач. снабжения сказал:

— Если что надо — обращайтесь прямо ко мне.

Меня, конечно, очень радовала полученная мною одежда, но еще более радовало еврейское чувство, еврейское сердце, которое еще билось в груди этого начальника...

Довольно часто, с разрешения администрации, вызывают меня к жителям поселка, к больным. В сопровождении конвоира с вахты, который расписывается в «получении», а по возвращении отмечается в книге, что он вернул меня, «сдал» дежурному по вахте, бываю в домах и хатах жителей Азанки. Грязно, темно, бедно, очень убого. Каждый день приводят ко мне в зону детей из поселка. Принимаю их в процедурной 2-го терапевтического отделения. Это большая нагрузка для меня при моей постоянной занятости, но отказаться нельзя. Я много работаю, устаю. Вечером часок-другой гуляю по двору с моим товарищем-сионистом. Беседуем, вспоми-

наем, мечтаем, на короткое время забывая о тяжелой лагерной жизни.



Лагерь в Азанке находился рядом с больничной зоной. В лагере до двух тысяч заключенных. Их гнали в лес на тяжелый труд — лесоповал. Была определенная дневная норма, которую каждый арестант должен был выполнить. Люди, да еще не привычные, изнывали от этой работы. Кругом стоит конвой, солдаты с винтовками и надзиратели следят за работающими. И часто люди калечат себя сознательно, чтобы выйти из строя, не работать. Отрубают себе палец руки, сильно ранят топором ногу.

Люди умышленно ранившие себя, называются «саморубами». Если установили (да это и не обязательно), что это «саморубство», саморуба судят, дают ему новый срок. При мне немало «саморубов» лежало в больнице. Я видел этих несчастных, отчаявшихся, беседовал с ними. Это были молодые люди в возрасте 20—30 лет. Что скажешь, когда человек, стоя перед этой ужасной действительностью, перед безнадежностью, впадает в отчаяние... Когда нервы не выдерживают...

Лагерь наш усиленно охраняется. На каждые 20—25 шагов вышки с часовыми, а между одной и другой вышкой — сторожевая собака на длинной цепи. И все же люди пытаются бежать. Но их ловят. С отчаяния, — не вмоготу больше, — бежали из лагеря Азанка два харбинца. Не зная местности, без копейки денег, одетые по-лагерному, они решились на побег!... Вечером, после работы, им удалось где-то в лесной чаще задержаться, укрыться и бежать. Стража спохватилась, когда всю партию привезли к воротам лагеря и вахтер стал считать. Двух «голов» не хватает. Считают еще и еще — нет, двух не хватает! Дежурный по вахте звонит дежурному по гарнизону. Тревога. Все начальство прибежало.

— Где двое?

— Знамо, бежали.

Установили, кого именно не хватает, и пустились в погоню за ними. Солдаты с винтовками, пулеметами и собаки-ищейки. Бежавшие оба молодые — одному 19 лет, другому 21 год. В лесу они потеряли друг друга и пошли разными дорогами. Бежали они в седьмом часу вечера, ночевали в лесу. Наутро один из беглецов добрал до какой-то хаты. Хозяева видят — усталый, без сил. Не предложили ни воды, ни хлеба (боялись?), побежали в милицию. Парня схватили и отправили в лагерь, заперли в лагерную тюрьму. Побег карается строго: специальный пункт 58-й статьи (кажется, 14-й пункт) с большим сроком наказания. Другой беглец, 19-летний юноша, сын священника из сунгарийского городка (Харбин), вышел на заре из леса, бежит по незнакомому простору, дышит вольно, а сил мало, голоден. Видит большой стог сена, залез в середину, зарылся, сидит притаившись. Но собака-ищейка по его следу добежала до стога сена, добралась до паренька. Стала рвать на нем одежду. Его схватили, привели в лагерь, положили в больницу, в мое отделение. Юноша был в тяжелом депрессивном состоянии. Раны на ногах, руках, теле.

Нервно-психическое отделение больницы полно больных из лагпункта. Как-то повели там весь барак в баню. В раздевальне, при обмене нательного белья, заметили крестики у некоторых. Остервеневшие тюремщики сорвали крестики с груди заключенных и стали топтать их ногами, ругаясь, матерясь (есть в Советском Союзе специальный «мат» — «Бога мать»). Верующие начали протестовать, кричать. Конечно, не помогло. Крестики вышвырнули. На некоторых из жертв безобразия и хулиганства это так подействовало, их реакция была столь сильной, что они были привезены в психиатрическую больницу и помещены в буйное отделение. И долгие месяцы находились там на излечении. Среди

них был и один земляк, бывший секретарь северо-маньчжурского университета.

Такой была наша лагерная действительность: саморубы, беглецы, душевнобольные...

В сентябре начали вызывать на допросы и отправлять в Свердловск. Вызвали и меня. Следователь, старший лейтенант, спросил фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность. И зачитал мне бумажку: я обвиняюсь по ст. 58-й, пункт 11, и ко мне применяется арест, как мера пресечения. Вот, когда, выходит, я арестован! Ровно через тринадцать месяцев пребывания в тюрьмах. Я спрашиваю офицера МГБ:

— А то, что было со мной до сих пор, не было арестом?

— Это вам, возможно, зачтется, — отвечает офицер.

— А, впрочем, не знаю, не уверен. Да меня это и не касается.

— А что означает статья, по которой я обвиняюсь?

И ответ офицера:

— Не к чему! Потом узнаете. Можете идти к себе. Вы работаете?

— Да, я врач, — отвечаю я.

— Продолжайте работать, — сказал офицер.

Мой товарищ-сионист, уже в течение 15 лет отбывающий срок, объяснил мне: «11-я статья означает, что ты не один в своем «преступлении», что ты «в сообществе», что дело это «коллективное», что тут целая организация. Чтобы усилить твою вину, добавляют — целая шайка мол вас, контрреволюционеров».

Я стал собираться в новый путь страданий. Технически это было несложно — ничего у меня нет. «*Omnia mea mecum porto*» — все на мне. Белья одна пара, брюки, куртка, бушлат и ботинки на мне. Из «имущества» только алюминиевая столовая ложка — собственная, на свои заработанные деньги купил, двадцать рублей за нее уплатил. Когда стало известно, что на следующий день утром меня и еще несколько человек отправляют, началось палом-

ничество «мамок» ко мне. И все с подношениями — яйца, огурцы, помидоры, крупа, мука (кормящие матери в течение первых четырех месяцев кормления грудью получают дополнительный большой паек, значительно уменьшаемый к концу кормления). Я умоляю забрать все это — куда мне столько? Ехать всего день—два, а там — в тюрьму. Но мамки все носят и носят. Стол, койка моя занята продуктами. Как я это увезу? Вечером мамки принесли мне чемодан из фанеры и замочек, изящный, блестит из белой стали. Закрыли чемодан и ключик вручают мне радостно:

— С Богом, доктор!

Утром мне приказано было явиться с вещами в санчасть. Прихожу и застаю там все того же следователя МГБ. Он производит обыск, перебирает все в моем чемодане — помидоры, огурцы, коржики.

— Куда столько продуктов? — спрашивает он с завистью. — Далеко собрались?

Я отвечаю ему:

— Куда меня везут — не знаю. Но сюда я ехал ровно тридцать дней.

Офицер обыскивает, ищет. Вытаскивает из чемодана мою алюминиевую ложку, кладет ее на стол. Я протягиваю руку к столу за ложкой. Но офицер хватается за ложку, кладет ее в свой карман.

— Это, гражданин ст. лейтенант, моя собственная ложка, заплатил за нее 20 рублей, — говорю я.

— Вам она не нужна, вам дадут ложку, — возразил офицер и захлопнул чемодан.

Доблестный представитель МГБ вырывает у меня из рук и замочек с ключиком, цинично заявив:

— Замочек мне пригодится... А вы веревкой завяжите чемодан.

Все «мамки» собрались у вахты проводить меня. Прощаются со мной, некоторые целуют, плачут. Вахтенные гонят их, но они не уходят.

— Полно тебе командовать! Мы в зоне, что ты нас гонишь Начальство тоже!

Заметили мамки, что чемодан без замочка, побежали, принесли веревку.

— Начальник, поди, стащил, они на чужое падки, — зло сказала одна. Под громкие возгласы: «Прощай, доктор! Будь здоров, доктор! Счастливо! Скорей на волю!» — я вышел за ворота лагеря — тюрьмы в Азанке. В глазах у меня стояли слезы. Мне было жаль их всех и себя...

Мой чемодан забрали. Нач. вагона спросил, есть ли у меня деньги.

— Да, есть!

— Сдайте!

Я сдаю. Прошу квитанцию.

— Нет надобности в этом, — заявляет он.

Я настаиваю. Он дал мне расписку. На сей раз мне по приезде в Свердловск вернули чемодан и деньги. Но в дальнейшем мне пришлось на себе убедиться, что никакие расписки, квитанции, за подписью и с приложением печати, — не помогают...

Арестантский вагон. В Советском Союзе нет слова «арестант», поэтому вагон называется «вагонзак» — вагон для заключенных. Этот вагон называется также «столыпинский», хотя Советская власть и в этом отношении превзошла времена и порядки царского сатрапа. Во всех купе уже сидели заключенные из разных лагерей («имя им легион»...), всех везли в Свердловск.

Окна вагона, в крепких и частых решетках, выходят только в одну сторону — в коридор. Купе без света, без воздуха. Советско-столыпинский вагон... Нас втокнули в одно купе с тремя ярусами нар. В купе на 7 человек — нас 26! Мы задыхаемся, сидим буквально друг на друге. Неожиданно двое проталкиваются ко мне с радостными криками: «Доктор! Абр.Иос.!» Это редактор Е. С. К-н и метрдотель «Модерна» Лев Ор-н. Обнимают меня, целуют. Вот, где встретились! Вместе с нами

и уголовные — убийцы, грабители. Это «привилегированные» — они, не стесняясь, раздевают вас в вагоне, снимают с вас сапоги, одежду и дают взамен свою, рваную. Вы можете возмущаться, кричать — никто не реагирует. Дежурный конвоир подойдет к волчку у двери, посмотрит — и дальше идет. А уголовники велят вам молчать, иначе — «плохо будет»...

Лишь в 1949 г. стали возить в отдельных купе «политических», не смешивая их, «контрреволюционеров», «антисоветчиков», с уголовными, «советскими людьми».

ГЛАВА 5

Прибыли в Свердловск. Я заявил, что у меня есть вещи и деньги, вот квитанция. Новый, принимавший нас офицер, взглянул на своего соседа, и тот заявил, что сейчас мне будут выданы чемодан и деньги. Я получил свое имущество и 350 рублей. Нас выводили запутанными, неизвестными путями целых 15 минут, пока мы не очутились в каком-то глухом закоулке, где стоял «черный ворон» (так называется закрытый автомобиль без окон для перевозки заключенных). Еще не раз в моей тюремно-лагерной жизни мне придется «кататься» на этом «воронке»... Заперли нас в машине человек 35 — друг на друге сидим. Задышаемся, кому-то дурно. Я думал, что не выйдем живыми из «воронка». Едем с полчаса. Прибыли. Тюремные железные ворота. 1-я Свердловская тюрьма. Нас ввели в довольно большую камеру, уже на три четверти заполненную, как оказалось, уголовниками, главным образом, ворами. Поражен я был, осмотревшись, когда увидел с десятков детей, в возрасте 11—14 лет. Русские и татарские дети, осужденные за воровство. Двое из них отбывали срок наказания уже в третий раз. Нам раздают по порции хлеба и приказывают строиться в коридоре, получать обед. В конце коридора оконце в двери, из которого каждому из нас дают по тарелке капустных щей и деревянную ложку, обгрызанную, с изрядным слоем грязи. Но кто, голодный, обращает на это внимание?... Через несколько лет в лагере Спасск, где кормили также скверно, я, как дежурный врач, однажды сказал заведующему больничной кухней, что больные жалуются на пищу, многие не едят ни супа,

ни каши, ни рыбы. Все приготовлено плохо. Завкухней позвал повара и говорит ему:

— Врач недоволен, больные не едят твоих блюд.

На это повар ответил с наглым цинизмом, улыбаясь:

— А какая разница, Степаныч, люди — не свиньи, все съедят...

Такой взгляд на заключенных был, по-видимому, распространен среди тюремных начальников... После «обеда» в камере начали командовать уголовники. Они стали отбирать хлеб, табак, папиросы. Подошел главарь воровской шайки и обращается ко мне:

— Угости папиросами.

— У меня нет, я не курящий, — сказал я.

— Я видел как ты курил. Выкладывай!

— Ты ошибся, я не курю.

— Выкладывай, говорю, если не хочешь быть калеккой.

Мой сосед вмешался:

— Послушай, товарищ! Он не курит. Это наш доктор, мы его все знаем. Он правду говорит, у него нет папирос. Вот бери, пожалуйста, я тебя угощаю.

Вор взял у него пачку папирос и ушел. Ночью вижу, как мальчишка лет 13 подполз к спящему японцу и шарит у него в карманах. Я крикнул:

— Ты что делаешь?

Мальчик убежал. Утром, после подъема, ко мне подошел заключенный-уголовник, молодой человек, и сказал:

— Ты не в свое дело не суйся, а будешь мешать — тебе не поздоровится.

И кто-то из «политических» шепнул мне:

— Боже вас упаси! Молчите, ни слова! А то пьнут ножом...

Таковы были наши «товарищи» по камере, наше «общество». Эти «товарищи» не раз вступали в спор, в драку, требуя дани, называя всех нас «фашистами», а о себе заявляя: «я настоящий советский человек». Это заяв-

ление часто приходилось слышать и от следователей, и от стражников, и от воров, и от убийц... «Настоящий советский человек» — кто может дать истинное определение этого понятия?!

В обед нас стали выводить из камеры группами по 5—6 человек.

Вновь «черный ворон» нес меня по Свердловску. Привезли в другую тюрьму, так наз. «внутреннюю», находящуюся в одном дворе с отделением МГБ на Ленинской улице. Долго ждали, пока открыли ворота, ждали и во дворе, пока открыли двери тюрьмы. Наконец, мы в большой комнате, совершенно пустой, ни скамеек, ни стульев. Приказ всем раздеться на полу, остаться в чем мать родила. Одежда валяется на полу, в ней тщательно роются. Проверяют по списку: «Фамилия, имя, отчество. Одевайся!» Нас разводят по камерам, всех в разные. Меня впускают в маленькую, узенькую камеру с двумя ярусами нар. Одно окно, конечно, в густой решетке, со щитом, да еще изнутри заставленное нарами. Темно. Адаптировался в темноте, занял место на нижних нарах.

— Если не ошибаюсь, д-р К-н? — слышу я голос.

— Да, он самый.

— Здравствуйте, доктор.

В чьем обществе я очутился? Лежащий на нижних нарах представляется. Он харбинец, А-в, из фашистских лидеров. Был Председателем Верховного Совета Российской фашистской партии и одновременно студентом богословского факультета лицея святого Николая (институт в Харбине, содержащийся на средства Ватикана). В Харбине я его никогда не видел. Этот фашист проговорился мне, что его партия засылала в СССР диверсантов, засылала через Амур — на лодках. Спустя некоторое время я с ним встретился еще раз в той же «внутренней» тюрьме, когда он уже служил тем, против кого раньше боролся. Есть люди, которых называют в СССР на тюремном языке «наседками». Старые заключенные

узнают их сразу и предупреждают: будьте осторожны, вон тот — «наседка»... Таким «наседкой» стал через месяца полтора этот самый фашист А-в. Тогда я был один в камере на двоих: две койки. И вот ко мне все-ляют еще одного. Смотрю — А-в, фашист. В советских тюрьмах заключенным не дают встретиться дважды. А тут подсаживают А-в, с которым я уже раз сидел. Я и в той камере не хотел с ним разговаривать, и теперь избегал этого. Проходит день, другой — мы вместе. Он не дает мне мыть под по утрам (обычно это делается по очереди), выносит парашу. Услуживает, ухаживает. В Свердловской «внутренней» тюрьме днем не полагается спать или даже лежать на койке. Это делается только с разрешения врача, ввиду болезни заключенного. На второй день пребывания А-ва в моей камере надзиратель объявляет в волчок, что он, А-в, может отдыхать от 2 до 4 ч. дня. А-в как бы смущен и советует мне:

— Обратитесь к врачу, и он вам разрешит отдыхать днем.

— Но вы ведь не обращались к врачу. Значит, одному можно, а другому нет, — сказал я ему.

Я начал смутно догадываться. Через два дня его вызвали на допрос. Буквально, через 15—20 минут он уже возвратился.

— Так скоро? — удивился я.

— Да, надо было только подписать протокол.

Свежо предание... — подумал я.

Через полчаса-час А-в спрашивает меня:

— А что такое «Мишмерис Хойлим?»

И до этого времени он пытался вести со мной беседу на политические темы, расспрашивал о сионизме, еврейской общине, — совете евреев Дальнего Востока. Я ему попервоначально сказал:

— Оставим все эти разговоры, я не люблю политики. Давайте говорить о богословии — ведь вы богослов, а то по истории, — я люблю древнюю историю.

Не знаю, понял ли он, что я уклоняюсь от разгово-

ра, во всяком случае, не раз пытался снова завести беседу на еврейские политические темы. И вот он, по возвращении от следователя, спрашивает о «Мишмерес Хойлим».

— А почему вам вдруг пришли на ум эти два чуждых вам еврейских слова? — спросил я его.

— Сам не понимаю, почему вдруг вспомнил эти слова. Это что — еврейская национальная организация?

Я ему сказал, «Мишмерес Хойлим» в переводе означает «охрана здоровья», это название общества лечебной помощи. А-в был разочарован. Утром его опять увели на «допрос», продолжавшийся с полчаса. Меня вызвали в ту же ночь. Среди первых вопросов, которые следователь задает мне, слышу: что такое «Мишмерес Хойлим»? Я невольно улыбнулся и ответил следователю то же самое, что и моей «наседке». Следователь, возмущается:

— Ведь это политическая организация!

Я возразил: Если, гражданин начальник, тиф, воспаление легких — это политика, то и лечение их дело политическое.

Он вскочил со своего места и закричал:

— Подожди! Ты у меня заговоришь! Все выложишь вот тут на стол!

Когда через два года я подписывал 206-ю статью о прекращении следствия и мне дали читать все протоколы и «свидетельские» показания разных лиц обо мне, я увидел среди них и «живые» показания моего сокамерника, «наседки», фашиста А-ва о евр. общине и организации в Харбине. Вот с кем я очутился в одной камере, когда меня перевели во внутреннюю тюрьму Свердловска.

Второй мой сокамерник, безмолвно лежавший на верхних нарах, был личный охранник «вождя» харбинских фашистов Конст. Радз. Я не сомневаюсь, что меня умышленно поместили в камеру, где сидели именно эти фашистские молодчики, черносотенцы, которые вскоре стали «верой и правдой» служить новой власти, до того

столь ненавистной им ... Меня перевели в другую камеру, где сидят незнакомые мне люди. Среди них молодой человек, сын казачьего атамана С. от первого брака. С детства жил с матерью в Париже, учился там. Он инженер. В 1945 г. поехал в Харбин с целью увезти родителей жены — коммерсантов. Пришли в Харбин красные, и его арестовали, — сына атамана С. Он ничего общего с отцом не имеет, не разделяет и никогда не разделял его взглядов, отца в глаза не видел. И вот он уже второй год в тюрьме. Его ежедневно терзают:

— Признавайся, какие задания имел от отца.

Молодой человек измучен допросами, плачет. А те свое:

— Признавайся, сволочь, подлец.

Через 8—10 дней и меня начали пытать допросами. Мой следователь, ст. лейтенант, как и большинство следователей МГБ, — малокультурный человек. Заучил наизусть несколько цитат из Ленина, а, главное, из «науки» Сталина, чьи слова и «мысли» цитирует без конца. «Вот, что говорит Иосиф Виссарионович», или «наш учитель», «наш вождь», «наш хозяин», «великий Сталин». Уже на первом допросе следователь имел перед собой толстую папку с «документами», бумагами, которую он все время перелистывал.

— А что это за тайное собрание в помещении Талмуд-Торы в 1941 г.? О войне СССР с Германией? — спрашивает следователь.

— Не знаю, не слышал о таковом, — отвечаю я.

— Вы и А-н говорили о роли евреев в этой войне.

— Такого собрания не было и не могло быть.

Следователь стучит рукой по папке с бумагами и кричит:

— Говорите правду, выкладывайте все. Не скрывайте, мы все знаем. Если признаетесь — облегчите свое положение.

— Такого собрания не было. И вопрос о войне у нас не обсуждался ни явно, ни тайно. Это ложные

сведения у вас, наверно из фашистских, антисемитских кругов, — заявляю я. — На собрании говорили о пользе этой войны для евреев, что евреи наживутся на этой войне, — твердил следователь.

— Это гнусная клевета, ложь, — настаиваю'я.

Тогда следователь грозно объявляет:

— Евреи хотят завоевать весь мир — это известное дело.

Я тихо ответил:

— Это старый, избитый мотив черносотенцев и юдофобов всех времен.

Мои слова вызвали целую бурю. Следователь стал кричать, ругаться, «крыть» меня безобразной матерной бранью, стучал каким-то предметом по столу.

— Мы значит, черносотенцы, по-твоему. Я тебе покажу, ты у меня сгниешь в тюрьме.

А сидевший напротив него за другим письменным столом ст. лейтенант, тот самый, который стащил у меня алюминиевую ложку и замочек, спокойно сказал:

— Что ты с ним разговариваешь! Отправь его в карцер, пусть трое суток посидит там с крысами...

Мой следователь позвонил по телефону, вызвал конвой, и меня увели. Я был водворен в свою камеру. Таков был мой первый допрос в Свердловской тюрьме. Первый из сотен допросов, которыми меня пытали днем и ночью. Меня допрашивают каждый день с 10—11 ч. дня до 6 ч. вечера. Темы допросов — сионизм, еврейская община, евр. организации и их «контрреволюционная» деятельность. Мой следователь явно не разбирается в еврейских делах, о сионизме имеет очень слабое представление. Он путается в вопросах, смотрит то и дело в лежащую перед ним папку, заглядывает в какую-то брошюрку-тетрадку и никак не разберется в документах и доносах, которые хранятся в этой папке. Уж 5—6 допросов было, а я еще не подписал ни одного протокола, видимо, следователь не может их обработать.

Как-то в два часа ночи будят меня:

— Собирайся!

Ведут на допрос. А ведут на допрос из тюрьмы в большое здание МГБ так: идут трое гуськом — я в середине, а впереди и позади меня по конвою с винтовкой или наганом. Вводят в здание МГБ — в холле огромный портрет «хозяина», И. В. Сталина, во весь рост, портрет от пола и чуть ли не до потолка. Ведут на 3-й этаж. Привели в кабинет моего следователя, конвоир доложил, что привел меня. Следователь вскакивает с места: «Пойдемте, К-н!» Идем по коридору, спускаемся в первый этаж, входим в кабинет — зал. Начальник следственного отдела полковник Пор-н. На возвышении (подмостках) стоит большой стол, покрытый красным сукном, сидит откормленный, толстопузый полковник, с грубым, простым лицом. Внизу, у подмостков, на устланном ковром полу, несколько кресел. Вдоль стены напротив — ряд стульев. На один из них мне приказано сесть.

— К-н? Абр. Иос?

— Да.

— Ты почему ничего говорить не хочешь? — угрожающе повышает голос полковник.

— Я отвечаю на все вопросы, говорю то, что мне известно, — отвечаю я.

— Врешь, сукин сын! Ты у меня заговоришь! Не таких, как ты, мы научили говорить. Говори сейчас же, а то поздно будет. Потом проситься будешь, чтоб слушали тебя, а будет поздно. На коленях будешь ползать, а поздно будет. Понял, прохвост! Я сломаю тебя. В тряпку превращу, без воли будешь. Все говори, проститутка! — рычит полковник.

Молча выслушал я монолог этого «большого» начальника МГБ, монолог, сопровождаемый после каждых 3-4 слов крепкой матерной бранью.

Допрос начался со «шпионской сионистской организации Дальевцеб» (Дальневост. еврейское центральное бюро — «Гиас»).

— Говори, с кем за границей вели переписку? Кому во Франции, Бельгии, Америке давали сведения о Советском Союзе?

Отвечаю:

— Дальевцеб — это организация, правильное бюро, занимавшееся розыском родных, помощью иммигрантам, устройством их на местах, подыскиванием для них работы. Я лично активного участия в этой организации не принимал, но деятельность Дальевцеба мне хорошо известна.

Полковник буквально зарычал, стал стучать и руками и ногами:

— Врешь, мерзавец! Это сионистская шпионская организация.

И, обращаясь к следователю, который сидел внизу в кресле, крикнул:

— Что за негодяй! Так нагло врет! — и затем мне:

— С какими шпионскими организациями за границей Дальевцеб был в связи?

Не успел я выговорить слов: «Дальевцеб не шпионская организация», разъяренный полковник закричал, обращаясь к следователю:

— Убери его! Убери! Авось одумается!...

Этот же полковник П. в одну из следующих ночей терзал меня по поводу организации Брит-Трумпельдор. Меня вызвали на допрос в 12 ч. ночи. И первый вопрос: что за организация Брит-Трумпельдор? Отвечаю:

— Это культурно-спортивная организация еврейской молодежи

— Английская, — заявляет полковник.

— Не английская, а еврейская молодежная организация, — отвечаю я.

— Вот негодяй! В глаза нахально врет. Брит! Брит! Британская организация! Стало быть, английская, — вопит полковник и «кроет» меня безобразным матом.

Я, чеканя слова, заявляю:

— Брит — это еврейское слово, означает союз. Брит-Трумпельдор — означает союз имени Трумпельдора.

— Ну и подлец! Что придумал, — кричит полковник. И затем обращается ко мне:

— А что это за Трумпельдор такой?

Отвечаю:

— Трумпельдор — это еврейский национальный герой.

Полковник перебивает меня:

— У евреев нет героев. Говори правду! Кто такой Трумпельдор? Шпион?

Я спокойно продолжаю:

— Иосиф Трумпельдор — еврейский национальный герой. Он и в русско-японской войне отличился, офицер, георгиевский кавалер.

— Все это брехня! Ты врешь. Твой Трумпельдор — говнюк! — орет полковник.

— Говори! — приказывает он.

Я молчу.

— Говори, сволочь! Мать твою... Что молчишь?

— Я все сказал, — ответил я.

Тогда полковник приказывает ст. лейтенанту-следователю:

— Ты посмотри на него! Да он у тебя и не похож на арестанта. Почему он в очках? Забрать у него очки.

— Слушаюсь, товарищ полковник!

— И отрежь у него все пуговицы с бушлата, с куртки, брюк. Оторви пуговицы. Пусть ходит и поддерживает штаны, — рычит сладострастно сатрап.

— Есть, товарищ полковник!

— Уведи его. Придется ему отведать карцера, — закончил полковник.

Было уже три часа ночи. Следователь повел меня в свой кабинет. Он сразу же снял с меня очки, спрятал их в ящик письменного стола. Оттуда же достал ножичек и начал отпарывать пуговицы бушлата, потом куртки. В это время вошли два офицера: ст. лейтенант и капитан. Капитан видит, что мой следователь отпарывает пуговицы с моих брюк и спрашивает:

— Что ты делаешь?

— Полковник приказал.

— Мало ли что он приказал. Брось, не валяй дурака. (Полк. П-на все ненавидят и боятся).

И мой следователь оставил это дело, успев оборвать с брюк лишь одну пуговицу.

Очередной ночной сеанс был посвящен «Маккаби». Любопытно, что это было в дни Ханука, о чем я узнал случайно. В мою камеру ввели заключенного лет 40. Заподозрив в новом человеке «наседку», я был очень сдержан и уклонялся от бесед с ним. Желая, видимо, заполучить доверие к себе, он спросил меня:

— Вы еврей?

— Да, — ответил я.

— Я тоже еврей, — сказал он.

Но и это не вызвало у меня словоохотливости. Назавтра он вновь пытался завести со мной беседу и в разговоре сказал:

— А вы знаете, что теперь Ханука?

— Нет, не знаю, — ответил я.

— Да, сегодня вторая свечка, — сообщил он.

— Спасибо, что сказали. Буду в душе праздновать, — поблагодарил я.

Днем его вызвали якобы на допрос, и он больше в камеру не вернулся. Около суток он был в одной камере со мною и ничего от меня не узнал. Зато я узнал от него, что теперь Ханука. Начало темнеть. Где-то там, далеко-далеко теперь зажигают ханукальные свечки — «память минувших печалей и бед, подвигов громких и славных побед»...*

Я встал на батарею парового отопления и смотрю в окошко под потолком, задернутое густой железной решеткой. Какое яркое небо! Сколько звезд! А где же моя звездочка? Ищу ее на том маленьком куске ночного купола, который виден из моего крошечного окошечка. Смотрю на звезды — вот они мои ханукальные огни,

* Из стихотворения С. Фруга «Светочи Маккавеев».

светочи Гамахби. «Говорите, лампадки святые мои! Светите, вещайте про дивные дни!» Слышу крик надзирателя-тюремщика, он кричит в волчок:

— Куда залез? Чего не видал там? Слазы!

Подчиняюсь. Но мне светят огни борьбы за честь и свободу, огни возрождения. Я вижу их: «Кротко мерцающая порою ночной, восемь лампадок горят предо мной»... Вскоре в тюремном коридоре раздается громкая команда: «Отбой». Это значит — надо ложиться спать. Улегся на койку, а все мысли о Ханука. Воспоминания тревожат душу, мечты. Ночью меня будят: «Собирайся!» Ведут из тюрьмы через темный двор в большой дом. Вхожу — ярко освещенное здание. Стенные часы показывают 2 — два часа ночи. Но я уже привык к этим ночным допросам. Мой следователь ведет меня в кабинет полковника П., который сидит на своем «троне» и перелистывает страницы какой-то толстой папки.

— Садись! — скомандовал полковник.

Смотря в бумаги, не поднимая головы, он обращается ко мне:

— Маккаби... Что это такое?

Я объясняю: Маккаби — еврейская национальная спортивная, культурная организация молодежи.

— А почему Маккаби?

Объясняю значение слова Маккаби (по-русски Иуда Макковей). Полковник МГБ не верит мне, не верит Иуде Гамакби, не верит истории.

— Говори все, — требует полковник.

И пришлось мне рассказать всю историю героической борьбы Иегуды Гамакби, всю историю той эпохи. Вот так я отпраздновал Ханука в 1946 г. в Свердловской тюрьме... Моя речь не понравилась полковнику.

— Все ты врешь. Никак таких героев не было у евреев. И никакого Маккавея не было. «Маккаби» — это политическая, антисоветская организация, которой ты руководил. Нам все известно про Маккаби, — заявил

полковник, приподняв при этом толстую папку с бумагами, и добавил:

— Слушай К-н! Я тебе в последний раз говорю. Мы знаем, кто ты, знаем про всю твою сионистскую контрреволюцию. Не будешь говорить правду — плохо тебе будет, — и обращаясь к следователю:

— Уведи его!

Не спится. Мысли о Ханука, воспоминания бередают раны... И что дальше, дальше что будет! Я уже 15 месяцев в заточении, третий месяц в Свердловской тюрьме. Почти все время в камере-«одиночке». Кормят плохо, — нечем кормить — 1946-й год. Уборка камеры на мне одном. В 6 ч. утра «подъем». Встаю, по команде выношу «парашу», иду за ведром с водой, грязнушей тряпкой мою пол. Целый день то хожу по камере, то сижу на табурете. Лежать на койке не полагается. Она на день приподнимается и привинчивается к стене. На стене, возле оконца, висят «правила». Сначала напечатано то, что заключенным «запрещается», а под ними, что «разрешается». Запрещенных статей, конечно, больше. Все «запрещается»... Среди немногих «разрешается» нашел пункт о чтении книг из тюремной библиотеки. Я обрадовался. Хоть какое-нибудь печатное слово. Все буду читать, любую книгу. Только бы книгу! Но рано я обрадовался... Время от времени по утрам заходит в камеры тюремное начальство. Дежурный офицер спрашивает, имеются ли какие заявления, просьбы. Я заявляю, что хочу пользоваться книгами из библиотеки. Офицер иронически-злорадно ухмыляется:

— Книги еще печатаются, вот напечатают, тогда дадим.

Я ссылаюсь на правила, висящие на стене, но он отмахнулся:

— От этой библиотеки и следа нет — все раскурили. У меня невольно сорвался с уст возглас:

— Книги раскурили?!...

А он в ответ:

— У тебя там, за границей, все было: и папиросы, и сигареты. А мы и махорку еле доставали, а где бумага на курево? Вот то-то и оно...

Томительно, тяжело в тюрьме. Мрачно, беспросветно. В ноябре стали выводить днем на прогулку. Меня одного выводят — я в «одиночке». Гуляю по маленькому дворику, огороженному с четырех сторон высоким деревянным забором. Над двориком, у одной из стен, вышка, на ней солдат с пулеметом. Он видит каждый шаг, каждое движение. Рядом тоже дворик, слышу шаги гуляющего, хруст снега под ногами.

Дня 3-4 был со мною в камере харбинец, юрист. Еще в 1912—1914 г. он служил секретарем Окружного суда, а после февральской революции стал заниматься адвокатурой. Сильно запил. Ударился в религиозность, не пропускал ни одной тризны, трапезы, где можно было бы выпить и покушать. Культурный, способный человек, он сильно опустился, деградировал. Невыносимо страдает без водки, не может жить без нее, а тут его изводят допросами. В каком-то письме к приятелю в Тяньцзинь он назвал большевизм «гидрой многоголовой». И его на каждом допросе, ежедневно истязают, грозят «высшей мерой наказания» — расстрелом. Он плачет. Мне жаль бедного Ионафана (таково его имя). Я стараюсь отвлечь его от угнетающих дум, мыслей. Он знает хорошо латынь, и мы стали целыми днями вспоминать латинские пословицы и изречения, которые употребляются в мировой литературе. Мы с ним вспомнили и насчитали 180 таких выражений и поговорок. И оба так увлеклись этим занятием, что забыли о нашей жестокой действительности. Дня 3-4 этот жалкий человек был со мною в камере. Его увели в карцер (в наказание!), и больше я его не встречал на этом моем *via dolorosa*, скорбном пути страданий.

Полковник П. не оставляет меня в покое. Не дает мне спать, вызывая на ночные допросы. Расскажи ему о работе харбинской еврейской общины, о ее «шпионской

работе» против Советского Союза в пользу Англии. И вдруг новое обвинение:

— Зачем ты ездил в Румынию?

— Я не ездил в Румынию, и вообще никогда в своей жизни не был в Румынии.

Но полковник МГБ, исчерпав весь свой богатый лексикон матерной брани в мой адрес, требует признания о цели моей поездки в Румынию. Он меня «уничтожит», «сгноит в тюрьме».

— Признавайся!

Я спокойным тоном заявляю:

— Я никогда в Румынии не был и признаваться мне не в чем. Делайте со мною, что хотите!

После этого обвинение в поездке в Румынию больше не выдвигалось. И когда через неделю-другую мне было предъявлено обвинение в масонстве и я позволил себе сказать, что это такая же ложь, как и поездка в Румынию, полковник крикнул:

— В поездке в Румынию вас никто не обвиняет!

Я обвиняюсь в масонстве. В Харбине якобы существовала «тайная еврейская сионистская масонская ложа», служившая, «как все масонские ложи шпионским целям». В нее входили многие «богатые евреи — буржуи». Я и некоторые другие считались «гроссмейстерами», С.Л. Ск. — ее основателем. Полковник П. требует рассказать все о ее шпионской деятельности, связях с Америкой и Англией. По-видимому, невольно на моем лице при этих вопросах появилась ироническая улыбка, которая вызвала гнев начальника, и какой гнев!

— Я тебе посмеюсь! — площадная брань посыпалась, как из рога изобилия. Мое положение показалось мне безнадежным, и в ответ на крик:

— Говори, сволочь! Все говори б...! — я громко и твердым голосом злобно произнес:

— Ничего не скажу, ничего не могу сказать, все это выдумки, брехня, ложь!...

Больше меня в Свердловске ни единым словом не

спрашивали о «масонской ложе» в Харбине. Лишь мимоходом упомянули позднее на допросе в Москве.



Однажды, часов в 10 утра, меня вызывают и ведут в кабинет моего следователя. Вижу, он заметно волнуется, причесывается, прихорашивается, приводит в порядок свою военную форму, что называется, подтягивается.

— К-н, вы сейчас пойдете к генералу. К-н, надо говорить все, все выложить на стол, во всем признаться! Генерал шуток не любит...

Что ж, думаю я, еще одно испытание. Сколько их впереди... Мы сошли на нижний этаж. Капитан, адъютант генерала, тотчас же доложил, что меня привели. Я в кабинете генерала. Мне предложили сесть на стул, который одиноко стоял посреди большого кабинета. Генерал восседал в кресле за письменным столом у окна, а в углу на стуле присел мой «старый знакомый», полковник П. Малоприятная встреча. Генерал этот по фамилии К-во, — начальник Свердловского МГБ. Генеральская форма, с красными лампасами на брюках прекрасно сидели на нем. Он спросил:

— Вы, К-н, врач?

— Да, врач.

— Почему вы набрали в рот воды и ничего не хотите говорить. Вы сделали много ошибок, приносили вред Советскому Союзу — надо признаться во всем. Вы можете быть очень полезным гражданином Союза, вы образованный, ученый, умный человек. И вы упираетесь, не хотите ничего рассказать нам, не хотите помочь нам в нашей работе. Ведь вы русский человек. Россия — ваша родина.

Я молчу.

— Ну, будете рассказывать, К-н?

— Я не знаю о чем, спрашивайте, гражданин начальник, — ответил я.

— Но вы же до сих пор ни о чем говорить не хотели. Почему?

— Гражданин начальник, — пожаловался я, — я отвечал на все вопросы, говорил, что знал. Но меня на допросах до сих пор ругали, оскорбляли, крыли матерной бранью, издевались надо мной.

Полковник с места кричит:

— Он все врет!

И в мою сторону: — Подлец!

Генерал строгим жестом успокаивает полковника, разрешая мне:

— Говорите, К-н!

Я продолжаю:

— От меня требуют, чтобы я рассказал о евр. масонской ложе, которой не существовало, о своей поездке в Румынию, где я никогда не был. Я, естественно, отрицаю, говорю, что это ложь. Меня матерят, грозят карцером, обещают сгноить в тюрьме. Меня спрашивают о евр. организации молодежи Брит-Трумпельдор — я говорю правду о ней, ее задачах, работе, но гражданин полковник требует признания, что это британская шпионская организация, что слово «брит» означает «британская», а не «союз» на еврейском языке. У меня забирают очки, без которых я ничего не вижу, у меня отпарывают пуговицы с одежды, вот я и теперь без пуговиц.

Генерал спросил:

— А очки вернули вам?

— Вернули через две недели.

Генерал и полковник, видимо, никак не ожидали такой откровенной речи заключенного, и где? — в стенах всемогущего МГБ. Генерал с укором взглянул на полковника. Тот в ответ:

— Товарищ генерал, он все врет.

Генерал подошел ко мне и доверительно сказал:

— Если вы все, все как было, расскажите, призна-

етесь в своих преступлениях перед Советским Союзом, вы получите минимальное наказание и будете работать врачом. Если же вы будете скрывать свою и ваших сообщников преступную деятельность — вы будете в лагере возить ассенизационную бочку...

— Мне не в чем признаваться, и я не знаю, в чем мое преступление, — сказал я.

— Вы сионистский вождь, — строго произнес генерал.

— Да, я сионист.

— Не прибедняйтесь, вы вождь сионистов. А сионизм — это разве не преступление? — утверждает генерал.

— Сионизм не преступление. Это национально-освободительное движение, народное движение, — возражаю я.

— Но сионизм в Советском Союзе запрещен, — обрывает генерал.

— Но я же не работал в Советском Союзе и никогда не жил в Советском Союзе.

На это алиби генерал вообще не реагировал. Он категорически заявил:

— Вы поняли, что я сказал вам. Учтите. Будете возить ассенизационную бочку.

Он позвонил по телефону, чтобы меня увели. За мной пришел мой следователь и повел меня в свой кабинет.

— Ну, рассказывайте! — требует он.

— О чем?

— Обо всем.

— Спрашивайте, буду отвечать.

— Генерал сказал, что вы все расскажите. Говорите! — добивается следователь.

— Я не знаю, о чем рассказывать вам.

— Ну и подлец же вы! — бросил мне следователь и вызвал конвоира. Меня увели в камеру.

Интерес к сионизму не ослабевает. Меня продолжают уверять, что я вождь сионизма. На очередном

допросе один из следователей обращается к другому, сидящему визави:

— У нас теперь вторая Москва — крупные фигуры, — и головой кивает на меня. — А где теперь Вейцман? — спрашивает он.

— Не знаю, годы ничего не слышал о нем, еврейских газет не читаю, и вообще газет не читаю, не дают их мне.

— А когда виделся с Вейцманом?

Отвечаю: в 1905 г.

— Мерзавец! Сволочь! Ты давно сионист?

Отвечаю: с гимназических лет.

— Нет, он просто издевается над нами, — возмущается следователь, обращаясь ко второму.

Я вижу, что он не имеет никакого понятия о сионистском движении. Он то и дело вытаскивает из ящика письменного стола тетрадку-«шпаргалку», ищет в ней, и потом задает мне вопросы.

— Под диктат Лондона работаете, сионисты, — заявляет он.

— У нас, — протестую я, — нет диктата, у нас решает голос народа, сионистский конгресс.

— Какой конгресс? Где он?

Я ему рассказываю о сионистских конгрессах, начиная с 1897 г. В его тетради этого, очевидно, нет. Раз нет, значит, все это выдумка, ложь, и следователь уверенно заявляет:

— Никакого конгресса нет. Все это ты выдумываешь. Есть английское правительство, и ты ему служишь, и Вейцман, и все вы шпионы английские...

Назавтра, во время допроса, следователь звонит кому-то по телефону:

— Роза Борисовна, приходите. Он у меня теперь.

«Он» — это, видимо, я. А кто же Роза Борисовна? Имя — еврейское. Ст. лейтенант, сидящий визави, укоризненно взглянул на моего следователя и, пожимая плечами, тихо сказал: «Зачем?» Через несколько минут

вошла в кабинет эта самая Роза Борисовна. Молодая женщина, несомненно, еврейка по типу. Вошла радостная, с улыбкой на сияющем лице. Следователь усадил ее рядом с собой. Я понял, что меня демонстрируют, показывают «сионистского лидера» еврейке-коммунистке, сотруднице этого же учреждения, МГБ. Я про себя решил не давать «разыграть» себя. Следователь ей что-то шепчет на ухо. Оба улыбаются, довольные.

— Это К-н, Абрам Иосифович, — говорит следователь и с хитрой улыбкой на лице хвастливо поглядывает на свою соседку, приглашенную на «сеанс». Следователь вновь расспрашивает о Вейцмане, когда я с ним встретился.

— Я на эти вопросы уже ответил вам, — сказал я.

— А вы еще расскажите.

Я молчу.

— Что же вы не говорите?

— Я не желаю, — ответил я.

— Отказываетесь давать показания? А знаете, чем это пахнет?

Я молчу.

— Это пахнет карцером. Отвечайте на вопрос.

— Я на этот вопрос ответил вам и больше говорить не буду. Прочитайте протокол, который вы же писали, — сказал я.

«Гостя» смутилась, стала шептать что-то следователю и ушла. Следователь, гневный, молча стал что-то писать. Это продолжалось с час. Я сидел на своем месте за маленьким круглым столиком и ждал. Пусть карцер! Через час следователь вызвал конвой и меня увели.

Мои свердловские сатрапы плохо разбираются в еврейских и сионистских делах, и пришлось передать меня в руки более опытного «спеца». Просторный кабинет. За большим письменным столом сидит подполковник, указывает мне на стул вблизи стола. На стене огромный портрет Сталина, на письменном столе маленькая стату-

этка Ленина.

— К-н, Абрам Иосиф.?

— Я.

— Мы с вами знакомы с 1937 года.

Я удивленно всматриваюсь в незнакомое мне лицо.

— Нет, не физически мы знакомы. Физически мы теперь лишь познакомились, — говорит подполковник, и продолжает:

— Абрам Иосифович! Давайте будем откровенны. Я думаю, что мы с вами закончим все дело в один-два дня. Я же вас знаю, хорошо знаю. Если бы я имел дело с Хаимом Мордуховичем Гуревичем или с Бороухом Янке-левичем Рабиновичем, я бы иначе разговаривал, но я имею дело с Абр. Иос. К-ном, доктором, да еще из Швейцарии, известным, умным, культурным человеком. Давайте, Абрам Иосифович, рассказывайте, и сегодня же закончим дело. Вы, кажется, из Перми? — спрашивает он.

— Да, я жил в Перми, учился в Пермской гимназии, работал там года два врачом, — ответил я.

— Ну, вот видите. И я живу в Перми и оттуда теперь приехал, ради вас. В Перми все хорошо. Гимназия, в которой вы учились, стоит на том же месте. Ну, я слушаю, Абр. Иосиф.!

— Я не знаю, чего хотят от меня, за что я арестован. А я уже второй год в заключении.

На это подполковник К-ский (еврей) сказал мне:

— Передо мною все ваше дело. Вот протокол следствия из Градеково — эта филькина грамота. Вы, К-н, не хотите откровенно рассказать о вашей преступной сионистской работе. Что ж! Будем каждый день беседовать с вами, и долгое, долгое время. Меня вам провести не удастся — знайте это.

Он начал спрашивать меня о сион. организации, о сион. конгрессах, о Вейцмане, о взаимоотношениях сион. орг. с Англией, Америкой, о Бальфурской Декларации. И все записывал, записывал.

Подполковник К-ий «интересовался» «антисоветской

деятельностью» харбинской еврейской общины. Он утверждал, что М. Г. З. и М. А. З. были японскими шпионами и что я это знал...

— И как вы могли быть в таком окружении шпионов-предателей! — восклицал подполковник К.

Дня четыре он вызывал меня каждый день, днем, часа на 3, не больше. И вдруг перестал вызывать. Пять дней отдыха от допросов — и вновь вызов к подп. К-му, «спецу» по еврейским делам.

— Привет вам от М. Г. З-на, — были первые слова «спеца»

— Спасибо! А как его здоровье? — спросил я.

Я знал, что М. Г. тяжело болен, прикован болезнью к постели в больнице в Тавдинском лагере. В августе-сентябре 1946 г. он раза два посылал мне в Азанку записки с оказией, через «артистов» кружка самодеятельности, разъезжавших по лагерям Урала с представлениями и концертами. М. Г. писал мне, что «скоро мы будем на свободе», рядом со своими родными. Его письма были полны веры, оптимизма. На чем основанном? В январе 1947 года я узнал, что М. Г. умер в лагерной больнице в Тавде (вост. Урал) от рака желудка.

На мой вопрос о здоровье М. Г. подполковник К-ий ответил:

— Он вполне здоров. Просил вам передать, чтобы вы не были таким умником.

— Я не понимаю, что он под этим подразумевает, — сказал я.

— Это означает, что М. Г. все рассказал о вашей работе и честно признался в шпионской деятельности сионистского союза и еврейской общины. Советует вам перестать умничать и признаться во всех контрреволюционных действиях сионистских еврейских организаций, которые вы возглавляли. Так-то, Абрам Иосифович, выкладывайте все. Теперь уже бессмысленно скрывать. М. Г. все рассказал.

Эта тирада подполковника К. не озадачила меня.

Я сказал:

— М. Г. не мог рассказать того, чего не было. Я знаю, что М. Г. тяжело болен, не встает с постели, но и в этом состоянии он не станет выдумывать, лгать и клеветать.

— Все это вот здесь записано и М. Г. подписано, — категорически и решительно заявил подп. К-ский.

Еще два раза вызывал меня этот «спец» по еврейским делам. В последний раз он сказал:

— Очень жаль, что вы не послушались меня, вам за это придется дорого заплатить. Подумайте, пока не поздно.

Больше я с ним не встречался. Мое дело вновь перешло к моему прежнему следователю, ст. лейтенанту.

Наступил январь 1947 г. Меня вызывают на допрос каждый день и часто ночью. Однажды слышу разговор следователей между собой: кто-то из Москвы, из МГБ, приехал, называют его «московский гость», и этот «гость» будет сегодня допрашивать меня. Приблизительно через полчаса раздался телефонный звонок. Мой следователь ответил в телефон:

— Есть товарищ полковник, — и обратился ко мне:

— Пойдемте, К-н!

Мы вошли в кабинет полковника П-на. На своем месте, на возвышении, восседает полковник, а внизу в кресле сидит развалившись майор, — это и есть «московский гость». Полк. П-н со мною впервые на «вы»

— Садитесь.

Майор из Москвы обращается ко мне:

— Вы врач? Учились в Швейцарии? Встречались там с англичанами?

Я не понял вопроса: причем тут англичане?

Отвечаю:

— Я учился в Швейцарии, где живут швейцарцы.

— Ну, а англичане были там? — настаивал майор.

— Не знаю, я видел там швейцарцев, комнату снимал у швейцарцев. Среди студентов были и не швейцарцы, много русских училось там.

— Ну, а англичане? — упорствует майор.

— Я их не видел в мои годы учения, — ответил я.

На это последовала «умная» реплика майора:

— Сионисты ведь всегда с англичанами.

И я подумал: хоть ты и майор МГБ, но дурак, перефразировал чеховское: «Хоть ты и седьмой (Иванов), но дурак»...

— А вы давно сионист? Говорите правду, мы о вас все знаем, все.

— Да, я сионист лет 45—46, с гимназических лет.

— А когда вы были в Советском Союзе?

— Я с 1913 года в России не был.

— А в 1934 г. зачем вы ездили в Советский Союз?

— Я никогда в Советском Союзе не был.

— Вы говорите правду?

— Если вы говорите, что все знаете обо мне, то вы не можете не знать, что я в Советском Союзе ни в 1934, ни в другие годы никогда не был.

— Эти сведения у нас от ваших же сионистов, которые вместе с вами работали против Советского Союза, — сказал майор.

— От кого бы эти сведения ни исходили, они ложные, — ответил я.

Майор что-то тихо сказал полковнику П., и тот приказал увести меня. По дороге в свой кабинет мой следователь произнес:

— Этот майор из Москвы, плохо вам будет, К-н!

ГЛАВА 6

11 января 1947 г. только я вернулся с прогулки, не успел снять бушлат, как отворилась дверь в камеру, и офицер произносит: «Собирайся с вещами». А мне и «собирать» нечего, я готов, как юный пионер — «всегда готов»... Все на мне и со мною. Минут через 15 меня ввели в пустую комнату. Приказали раздеться догола. Ощупали всего меня и мои пожитки. Я оделся. Мне выдали хлеба, сахарного песку, сушеной рыбы на четыре дня. Значит, отправляют. Меня одного... никого больше из заключенных не видать. Куда везут? Офицер и два солдата-конвоира сопровождают меня. Проверяют «документы» — все в порядке. У ворот ждет приготовленный для меня выезд — «черный ворон». И мы помчались по улицам Свердловска. Подъехали к железной дороге. Шагаем по бесконечным путям, с одной пары рельсов на другую, скачем по шпалам. Я устал, еле передвигаю ноги. Где-то вдали, на задних путях, одиноко стоит вагон, решетки на окнах. Арестантский, «столыпинско»-сталинский. Офицер своим ключом открывает дверь и «приглашает» в купе. Со мною остается конвоир. Я лег на скамью, подостлал бушлат. Холодно. Встану, пошагаю по купе, посижу, опять ложусь. И думаю: продуктов (если можно так назвать то, что мне дали) — на четыре дня, значит везут в «первопристольную», в Москву! Да и «гость московский», видимо, за мной приезжал... Часа через два прицепили мой вагон к какому-то поезду, — был такой сильный толчок, что я со скамьи свалился. Я в отдельном «купе» без окна, узенькие нары с одной стороны — три яруса, три

скамьи. Около двери, снаружи, в коридоре, — солдат с винтовкой, специально для меня поставлен. Он то и дело заглядывает в волчок. Купе грязное. На полу, на скамьях валяется мусор, огрызки пищи. Свою скамью я почистил голыми руками. Слышу, как заключенные заполняют вагон. Я, «важный» преступник (сионист!), изолирован и под особой охраной. Что ж, надо «обедать» — отломил кусок хлеба, посыпал сахарным песком — вот и обед. Или ужин? Не все ли равно? Мне хочется пить. Стучу в окошечко-волчок.

— Чего тебе?

— Пить хочу, можно чаю?

— Узнаю.

Через полчаса мой страж заявляет:

— Не было кипятку на станции, вот холодная вода.

И подает мне кружку ледяной воды. Жадно выпиваю. И на том спасибо!

Поездка была нелегкой. Пробавлялся одним сухим хлебом, сахара хватило на первый день, сушеную рыбу я не мог есть (разве это рыба!), чаю ни разу не дали, два раза в день — кружку холодной воды. Если надо в туалет — сложная проблема. Ключ от моего купе-камеры у начальника, а его то нет, то он спит, и конвоир не может помочь. Трое суток я ехал в этом вагоне-тюрьме, измучился. На одной станции мы долго стояли, и я слышал, как мой конвоир сказал своему товарищу, что это Казань. Да, подумал я, везут в Москву. На четвертые сутки мы приехали на место назначения.

«Черный ворон» переполнен людьми, но я помещен в отдельную кабинку, возле шофера, в которой повернуться нельзя, — сиди, как прикованный. Кабинка без света, без воздуха. Для особо важных преступников, видимо таких, как сионисты и пр...

«Черные вороны» в ту пору шмыгали по столице день и ночь: возили тысячи «преступников». И рассказывали, дабы население не подозревало и не любопытст-

вовало, на «черном вороне» — закрытой наглухо машине — было крупными буквами написано «хлеб». Хлеб мол везут... И поистине: заключенные, лагерники, подневольный труд — были хлебом для сталинской прорвы...

Куда-то привезли. Долго держат в передней. Я в окружении двух конвоиров. Кто-то спросил фамилию, имя, отчество, дату ареста. Беготня, суетятся офицеры, надзиратели. Телефон беспрестанно трещит. Через полчаса меня вводят в большую комнату, тут же рядом с передней. В комнате стоит только стол у стены. Дверь обыкновенная, деревянная, без волчка. Широкое окно, без решеток. Не понимаю, где я. Неужели таковы тюрьмы в Москве? Приносят тарелку щей, кашу. Солдат говорит мне:

— Голоден, поди, ну, кушай! — а сам стоит у двери, стережет. Видя, что я кончил «обедать», собрал посуду и сказал:

— Покушал? Вкусно? У нас хорошо кормят.

Поистине, «на вкус и цвет товарища нет»....

Вечереет. Я все еще в этой комнате. Сажусь на окно, на стол. Жду. Меня зовут. Велят взять лежащие у дверей матрац, одеяло и постельное белье. Ведут по крутой лестнице вверх, на четвертый этаж. Непосильная моя ноша. Идем по узенькому коридору, такой же на противоположной стороне. Перила, проволоочная сетка. А посредине пустота, пропасть. Внизу, на уровне второго этажа, сплошная сетка. Ее натянули после того, как некоторые заключенные бросались вниз головой с 3-го и 4-го этажа... Теперь не страшно, пусть падают на сетку, как акробаты в цирке...

Меня вводят в самую крайнюю, угловую камеру 4-го этажа. Я плохо ориентируюсь в обстановке. При тусклом свете ввинченной в потолок лампочки вижу испачканные стены и пол, сомнительной чистоты койку, замусоленный стол. «Одиночка». Оконце под самым потолком, крошечное, с железной решеткой и щитом. Заперли крепко, на замок. Я в Москве... Открылось

дверное окошечко, — мне дают кружку чая и кусочек сахара. Не успел я выпить чай, как распахивается дверь и раздается команда:

— Выходи! Забирай вещи!

Я возвращаюсь тем же путем по узенькому коридору со всеми пожитками — матрацем, одеялом, бельем — в руках и на плече. Один пролет, другой, третий. Я опять вниз в передней. Сдаю постельные принадлежности. Стою, жду. Без конца звонит телефон. Из разговоров по телефону я понял, что произошла ошибка, меня привезли не в ту тюрьму. Кто-то перепутал. «Начальство» волнуется. Меня спешно уводят. Я расстаюсь с приютившей и накормившей меня Лефортовской (военной) тюрьмой. Но ненадолго, — вскоре я нашел там приют на целый год...

Меня вновь несет по Москве «черный ворон». В тюремной карете я один, со мною конвоир. Мы, конечно, оба молчим. Ни ему, ни мне нельзя разговаривать. Остановились. Какой-то темный двор. Спускаемся вниз, в неосвещенный подвал. Страшно... Быть может, здесь «ликвидируют» — сверлит голову мысль. Со мною два вооруженных конвоира. Один впереди меня, другой все время подталкивает в спину. Налево открывается дверь и я в каком-то коридоре со множеством дверей, одна возле другой, кабинки. В одну из них меня загоняют и запирают в ней. Маленькая, крошечная кабинка, без окна, только каменный, приделанный к стене табурет. Офицер записывает мою фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность. Ушел. Минут через десять входит другой офицер с женщиной в белом халате. В руке у нее электрический фонарик. Она велит мне раздеться. Осматривает меня с ног до головы, и фонариком без стеснения освещает все отверстия моего организма — рот, нос, уши и... другие. Молча, без слов. Ее называют «доктор». В дальнейшей своей тюремно-лагерной жизни в кремлевско-сталинском государстве МГБ я еще и не таких «докторов» встречал... Меня вы-

водят из кабинки в комнату, тут же в подвале, фотографируют в анфас и в профиль, делают оттиск пальцев правой руки, потом каждого пальца в отдельности. После этой процедуры повели по коридору, устланному коврами, и подняли лифтом на 3-й этаж. Вновь заперли в кабинку с каменной стенной скамейкой и таким же столиком. В этой кабинке я прожил три дня. Сюда мне приносили пищу. Два раза в день выводили в туалет. Не знаю, почему три дня, — карантин? Или места не хватило в камерах, — ведь в советских тюрьмах всегда «все места заняты»...

На четвертый день меня поместили в камеру на 3-м этаже. В камере нас было трое. Какой-то солдат, сидевший за «измену Родине», и инспектор спорта, арестованный за КРД (контрреволюционную деятельность). Мой новый адрес — Лубянка. Знаменитая Лубянка, вошедшая в историю Советской России, как символ зверства, жестокости, унижения и убийств еще со времени чекистского разбоя... Камера довольно большая, с неожиданно широким «венетским» окном во двор, глубокий щит над окном. Но поразил меня больше всего паркетный пол. Паркет в тюрьме?... Оказывается, это бывшая (в царское время) гостиница страхового о-ва «Россия», которую большевики превратили в Чека, знаменитую «Лубянку». Отсюда лифт, венетские окна, паркет...

Я стараюсь не общаться с сокамерниками, ведь не знаешь, кто они, а вдруг «наседки»... Инструктор спорта, коммунист (член ВКП(б)) говорит, что он «сидит» за антисоветские анекдоты. Где-то рассказывал анекдоты из советского быта. А раз анекдот отмечает отрицательные явления советской жизни, это «контрреволюция». И так во всем — в жизни, в литературе, прессе. У «нас» нет отрицательных явлений, как нет преступлений, убийств, грабежа, воровства, пожаров, катастроф... Об этом не пишут, нельзя писать... У «нас» только хорошее, светлое, чистое... Так и пишите!... Кормят на Лубянке сравнительно неплохо. Неплохо для советской тюрьмы,

в которой я уже нахожусь 1,5 года. Вообще о питании в советских тюрьмах и лагерях ходит жизненно правдивая шутка: кормят «достаточно, чтобы не умереть, но недостаточно, чтобы жить...».

Утром меня вызвали на допрос. На Лубянке и в других тюрьмах Москвы, вызывая на допрос, не произносят фамилии, а говорят в дверное окошечко: «На букву М», или «На букву К», — и арестант сам называет свою фамилию. Тогда следует: «Выходи!» Так на завтра раздался голос в окошке: «На букву К». Я отозвался и был выведен из камеры. Меня подняли лифтом на 6-й этаж. У какого-то столика чиновник зарегистрировал час, в который я был приведен, и мы зашагали по длинному коридору. Двери, двери, двери, и на них номера: 621, 623, 635.... Это все кабинеты. В каждом кабинете по два, а то и по три следователя. Работа огромная. Десятки миллионов под следствием.



Первый допрос в Москве. Мой следователь — подполковник МГБ. За письменным столом напротив него сидит майор. Меня усадили за маленький круглый столик в углу, у дверей.

— К-н, Абр. Иос.? — спрашивает следователь и, получив подтверждение, обращается к майору:

— Это К-н. Доктор. Известный еврейский вождь, спонист.

Майор взглянул на меня одним глазом.

— Вы знаете, К-н, где вы находитесь? — и тут же сам отвечает:

— В Министерстве государственной безопасности. Не забывайте этого, К-н, и выкладывайте все начисто. У вас в Союзе есть родные?

— Были, но я лет 20—25 ничего о них не знаю, — отвечаю я.

— Где они?

— Жили в Ленинграде, Москве.

— Братья и сестры? — домогается следователь.

Вижу, что он о моей семье в Советском Союзе знает больше, чем я. Отвечаю:

— Два брата и сестра.

— Чем они занимаются?

— Не знаю. Братья окончили юридический факультет, сестра — медицинский. Чем занимались, где работали — не знаю, — говорю я.

— А разве они не писали вам?

— Нет, мы в переписке не состояли.

— Вы говорите неправду, — заявляет следователь.

— Я сказал правду, — заявляю я.

— Известен вам адрес ваших родных?

— Нет. Я не знаю, живы ли они, — отвечаю я.

— Сестра ваша замужем?

— Была замужем, по моим сведениям 1917—1918 гг..

— Как зовут сестру?

Отвечаю.

— Как зовут мужа сестры?

— Не знаю. Я его никогда не видел. Сестра вышла замуж в 1917 г. и не называла в первых письмах тех лет его имени.

— Мало вы знаете с своих близких, — упрекает меня следователь.

— Живем словно на разных планетах, — говорю я.

— И брат у вас в Москве?

— Был, кажется, здесь в 1918 году, — отвечаю.

Спросил про старшего брата из Ленинграда. Я не знал тогда, что обоих моих братьев, старшего и младшего, уже не было в живых. Борис умер в 1942 г., в ленинградскую блокаду, а младший, Сеня, пал от вражеской пули под Москвой, защищая ее от немцев (это я узнал лишь в 1955 г.). Следователь, конечно, все это знал, но меня расспрашивал о них, как о живых.

— Хотите видеть их? — предлагает следователь.

— Очень хотел бы, но не в тюремных условиях, — отвечаю я.

— Если все расскажете, все выложите начисто на стол, скоро увидите своих родных, — обещает следователь.

При его словах я иронически улыбнулся.

— Не верите? Напрасно. Нам ничего не стоит выпустить вас на волю, если вы будете откровенны и расскажите все, что знаете. А знаете вы много, очень много. Подумайте, К-н, будьте нам другом, а себе не будьте врагом, — торжественно закончил подполковник.

На очередном допросе следователь говорит мне:

— Мужа вашей сестры величают Александрович, есть у них сын, живут они прекрасно. Если все расскажете, получите от сестры хорошие «передачи», а то вы совсем плохо одеты.

— Что поделаешь, — сказал я, — так одевают здесь.

Мой следователь, видимо, какой-то начальник, к нему то и дело приходят с бумагами на подпись. То один офицер, то другой, то машинистка, то переводчица. В первый же день он сказал мне:

— Давайте, К-н, условимся, чтобы больше не говорить об этом. Когда кто-либо входит сюда, вы должны встать.

Допросы — каждый день, кроме воскресенья, когда МГБ на Лубянке не работает. В этот «день отдыха» только арестовывают. Как-то в воскресенье в нашу камеру ввели «новенького», студента исторического факультета Моск. госуд. университета, еврея. Утром его арестовали и днем вселили в нашу камеру. Он почему-то сразу подсел ко мне, на мою койку (почувствовал родное), спросил, давно ли я в тюрьме, по какому делу, и совсем тихо:

— Вы еврей?

— Да, я еврей.

— Я тоже еврей, — поведал он.

Интересна история ареста этого студента-еврея. Его

родители — активные деятели РКП. Отец — лектор института «красной профессуры», мать — член обкома партии. В Москве квартира из трех комнат, как полагается видным партийцам. В 1937 г., в разгул «ежовщины», отец был арестован и... исчез. Девять лет о нем «ни слуху, ни духу». «Исчез», как многие тысячи и десятки тысяч. И сын и мать, конечно, знали, какой конец постиг их мужа и отца: политизолятор — расстрел....

Мать назначили в город Ч. возглавлять обком партии. Через два года она заболела и умерла. С большими почестями хоронили ее, видного партийного работника, старого большевика. Когда мать назначили в Ч., одну комнату в их московской квартире заняла родственница. После смерти матери некий подполковник всесильного МГБ стал покушаться на эту квартиру. В один прекрасный день подполковник-чекист самовольно обосновался в их квартире. Студент обратился в ЦК ВКП(б) (дом, в котором они жили, принадлежал партии). ЦК встал на сторону студента, но ввиду совершившегося факта (МГБ!!!) оставил хозяину две комнаты, а в третьей пусть живет чекист. Подполковник МГБ и его жена объявили войну молодому человеку и его родственнице. Чета из МГБ оккупировала кухню и изгнала из нее хозяев. Студент жалуется, стучится в двери ЦК. Но... МГБ! Родственница, занимавшая одну комнату, не выдержала, сбежала, и, как оказалось, вовремя. В руках всесильного эмгебиста уже две комнаты и кухня. Битва продолжается. Подполковник всячески старается выжить студента-еврея из его последнего пристанища и овладеть всей квартирой. Жена подполковника, его верная соратница, неоднократно, не стесняясь, громогласно прохаживается насчет «этих евреев». Но студент не уходит. Куда он уйдет? Кто приютит его? В ЦК партии ему говорят: «У вас есть комната, ну и живите в ней, она ваша». И вот его арестовывают: подполковник МГБ потерял надежду выселить студента и прибег к более верному

способу... доносу. Студенту-еврею дали «приют» на Лубянке...

На первом же допросе он изложил историю своего ареста. Его вызвали к самому начальнику следственного отделения. Он и там рассказал о проделках подполковника МГБ и его гнусном доносе. Судьба студента мне неизвестна. Меня перевели в другую камеру, и я больше не встречался с ним. Однако он успел рассказать мне, что следователь назвал его «дело» «несерьезным», и он, наверное, получит всего года 3 заключения. Есть такая статья — «социально-опасный элемент» (СОЭ), под которую подгоняют любого. Срок по СОЭ «маленький», до семи лет. Сюда включается все, что вздумается вандалам, чтобы только заточить человека в темницу. Знакомство с иностранцами, случайная встреча, беседа с ними — СОЭ, 5—7 лет. Восхваление заграничной французской обуви — «СОЭ», 5—7 лет. После придуманного Сталиным «преклонения перед Западом» многие оказались СОЭ, получив 5—7 лет ИТЛ.

Мой следователь посвящает один из допросов Биробиджану:

— Из-за таких, как вы, нет автономной еврейской республики в Биробиджане, — бросает мне подполковник обвинение и, обращаясь к сидящему визави майору, говорит:

— Подумай, дают евреям все, селитесь на землю — и вот вам ваша еврейская советская республика, автономная. Живите себе, как хотите, по-вашему, по-еврейскому. И дорога туда бесплатная, все за счет государства. И что же? Не едут, не хотят ехать. Которые приехали — обратно бегут. А какой богатый край — Биробиджан! Земли сколько!

Подполковник развернул географическую карту и показывает майору, по какой-то брошюрке, называет число жителей в Биробиджане:

— Мало, а евреев почти нет, всего около 1000-1500, — не едут. А объяви сегодня, что в Палестину кто хочет

может ехать, — все поедут, побегут. Вот народ! — возмущенно восклицает подполковник. И после минутной передышки продолжает:

— Только свое и своих признают. В гражданскую войну отстал я с двумя товарищами от отряда. Одни, без харчей бредем. Какое-то местечко. Зашли в дом: евреи живут. Один из нас троих был еврей. Молодые мы были, лет 19-20. Вот товарищ-еврей шепчет нам: «Подождите, ребята, сейчас у нас все будет». Он заговорил с хозяевами, перекинулся еврейскими словечками. И что ты думаешь? Нас напоили, накормили и надавали на дорогу чего хочешь. Они, евреи, везде, где живут, имеют свои столовые для бедных, свои инвалидные дома, — все свое, для своих. Вот народ! Вот этот К-н (указывая на меня), главным у них был, он открывал столовые для евреев, больницы.

И показывает майору какой-то лист бумаги в толстой папке «Дело К-на А. И.».

— Ну, К-н, почему вы не хотели в Биробиджан? Почему боролись против Биробиджана? — грозно вопрошает подполковник.

— Я в Советском Союзе не жил и в биробиджанской кампании участия не принимал, — сказал я.

— Вам Палестина нужна, а ее вам не видать, как ушей своих, — пригрозил мне подполковник.

На это я спокойно ответил:

— Я, по-видимому, не увижу, но мои дети и внуки увидят, безусловно увидят...

— Слышишь, — закричал подполковник, — вот из-за таких и провалился Биробиджан, — бросил в мой адрес:

— Подлец! Фашисты!

После этого с полчаса в кабинете царило молчание. Следовательно, видимо, должен был успокоиться. И он, и майор нервно перелистывали какие-то бумаги. Со мною не разговаривали, не смотрели на меня. А я одиноко сидел за своим маленьким круглым столиком

и думал, мечтая о том дне, когда мои дети действительно будут там, в Эрец-Исраэль. Через полчаса следовательно обращается ко мне:

— А вы состояли в партии сионистов-фашистов?

— Сионистов-фашистов? — удивленно переспрашиваю. — Такой партии никогда не было, — заявляю я категорически.

— Не было? Вот подлец! — свирепеет подполковник и подходит к несгораемому шкафу (в каждом кабинете имеется такой шкаф, а то и два. В них хранятся «дела», следственный материал, протоколы. И на каждой папке напечатано крупными буквами, жирным шрифтом: «Хранить вечно»).

Следователь вытаскивает из шкафа какую-то брошюрку, нервно перелистывает ее, причитая: «Вот я покажу ему, подлецу». Нашел нужное место в брошюрке и, потрясая ею в воздухе, процитировал:

— «Огнем и мечом разрушена Иудея. Огнем и мечом она будет воссоздана». Это слова вашего вождя сионистов-фашистов Жаботинского.

— Вы знали его?

Отвечаю:

— Знал, но он никогда фашистом не был, и такой партии, сионистско-фашистской никогда не существовало. И выражение это не фашистское, и ничего фашистского в нем нет. И не Жаботинского оно.

Следователь подскочил в своем кресле:

— Нет, что ты скажешь об этом подлеце! В глаза нагло врёт, — и, обращаясь ко мне:

— Знаешь Жаботинского?

— Конечно, знаю. Знал лично, читал его произведения, статьи.

— Когда виделся с ним? — допытывается следователь.

— Последний раз я встретился с ним сорок лет тому назад, — отвечаю я.

Это окончательно взорвало подполковника. Обру-

шив на меня лавину брани, он потребовал по телефону, чтобы меня немедленно забрали.

— Как здоровье, К-н? — спрашивает подполковник назавтра.

— Ничего, не плохо.

— Кормят вас хорошо?

— Сносно, — отвечаю я.

Подполковник недоволен ответом. Он подносит мне лист бумаги, на котором наклеены три фотокарточки.

— Вы этих людей знаете? — спрашивает он.

— Нет, незнакомые мне лица.

— Всмотритесь хорошенько. Кого из них вы знаете?

— Ни одного из них не знаю.

— А того, что посредине? — добивается следователь.

— Не знаю.

— Смотрите внимательно. Он вас хорошо знает, — нажимает следователь.

Всматриваюсь, разглядываю.

— Нет, не знаю.

— Знаете! — выходит из себя следователь.

— Может быть, я знал когда-то этого человека, а теперь не узнаю.

— А знакома вам фамилия М-р? — спрашивает следователь.

— Был молодой человек с такой фамилией, помню, — говорю я.

— А вот тот, что посредине, не М-р это?

— Я не узнаю по карточке этого человека. Быть может, это и М-р, — говорю я.

— Это он самый М-р, ваш сионист, и знали вы его очень хорошо. Он теперь так же, как вы, арестован, осужден на 15 лет. Он во всем признался, рассказал, как вы, ваша сионистская община заслали его в Советский Союз в целях шпионажа в пользу Англии, — говорит следователь.

И он достает другую папку, просматривает, читает что-то про себя и говорит:

— Вспоминаете, К-н?

Я отвечаю:

— Я смутно помню молодого человека по фамилии М-р. Я с ним не встречался, мало знал его.

— Но вот ведь его показания, — кричит следователь.

— Какие показания?

— Не помните? Ага, так я напому вам, — торжествует следователь. — «В 1922 году сионистская еврейская община в Харбине отправила его в Сов. Союз с шпионскими заданиями. Из кассы **общины**, в помещении **общины** он по распоряжению председателя **общины**, доктора К-на, получил 2000 иен. Тогда М-р уже второй раз ездил в Сов. Союз по поручению сионистской **общины**». Вспоминаете? — вопрошает следователь.

— Гражданин подполковник! Это бред сумасшедшего вот что я могу сказать вам, — заявил я.

— А когда вы видели М-ра?

— Помню человека с этой фамилией в годы 1918—1919, быть может 1920, но никаких дел с ним не имел и не встречался с ним.

— А чем он занимался? — спрашивает следователь.

— Он, кажется, был служащий в конторе или магазине.

— Он был служащим в банке, — говорит следователь.

— Возможно, — соглашаюсь я.

— А вы д-ра Адлера в Одессе знали? — спрашивает следователь.

— Нет, не знал.

— Но вы, ну, ваша община дала письмо М-ру к д-ру Адлеру, английскому шпиону, — твердит следователь.

— Все это бредни, — заявляю я. — Не знаю, в каком состоянии М-лер давал показания, не сошел ли он с ума?

— Так вот, К-н. М-лер арестован в 1937 г. и осужден за шпионаж на 15 лет. Он все хорошо знает, и вот его показания о сионистском шпионаже по заданиям из Англии.

— Бред, сплошной бред, — настаиваю я и спрашиваю: Могу я просить очную ставку с М-ром?

— Вы ее будете иметь, обязательно, — обещает следователь.



На протяжении нескольких недель я напоминал об обещанной очной ставке, просил ее. Мне каждый раз говорили:

— Будет, обязательно будет.

Но очной ставки, конечно, не было. Кто знает, при каких обстоятельствах несчастный М-лер подписал эти показания...

Однажды я был вызван на допрос утром. Мой следователь предложил мне пойти с ним к начальнику следственного отделения подполковнику М. Идем мы по очень длинному коридору МГБ. Отойдя шагов 20—30, вижу, из ниши коридора выглянул молодой человек, лет 30-ти. Ба! Знакомое лицо — еврей, которого я много раз встречал в Харбине. Увидя меня, этот человек спрятался обратно в нишу. Кто может свободно, один, разгуливать по коридору ГПУ, МГБ?! Мне стала ясна его роль тут и в Харбине. Агент-осведомитель. Возможно, он был специально поставлен в нишу, чтобы удостоверять мою личность. Меня он знал по Харбину, видел и слышал на лекциях, собраниях еврейской общности. Он на них присутствовал и... доносил. А теперь, видимо, неудачно, преждевременно выскочил из ниши. И чуть не натолкнулся на меня, лицом к лицу. Теперь уже не нужна специальная «очная ставка» — этот советский агент-шпик уже «заверил» личность доктора А. И. К-на...

Мой следователь ввел меня в самую крайнюю ком-

нату коридора, в кабинет начальника следственного отделения. За письменным столом сидит подполковник, у окна за пишущей машинкой — молодая женщина. Мой следователь представляет меня — «это К-н».

— Доктор Абр. Иосиф? Знаю, знаю, — «приветствует» меня начальник.

— Вы, Абр. Иос., русский? — спрашивает он.

— Я еврей, — отвечаю я.

— Да, да, я знаю, но вы русский человек родом. Родились в России ведь. Где вы родились?

— В Черниговской губ., — отвечаю.

— На Украине, значит. И я на Украине родился, — радостно восклицает начальник. — Почему же вы, Абр. Иос., не хотите ничего рассказать нам? Ведь вы для нас клад. Конечно, в переносном смысле слова. Богатый клад. Вы знаете всю политику сионистов, их работу с Англией, Америкой против Советского Союза. Вы хорошо знаете политику японцев. Почему же вы не хотите всего этого рассказать нам, помочь нам в нашей работе? Ведь вы русский человек! Неужели вам не дороги, не близки эти белые украинские хатки, небо Украины, «Днипр широкий»... Ведь это ваша родина!

В ответ на эту «эмгебистскую лирику» я сказал:

— Я ничего этого не знаю, ибо всего этого не было. Мне приписывают какие-то дикие, несуразные обвинения, я не пойму, откуда они могли взяться. Все это ложь. И хотят, чтобы я подписался под этой ложью...

Подполковник перебил меня:

— Лгать не надо. За ложь мы палками можем угодить, — обещает начальник.

— Ну, а все, что до сих пор мне приписывали и в чем требовали от меня признания, — все это гнусная ложь, — сказал я.

— Ну, не будем поминать то, что было. Расскажите сами о вашей сионистской работе. Ведь вы сионист?

— Да, я сионист, — подтвердил я.

— И не рядовой, а вождь сионистов, — категори-

чески заявляет начальник. — Расскажите, какие задания давали вам из Лондона?

— Я из Лондона никаких заданий не получаю. Ни я, ни кто другой, — заявляю не менее категорически.

— А Вейцман разве не в Лондоне? — спрашивает начальник.

— Я не знаю, где теперь Вейцман, и не понимаю, причем тут это? Сионистская организация не вмешивается в политику той или иной страны. Сион. организация решает свои еврейские национальные задачи безотносительно к политике той или иной страны, — возразил я.

— Но сионизм запрещен в Советском Союзе. Вы это знали? — говорит начальник.

— Я знал, что сионисты преследуются в Советском Союзе, их арестовывают, ссылают. Но при чем тут я? Я сионистом был до СССР, до большевизма, и я никогда не жил и не был в Советском Союзе. В чем же моя вина? В том, что я работал для моего народа? — протестую я.

— Так вы не хотите ничего сказать нам, — заключает начальник.

— Пожалуйста, спрашивайте, скажу, что знаю. Я тайной работой не занимался, — ответил я.

— Слушайте, К-н, — начал строго начальник, — когда какой-нибудь мелкий воришка-взломщик упирается, не признается в явном преступлении, мы прогуливаемся дубинкой по его спине, — и он сознается. Но не станем же мы прибегать к этой мере в отношении к такому человеку, как д-р К-н. Мы надеемся, что с вами мы договоримся. Но вы не патриот, помочь нам не хотите. Что ж, пеняйте на себя. Но знайте, что я с подп. Д. не таких, как вы, видали и сломили их упорство, — закончил свою речь начальник.

Машинистка все время стучала на машинке, записывала. Я понял, что в моей тюремной жизни произойдет перемена к худшему. Ждать пришлось недолго. В ближайший же день я был вызван к следователю.

— Вы видели наше метро? Видели?

— Нет, не видел. Я по Москве всего два раза ехал, и оба раза в «черном вороне», — ответил я.

— Такого метро, как у нас, нигде в мире нет. Да, К-н, не скоро вы увидите наше метро. Сами виноваты. Я вам по-хорошему говорил, а вы все упираетесь. Теперь вам плохо будет, — сказав это, следовательно вышел.

И моментально вошел некий майор, который заявил мне торжественно:

— Ваше дело находится у меня. Познакомимся. Вы К-н, Абр. Иос.? Я — майор Н. Вас переводят в другую тюрьму, военную, где у вас не будет таких хороших условий, как здесь. Вы сами своим поведением, своим упорным нежеланием признаться в ваших преступлениях перед Советским Союзом довели до этого. Вам, К-н, не удастся меня провести, втирать мне очки, я старый чекист.

Так он представился.

В 9.30 отбой — ложись спать! На Лубянке особое правило — заключенные должны лежать на койке, держа руки поверх одеяла. Обе руки наружу. Если дежурный надзиратель увидит, что у заключенного руки под одеялом, он стучит в дверь, в окошечко, а то входит в камеру, будит арестанта и приказывает ему держать руки «как положено». Лежал я таким манером на своей убогой тюремной койке, — не спится. Все думаю, что ждет меня, куда меня заточат. В Москве тюрем много, и есть зверские, как мне рассказывали пережившие это страдальцы. Особенно ужасна одна тюрьма, в бывшем монастыре. Быть может, меня туда переселят? Уснуть я в ту ночь не мог. Часа в два ночи открывается дверь, ко мне подходит офицер, спрашивает фамилию и имя и приказывает: «Собирайся с вещами». Вывели меня из камеры, заперли в какую-то крошечную кабинку, где я провел с полчаса, и — в «черный ворон» Приехали. Ввели меня в переднюю — узнаю Лефортовскую тюрьму.

ГЛАВА 7.

Март 1947 года. Я в Лефортово, в одиночной камере на 5-м этаже (пристройка над частью 4-го, говорят, специально для «особо важных» преступников). Все как полагается: койка у стены, столик у другой. Слева раковина и кран — умывальник. И рядом стульчик — уборная. Камера «со всеми удобствами»... В Лефортовской тюрьме в каждой камере — «туалет», чтобы не надо было водить заключенных в уборную. Табурета в камере нет, сидеть приходится на койке. Когда меня переводили в Лефортовскую тюрьму, почему-то забрали мои очки, просто сняли их с носа. Утром пришел в камеру старшина, я заявил ему, что мне не вернули моих очков, а я без них ничего не вижу. Старшина отметил это у себя на бумажке. Очков своих я в тот день не получил. На следующее утро вновь напоминаю об этом. Старшина говорит:

— Следователь ваш должен дать записку о выдаче очков, или хотя бы позвонить по телефону. Вы будете у него, скажите ему.

Вечером на допросе прошу майора-чекиста дать распоряжение о выдаче мне моих очков, — я не вижу без них, и у меня головные боли. Он удивленно спрашивает:

— Вам не дали очков?

— Требуется ваше распоряжение, письменное или по телефону, — отвечаю я.

— Хорошо, я скажу старшине.

— Благодарю вас, — сказал я, полный веры.

Но очков я не получил. Каждый день прошу их у старшины. Каждый день прошу у следователя. Старши-

на требует распоряжения следователя, а следователь обещает распорядиться. Дней через 5—6 говорю следователю, что я очков своих до сих пор не получил, а мне очень тяжело без них. Следователь цинично заявляет:

— Вы все еще их не имеете? Что за порядки!

Я понял, что надо мной издеваются и перестал говорить об очках. Прошло две недели — я все еще без очков. Следователь дает мне прочесть протокол допроса и подписать его в 5—6 местах. Говорю:

— Не вижу без очков, не могу ни слова прочесть.

Следователь вытаскивает из ящика письменного стола очки и дает их мне.

— Да это ведь мои очки! — обрадовался я. Прочитал протокол. Говорю следователю:

— Ответы мои неправильно записаны, я этого не говорил.

И продолжаю сидеть в своих очках. Следователь подходит ко мне, забирает очки, прячет их в ящик стола. Сорок два дня мне не давали очков. Утонченная пытка...

Раз в две недели, по субботам, заключенным выдавались книги для чтения. Подъезжает к камере тележка, в которой лежат штук 30—40 книг, — и выбирай любую. Я выбрал «Ярмарку невест» Теккеря. Взял книгу, уверенный, что не сегодня-завтра я буду иметь очки. Но очков не получил, и лежали у меня на столе книги, которые я каждые две недели менял, но не читал. Целых сорок два дня!... Как-то на допросе говорю следователю:

— Мне не дают моих очков, вот уже столько недель. Видимо, это мера наказания в отношении меня? За что, в таком случае, разрешите спросить?

Следователь не ответил, а очки я получил на 43-й день... Как я обрадовался очкам! Я мог читать, и читал все время, целые дни непрерывно. Попадались и интересные книги, в особенности старых русских и иностранных классиков.

В мае 1947 г. начались ночные допросы. Из ночи в ночь. В 9.30 вечера «отбой», надо ложиться спать. Раз-

делся, улегся. А в 10 ч. вечера команда: собирайся! Ведут на допрос. Следователь сидит за столом в своем кабинете, горит настольная лампа. Полумрак. Я сажусь на свое место, в углу, за маленьким круглым столиком. Следователь молчит, перелистывает какую-то папку. То берет какую-то книгу, читает. Слышу в коридоре часы бьют 12. Следователь ни слова не проронил. В два часа ночи он отворил дверь в коридор, вышел и вернулся со стаканом чаю. И опять смотрит в книгу, то и дело поглядывая на меня исподлобья. Вдруг слышу стук рукой по столу и окрик: «Не спать!» Отвечаю: «Я не сплю». Так прошла ночь. Ночь без слов... Около 6 ч. утра меня увели в тюрьму. Я пришел в камеру, быстро разделся и лег на койку.

— Подъем! — надзиратель стучит мне в окошечко, кричит: — Подъем!

— Я ночь не спал, — замечаю наивно.

— Сказано — подъем. Встать! — раздается в ответ грозный окрик. Встаю, одеваюсь. Хочется спать, сел на койку, дремлю. Стук в дверь: «Не спать!» Протираю глаза, освежаюсь холодной водой. Принесли завтрак — какая-то тяжелая, неудобоваримая каша, кружка бледного чая. Позавтракал, сел на койку — больше ведь не на чем сидеть. Задремал вновь, опять стук в дверь: не спать! Через минуту пришел старшина и строго выговаривает:

— Спать не положено днем, понимаешь!

И поднял койку, привинтил ее к стене. Теперь и сидеть не на чем. Сел у раковины внизу. Стучат в дверь: «Ты где там?». Я не виден надзирателю в волчок. Там сидеть опять «не положено». Уперся о край стола, стою. Ноги плохо держат, подкашиваются, скатываюсь вниз. Сел на пол. Опять стук в дверь: «на полу сидеть не положено, встать». Так промучился я весь день на ногах. И не ем ничего. В 9.30 отбой. Спустили койку. Слава Богу! Я скорей улегся под жесткое, шершавое, серое арестантское одеяло. Заснул. В 10 ч. вечера стук в око-

щечко и окрик: «Встать! Собирайся!» Опять на допрос. Думаю, авось до 12 ночи — ведь вчера всю ночь на допросе был... Неисправимый оптимист! И эту всю ночь, до 6 ч. утра, я провел в кабинете майора-чекиста. Таких ночей было восемнадцать! Восемнадцать ночей! На день аккуратнейшим образом поднимали койку, привинчивали ее к стене. Восемнадцать дней и ночей я не спал, глаз не сомкнул. Это — одна из многих советских «культурных» пыток... Почти каждый вечер, когда меня приводили на ночной допрос, следовал циничный вопрос майора:

— Как чувствуете себя, К-н?

И мой неизменный, всегда бодрый ответ: хорошо. Вижу, как злит, раздражает следователя это «хорошо». Он совсем иного хотел добиться этой пыткой — этими бессонными ночами и мучительными днями... И однажды после такого «хорошо», на 11-ю ночь пыток, следователь подошел ко мне, к моему столику, и зло, с налитым кровью лицом спрашивает:

— Вы будете говорить или нет?

— О чем говорить?

— О чем? Обо всем говори. Не то я сгною тебя в тюрьме. Будешь сидеть в тюрьме, пока не сдохнешь. Говори! — И последовала крепкая матерная брань. Я молчу. Майор с кулаками приблизился к моему лицу. Я невольно, по инстинкту самозащиты, вскочил со стула и отступил шаг назад, к стене. Это, словно, отрезвило его, и он крикнул:

— Что ты вскочил? Неужели ты думаешь, что я стану марать свои руки о такую сволочь!...

Как-то в одну из таких ночей заявился начальник следственного отделения, подполковник, знакомый мне по Лубянке.

— Ну, Абр. Иос., — присоединился он к моему майору, — вы продолжаете молчать, не хотите ничего говорить?

— Меня допрашивают днем и ночью тоже, как видите. Уже целых две папки протоколов написаны.

Значит, я отвечаю на вопросы. Говорю, что знаю, говорю правду, — возражаю я.

— Вы ничего, кроме своей фамилии и имени не скажете нам.

— Я говорил и буду говорить, то что было, а не то, что следователь требует, — признания шпионской работы сионистской организации, диверсионной работы сионистов в СССР и тому подобное. Этого не было, и под этим я никогда не подпишусь, — твердо сказал я.

— Слушайте, К-н. Вы не хотите признаться в том, в чем ваши товарищи-сионисты давно признались. Признайтесь, и вы будете на свободе. Освободить вас нам ничего не стоит. Если же вы и впредь будете вести вашу линию, придется прибегнуть к физическому воздействию.

Дрожь пробежала по моему телу, но я ответил:

— Что ж, если к этому средству прибегают, испытая и я его.

Подполковник вскочил и заорал:

— У нас не бьют. Это у вас там — в Китае, в Японии — насилия и пытки, истязают заключенных. А в Советском Союзе этого нет. Чего выдумываете?

— Я понял так из ваших слов о «физическом воздействии», — сказал я.

— Вы там, в вашем Китае, разучились понимать русскую речь, — будто возмущается начальник.

Он встал, что-то шепнул следователю и вышел из кабинета.

Навестил меня и сам главный начальник следственного отдела МГБ, полковник З-ков. С ним беседа была иная. Появился он в кабинете часа в 3—4 дня. Следователь-майор вскочил с места.

— Кто у вас? — спрашивает «гость».

— К-н.

— Доктор? Абр. Иос.?

— Так точно, товарищ полковник, — подтверждает майор.

И товарищ полковник, самый главный начальник следственных дел, допросов, пыток, сел на диван возле моего столика, почти рядышком, — нас отделяет только маленький круглый столик.

— Так, так, Абр. Иосиф. Ваше дело мне известно. Очень жаль, что вы не хотите быть нам полезны. Неужели вы такой враг советского народа? — вопрошает он.

— Я никогда не был врагом русского народа и никакой борьбы с советским народом не вел. Я работал для своего народа, для дела еврейского национального возрождения, — ответил я.

— Для сионизма? — подчеркивает полковник.

— Да, для сионизма, — подтвердил я.

Полковник ухватился:

— Так ведь Абр. Иос., об этом и речь идет. Я вижу, что с вами мы договоримся. Вы человек умный, культурный и поймете меня с двух слов. Надо, К-н, говорить обо всем. Ваша деятельность была очень разветвленной. Вы — лидер сионизма. Быть может, вам неприятно говорить. Есть такие, говорить стесняются, а писать — пишут все. Быть может, вы не хотите говорить, а напишите. Пожалуйста! Мы вам дадим бумагу, перо, чернила — и пишете. Сколько вам надо бумаги? Сто листов, двести, триста — я дам вам, и вы можете писать в камере. Я разрешу вам, — торжественно закончил полковник.

— Я не знаю, что писать на этих сотнях листов бумаги, — сказал я.

— Пишите о сионизме, заданиях, которые вы получали из Лондона, от вашего центрального комитета. Ведь он был на службе у англичан. Все, все напишите. Мы знаем о диверсионной работе ваших сионистских молодежных организаций. Обо всем пишете! — убеждает меня полковник.

— Я этого писать не буду, не могу, ибо всего этого

не было, не имело места. Это ложь, — категорически заявил я.

— Подумайте хорошенько, К-н, и напишите все. Бумаги получите, сколько вам надо.

И обращаясь к майору, добавил:

— Вы дайте ему бумагу, и он будет писать.

— Есть, товарищ полковник, — отчеканил майор. Полковник ушел.

— Слышали, К-н? Поняли, что это означает? Одумайтесь! Вы знаете, кто с вами разговаривал?!

И меня увели в камеру.

В тот вечер была наша банная очередь. Меня повели в «душевую». Я должен был нести на себе по крутой лестнице с 5-го этажа в подвал, в дезкамеру для дезинфекции, и обратно вверх тяжелый матрац, одеяло, постельное белье. Я буквально изнемогал, у меня не было сил нести эту тяжесть. Не раз останавливался, падал. Но надзиратель подгонял меня, подталкивал, а то и ногой подпихивал. Хорошо, что баня и дезинфекция делались раз в 12 дней. Брили и стригли с тем же интервалом. В Лефортовской тюрьме по ночам не только клопы беспокоили. Среди мертвой тишины подчас раздавались душераздирающие крики, громкие стоны... Что это за крики? Что за плач? Крики душевнобольных? Бьют людей? Истязают?!...

Как-то меня вызвали на допрос. Вижу, ведут в другую комнату, в самый конец длинного коридора, возле уборной. Ввели в узкий и длинный кабинет. За письменным столом сидит мой следователь. Он самый. Сел я на свое «положенное» место. Он молчит, и я молчу. С полчасика сидим молча, потом слышу за стеной, возле которой я сижу, крики и удары не то ремнем, не то резиновой дубинкой. Человек кричит: «За что меня бьете? Что вы от меня хотите, разбойники?» Акцент не то татарский, не то грузинский. И снова удары и крики. Стена не капитальная, перегородка. Я в ужасе, но не теряю самообладания, стараюсь не подавать вида, что слышу, вол-

нуюсь, что это на меня действует... А следователь исподлобья поглядывает на меня, затем произносит:

— Слышите, К-н? Вот так будет и с вами. — И зло добавил:

— Сволочь поганая, б..., — присоединяя к этим невинным изречениям высокий, четырехэтажный, советский формационный мат.

Через некоторое время уже другой следователь проделал со мною тот же эксперимент: вызвал в кабинет на допрос, а рядом в кабинете били заключенного — крики, плач, вой...

— Так будет с вами, К-н — услышал я знакомые слова.

Нет, этого со мной не случилось. На меня «воздействовали» более утонченными, более «культурными» средствами. Но и я все же получил солидный удар прикладом. Я был на допросе. Конвоир повел меня в туалет. Зашел со мною. И вдруг закричал: собирайся! И ударил меня раз и второй прикладом. Крепко ударил.

— Ты что дерешься — сказал я возмущенно.

— Иди, не разговаривай! На месте уложу, сволочь! — ответил солдат службы МГБ. Возвратясь в кабинет, я спросил следователя, имеет ли право конвоир бить заключенного.

— А что случилось?

Я ему рассказал. Он не реагировал ни словом.

Бить заключенного, подумал я, видимо, может безнаказанно каждый и всякий, от мала до велика... «Власть на местах»...

У меня новый следователь, подполковник П-ко. Майор куда-то уехал. Этот новый начинает все сначала: «Давайте по-хорошему», «выкладывайте все, вот тут на стол, и в пару дней мы закончим дело, и вы, может быть, будете на воле», «разве Советская власть хочет непременно наказать», «мы ценим таких людей, как вы. Сидели вы там в Китае, Японии и чего добились? Вот гниете в тюрьме, а у нас были бы академиком», «в край-

нем случае, получите пять лет лагеря. А у нас в лагерях хорошо, благоустроено, и работать будете врачом в больнице, признавайтесь, К-н, все, все рассказывайте. По рукам, что ли, как говорится?» — пропагандирует мой новый следователь.

— Мне кажется, — отвечаю, — что больше того, что я сказал, мне нечего добавить. Выдумывать, лгать я не буду. Спрашивайте, гражданин подполковник.

Этот следователь, украинец, стал вызывать меня каждый день, но целых 10—12 дней не задавал мне ни одного вопроса «по делу», а все рассказывал мне о колхозах, как «богато» живут там крестьяне, как они «счастливы». «Есть у нас много колхозов-миллионеров». Говорил следователь о полной, абсолютной «свободе» в Советском Союзе. Пел хвалебные гимны Сталину, называя его большей частью «наш хозяин», «наш вождь», восхищаясь, как он, Сталин, велик, «такого мир не знал и не знает», как «мудр», как «любим и обожаем» народами СССР...

Однажды меня вызвали на допрос в 12 ч. дня. И первый вопрос следователя:

— Вы обедали?

— Нет, не обедал.

Следователь позвонил по телефону и заказал для меня обед. Я испугался этого обеда. Ведь столько слышался о том, что проделывают с заключенными в советских тюрьмах, как их «убирают», «ликвидируют»... Себе подполковник взял лишь стакан чаю, а мне полный обед. Суп, мясное блюдо с гарниром, хлеб, масло, компот. «Почему вдруг обед? — подумал я, — или подкупают?!» Следователь положил на мой столик коробку папирос «Беломор-канал» и спички.

— Спасибо, я не курю, — сказал я.

— Ну, авось надумаете закурить в камере. Это создает настроение, — заявил следователь.

Все это мне очень подозрительно. Пообедал. По

звонку следователя пришел солдат и забрал посуду. И начался допрос.

— Откуда вы знали, что в Советском Союзе преследуется религия? Вот тут ваше заявление об этом.

— Когда это было? — спрашиваю я.

— Неважно.

— Нет, гражданин следователь, очень важно, когда это было и что я сказал.

— Вы не хотите ответить на этот вопрос, — делает вывод следователь.

— Перед вами, гражданин следователь, имеется мое заявление по этому поводу, сделанное лет 25 тому назад. Я прошу зачитать его, — настаиваю я.

Действительно, в 1921 г., когда в Советском Союзе религия подвергалась сильному гонению, лица духовного культа были деклассированы, одна из харбинских русских газет произвела летучую анкету по этому вопросу. Спросили мнение 10 наиболее видных представителей общественности. Я был в числе этого десятка. Я прошу следователя прочесть сказанное мною, зная, что тут очередная провокация. Следователь, видя, что я отказываюсь дать какие-либо объяснения по этому поводу, протянул мне газету и сердито сказал: «Читайте». Да, это было мое интервью всего несколько строк. Сказано приблизительно следующее: трудно понять, как может государство, объявившее все свободы — слова, печати, совести, преследовать людей за их убеждения, за веру... Следователь спрашивает:

— Откуда вы знали, что в Советском Союзе преследуется религия?

— Это все знали, — отвечаю я, — об этом рассказывали люди, приезжавшие из Советского Союза, и все газеты писали об этом, много писали.

— Какие газеты?

— Все газеты — и польские, и югославские, фран-

цузские, английские, американские, литовские, рижские, — ответил я.

— Все это ложь! — заявляет следователь. — Никогда в Советском Союзе не преследовалась религия, никакая религия. Ни одного попа не деклассировали. Церкви закрывались самим населением за ненужностью. А хочешь верить в своего какого-то Бога — верь, хочешь молиться ему — молись, раз ты темный человек. Все, что писали у вас там, все это ложь. Вот у меня живет моя старушка-мать. Висит у нее икона над кроватью. Ну, что я с ней поделаю? Забрать у нее эту мазню — это значит убить ее. Так она воспитана, всю жизнь с глупой, дурацкой верой в какого-то Бога, с молитвой, — пускай висит икона Бога, черта, дьявола... — убедительно закончил свою речь подполковник.

К концу допроса — было уже 6 ч. вечера — следователь читает протокол, написанный им и который я должен подписать. Сколько вопросов и ответов — столько раз подписывает свою фамилию заключенный. Иногда 15—20 раз подписываешься. И вот следователь читает вслух (для меня) протокол, читает свой вопрос: «Откуда вы знаете, что в Советском Союзе преследуется религия?» И излагает мой ответ следующим образом: «У меня была связь с Америкой».

— Я этого не говорил вам, — протестую я.

— Но вы говорили, что читали об этом в американских газетах, — хитро улыбаясь, заявляет следователь.

— Я сказал, что об этом говорили приехавшие из России, и все газеты были полны этими известиями — польские, французские, американские и другие, — заявляю я.

— А разве почтовая связь это не связь? — нахально, цинично заявляет следователь.

— Значит, если вы, гражданин подполковник, читаете английскую газету — вы в связи с Англией? — спрашиваю я.

— Я этого не сказал, — говорит следователь.

— Вы этого не сказали, но вы так написали. Я протокола в таком виде не подпишу, — заявил я.

Протокол остался не подписанным, как и многие другие протоколы, которые я отказался подписать, т. к. следователи вкладывали в мои уста не то, что я говорил, а то, что им «по долгу службы» надо было... «Злые языки» рассказывали, что в общем оказывалось так, что протоколы были подписаны, — ваша подпись появлялась... без вашего участия... На это имелись большие «специалисты»... Следователи МГБ получали особое денежное вознаграждение за «признание» заключенным своей вины, и поэтому следователи из всех сил старались заставить «сознаться», «признаться», не стесняясь средствами... После скандального процесса врачей-евреев в 1953 г. Советское правительство само признало, что следствие пользовалось «недозволенными законом средствами», т. е. пыткой. И это было повсюду. Это была система советского следствия. Среди имен, опубликованных в газете «Правда» после процесса врачей, среди имен виновных в этих допросах с пытками было имя полковника З-ва, который допрашивал меня в Лефортовской тюрьме (расстрелян вместе с Меркуловым, Аввакумовым и другими министрами и главарями МГБ). Жилось этим следователям МГБ хорошо, очень хорошо. Они получали большие оклады, им платили за чин, за «звездочки» на мундире, за ночные «допросы», за «признание преступника». Мой следователь рассказывал мне, что у них имеется специальная, своя, клиника, лучшая в Москве, у каждого из них была своя дача под Москвой. Следователи мои не раз говорили мне, что МГБ — это высшая власть в Советском Союзе, «опора» государства, орган «стоящий над всем»...

Допросы становятся все более и более мучительными. Обвинения против меня растут, как грибы после дождя. Мне читают «показания» двух членов харбинской

организации «Брит-Трумпельдор» о «диверсионной работе» «Брит-Трумпельдор», будто организация эта засылала людей в Советский Союз с целью диверсии, «со шпионскими заданиями». Во главе этого дела стоял д-р К-н, «вождь всех сионистов». Один трумпельдорец рассказал об участии в антисоветской работе также раввинов Киселева и Левина...

— А вы знаете Е-на? — спрашивает меня следователь.

— Не помню такого.

— А он вас хорошо знает. Он сионист, вместе с вами работал, называет вас «вождем».

— Не знаю такого, — заявляю я.

— А вы вспомните, ведь вы заслали его в Советский Союз. Он во всем признался и теперь отбывает свой срок. Хотите встретиться с ним? — хитро улыбается следователь.

— Хочу, но вы не дадите ведь. Мне была обещана очная ставка с М-ром, который наплел разных небылиц, быть может в болезненном состоянии. Трижды обещали, но не дали, — сказал я.

— Вы что, не верите этим показаниям?

— Не могу я верить — ведь это бред сумасшедших, — сказал я протестуя.

У меня то один следователь, то другой. Вызывают на допрос, вхожу в кабинет: за письменным столом мой старый знакомый — майор-чекист. Он, словно, обрадовался:

— Здравствуйте, К-н! Как здоровье? Еще живы? И все молчите? Ведь мы все знаем о вас, вашей сионистской шпионской антисоветской работе. Все знаем. Без ваших признаний знаем. И знаем, кто вы, что за человек. Хотите я прочту вам вашу характеристику?

Я молчу.

— Хотите, К-н? Вот прочту.

— Меня это мало интересует, — ответил я.

— Нет, это интересно, вот слушайте! — повелеваетследователь.

И он стал читать вслух «характеристику» еще от 1938 года, перечисляя лестные качества д-ра К-на: врач, «образованный человек», хороший оратор и лектор, популярный у населения и властей. Эмигрантские русские организации, их главы «боятся» влияния д-ра К. и вынуждены «считаться с ним и с еврейской общиной», которую д-р К. возглавляет много лет.

И далее: д-р К-н очень осторожный человек в своей политической деятельности. Он никогда «не участвует» и «не присутствует» на общеэмигрантских собраниях и политических демонстрациях, устраиваемых российскими эмигрантами и японскими властями. И далее читает следователь: «До 1937 г. д-р К-н проводил в общине анти-японскую политику, был против контакта с японскими властями, сторонником чего был другой сионистский лидер Р-ич. С 1937 г. д-р К-н изменил свою линию, но в своем контакте с японцами проявляет «осторожность». Все это прочитал мне следователь, словно декламировал. И читал, как видно, не все, а лишь выдержки из какого-то доклада советской разведки в Харбине. Кончил читать и взглянул на меня:

— Как? Правильно о вас написано? — хвастливо спросил он.

Я усмехнулся:

— Ваш осведомитель, писавший это, очень плохо разбирается в конъюнктуре. Все эти заявления о про-японской или антияпонской политике еврейской общины и сионистов — чушь сплошная. Ни сионисты, ни еврейская община в Харбине или в других городах не занимались никакой государственной политикой, а только служили интересам еврейского населения — культурным, экономическим, национальным, защищали права евреев и их жизнь. Никогда не обсуждались вопросы про-японской, прокитайской антисоветской политики. В еврейской

общине состояли членами все евреи, — советские, польские, литовские, германские, лица без гражданства и др. Ваша информация плохая, очень плохая, гражданин майор! — сказал я.

Тогда следователь преподносит мне печатную страничку из какой-то брошюры, причем загибает верхнюю половину листка. «Читайте!» — приказывает он. Читаю. Там написано, что еврейская община в Харбине, возглавляемая известным сионистским деятелем д-ром А. И. К-ном, занималась шпионской работой в пользу Америки и Японии. И подпись под этим напечатана: зам. мин. внутр. дел Меркулов (в 1953 г. расстрелян вместе с Берия, Аввакумовым и др. «предателями»).

— Прочитали? Вы видите, кто это пишет? — спрашивает следователь.

— Вижу, — говорю я. — И это такая же ложь и гнусная клевета.

— Расскажите, как вы, ваша сионистская община, работали на Японию, — требует следователь.

Я молчу. Что мне ответить на вопрос, задаваемый в сотый раз?

— Ну, К-н, говорите, только всю правду, — настаивает майор.

— Мы на японцев не работали — ни я, ни еврейская община — вот вам вся правда!

— А деньги давали японцам? — домогается своего майор.

— Какие деньги? Кому? — спрашиваю я.

— А налоги платили? — кричит следователь.

— Налоги платили. Налоги все платят, — объясняю я.

— Какие налоги платили? — спрашивает майор.

— Платили подоходный налог, квартирный налог.

— А куда шли эти деньги? Вы знаете? — вопит майор. — Это все шло против Советского Союза, на борьбу с нами, для подготовки войны против нас, — буквально кричит майор.

На это я спокойно замечаю:

— Но ведь у вас был союз с Японией, был пакт о нейтралитете, о ненападении...

Чекист-майор вскочил и угрожающе закричал:

— Это вас не касается. Это политика — если надо, мы можем с самим дьяволом заключить пакт. Не ваше дело рассуждать.

— Но налоги платили все, — сказал я, — и советские граждане платили подоходный, поземельный, квартирный налоги.

Майор вновь закричал:

— У вас там нет советских граждан! Кто это из советских людей имеет дома, заводы, магазины, торгует? Мы таких советскими гражданами не признаем. Это изменники родины!...

— Но у них советские паспорта, они зарегистрированы в советском консульстве, — заметил я.

Майор перебил меня:

— Эти сволочи — торгаши, а не советские люди.

Я в новой камере на 4-м этаже. Вид камеры — могильный склеп. Стены черные от грязи, пол не чище. Клопы зверски кусают. Нас трое в камере. Людей то и дело меняют, то один, то другой. Вот молодой немец, доктор права, адвокат из Дрездена. По-русски ни слова не говорит. Беседуем с ним по-немецки. Арестовали его в Германии и на самолете привезли в Москву. Проклинает все русское. Русских называет не иначе, как «чингисханами». Отрицает за русскими все — у них ничего нет, ни литературы, ни искусства. Как? А Пушкин? Толстой? Достоевский? А величайшие композиторы, художники, скульпторы? А русский театр? Вижу, что ненависть к России мешает ему о чем-либо говорить беззлобно. Показания свои у следователя он дает в присутствии переводчицы, которая, по его словам, и понимает немецкую речь и говорит по-немецки очень плохо, а пишет, излагает на бумаге еще хуже. Немец отказался подписы-

вать протоколы на русском языке. Протоколы, написанные переводчицей на немецком языке, он также не признает: они «безграмотны» и неверно передают его ответы. Он сам писал свои показания, и только под показаниями, им самим написанными, подписался. На этой почве у него со следователем постоянные скандалы. Следователь заявил, что переводчица при МГБ «официальная», она окончила Государственный институт иностранных языков, немецкое отделение, и он не имеет права не верить ей. А немец утверждает, что переводчица совершенно не знает немецкого языка, пишет плохо и перекривляет его мысли.

— А кто ваши сокамерники? — как-то спрашивает меня мой следователь.

— Какие-то двое, один немец, а другой русский.

— Кто они? Как фамилии?

— Не знаю, — говорю я, — не интересовался.

И следователь стал расспрашивать меня про немца, о чем мы беседуем, что тот рассказывает. Я ответил, что не веду с ним никаких разговоров. В тюрьмах Москвы и других городов, говорят, есть специальные аппараты — «подслушиватели», и все, что произносится в камере, становится известным...

Следователь читает мне показания о моей «преступной сионистской» деятельности, данные разными лицами, евреями и неевреями. Я с удивлением слушал эти показания, а впоследствии, при подписании 206-й статьи, читал их сам, видел их воочию... Я не чувствовал к этим людям, в том числе к моим ближайшим сотрудникам, никакой вражды. Они себя «спасали», по крайней мере, думали, что спасают себя. «Мы тут ни при чем, — все было в руках д-ра К-на. Он вел политическую работу». Так заявляли они после того, как до небес возносили д-ра К-на. «Он создал общину и ее учреждения, столовую, больницу», «он глава евреев», «всеми уважаем и любим». Д-р К. лично бывал в японских административ-

ных учреждениях, хлопотал за евреев, «мы даже не знали об этом...» И т. п. Они, эти люди, члены Президиума общины, испугались, были одержимы страхом перед пытками, страшной карой... А, быть может, их принудили подписать протокол... Прослушал, прочитал показания сотрудников, товарищей по работе. Было обидно... на момент. Но, — подумал я, — да простит им Бог!...



На одном из допросов в Лефортовской тюрьме, лишь только я вошел и сел на свое «положенное» место, в углу за столиком, следователь обратился ко мне:

— Вы Михоэльса знаете? Слышали о нем?

— О еврейском актере Михоэльсе? — спрашиваю я.

— Да, о нем. Вот о нем пишут. Погиб в автомобильной катастрофе. Это был большой актер, лучший «Король Лир» в Советском Союзе, — и следователь протягивает мне газету «Правда», в которой помещен фотоснимок «Михоэльс в гробу» и статья о нем, как талантливом артисте и выдающемся театральном деятеле.

— Вот видите, в Москве еврейский театр, специально еврейский. Это только в Советском Союзе. Нигде не сумели так разрешить национальный вопрос, как у нас. И все благодаря Иосифу Виссарионовичу. Читали его книгу о национальном вопросе? Гениальное решение такой сложной проблемы, — заканчивает свой панегирик мой «собеседник».

Я, конечно, молчал и ничем не реагировал на зауценную тираду этого невежды-следователя. Я тогда не знал еще, как умер великий еврейский актер. Истинную причину смерти Михоэльса и как его «убрали» я потом узнал, позже, в одном из лагерей Казахстана (Карлаг).

Следователи в подавляющем большинстве не только малокультурные люди, но просто малограмотные. Один из них, подполковник, давая мне на прочтение и под-

пись протоколы, говорил, бывало: «Если есть грамматические ошибки, вы уж там тоненько исправьте». И я исправлял, много исправлял...

Несколько месяцев сидел со мною в одной камере москвич, сапожник. Нервный, издерганный человек, с несомненно нарушенной психикой. Узнав, что я врач, он посвятил меня во все свои болезни и историю своей жизни. Он инвалид войны, перенес тяжелое ранение в голову. Получал 36 рублей (новыми деньгами)*. Жена работает закройщицей, но работа у нее не постоянная. Есть у него дочь 15-ти лет, учится в школе. Вернулся с фронта, надо заняться чем-то — на 36 рублей не проживешь. Полагал, как инвалиду Отечественной войны, ему сразу дадут работу. Ходил по разным учреждениям, канцеляриям, «оргам» и «торгам». Наконец, добился. Дают ему на одном из базаров лоток — товару разного на 200 рублей, небольшую зарплату и какой-то процент с вырученной суммы. Все как будто согласовано, утверждено во всех торгинстанциях и госинстанциях.хлопотал месяцами, наконец все в порядке — назначили день, когда он должен был получить на руки свидетельство — разрешение на право торговли, на лоток. И вот он пришел за разрешением, но ему заявляют, что разрешение на этот лоток отдано какой-то девушке. Инвалид войны стал протестовать — как же так? Везде прошло, утверждено, почему отдают другому? И ему откровенно какой-то чиновник сказал, что это сделано по решению партии, что есть распоряжение передать право на лоток этой девушке, т. к. она член партии ВКП(б)**.

Бедняга резко, протестуя, сказал: «Только члены партии имеют право на труд? Только им надо кушать?

* После денежной реформы 1961 года.

** Всесоюзная Коммунистическая партия (большевики) — так называлась до 1952 г. Коммунистическая партия Советского Союза.

А я, инвалид Отечественной войны, должен с голоду подыхать?! Ему на это ничего не ответили, но, вероятно, слова его запомнили и куда следует передали... Через неделю инвалида уплотнили. Он жил с женой и дочерью в одной довольно большой комнате, которая была и кухней, т. е. в ней находилась плита. Вселили в эту одну комнату еще семью — мужа и жену. Пришлось перегородить комнату, разделить ее пополам. Живут в тесноте, духоте. Но как просуществовать? И инвалид стал сапожничать: когда-то учился этому ремеслу. Он начал шить ботинки и шил, по его словам, неплохо. Материал (кожу) доставал нелегально. Пару ботинок продавал на рынке за 70 рублей. В месяц успевал сшить 1,5 пары и зарабатывал чистыми рублем 25. Тяжело ему было с местом работы. В своей полукомнате работать невозможно, просто невыносимо. По соседству жил офицер, тоже инвалид, один в квартире из трех комнат. При квартире большая передняя и чулан. Офицер этот занимал, видимо, большой пост. К нему то и дело приходили полковники, майоры, он постоянно сносился по телефону с разными людьми. Этот офицер, при случайной встрече разговорившись об участии и печальном положении моего сокамерника, предложил ему работать у него в чуланчике. Сапожник обрадовался, был очень признателен доброму человеку. В один прекрасный день сапожника арестовывают и запирают в тюрьму. Его терзают допросами об офицере, в чулане квартиры которого он тачал сапоги. Офицер этот, якобы бывший белогвардеец, начальник бронепоезда в армии Колчака, — шпион. Бедный сапожник понятия ни о чем не имеет, никогда и двух слов не проронил с офицером. Клянется — «я честный советский гражданин», инвалид войны, «проливал свою кровь за советскую Родину». Сапожника пытаются, требуют, чтобы он рассказал, кто бывал у этого шпиона, с кем он сносился по телефону, о чем говорил. И сапожника тоже обвиняют в шпионаже — он работал заодно

с этим офицером, работал по его «заданиям»... Ни слезы, ни заверения в преданности и верности «советской власти и Советской Родине» не помогают. Инвалида бьют. Он приходит с допроса полуживой, еле держится на ногах. Допрашивают то целый день, то всю ночь напролет. Он без сил, — только сядет на койку — валится. Стук в дверь, окрик: встать! Но через пару минут он опять свалился. Пришли в камеру надзиратели и вынесли его койку. Теперь сидеть негде. Он садится на мою койку, дремлет. Опять стук в дверь, окрик: «Встать! Не смей спать!» Но ноги не держат его. Опять садится на мою койку. Пришел старшина, набросился на меня, почему я позволяю сидеть на своей койке.

— А что мне делать? — протестую я. — Он изнемогает, падает. Я не могу гнать его.

— Так и твою койку вынесут, — категорически заявляет тюремщик.

На что я ответил:

— Я драться с ним не буду и гнать с койки не стану.

Пришла женщина-врач и дала несчастному какую-то таблетку, чтобы «отбить сон», как нам сказал надзиратель, когда едва живого сапожника вскоре увели на допрос.

— Теперь уж спать не будет, — ухмыльнулся тюремщик.

Вернулся измученный с допроса, стоит, прислонясь к стенке и вдруг скатился, упал на пол, почти не дышит, пульс слабого наполнения. Я постучал в дверное окошечко и говорю надзирателю:

— Надо позвать врача, оказать помощь.

Через минут десять пришел врач, на сей раз не женщина, обслуживающая заключенных, а главный тюремный врач, в военной форме, по чину полковник медицинской службы, и с ним старшина. Вошел в камеру. Р-в лежит на полу. Врач-полковник не поинтересовался,

что с больным, даже пульса не пощупал, а строго крикнул: «Вставай»... Я сказал доктору:

— Он очень слабый, больной, инвалид войны, на учете в нервно-психическом диспансере, он почти без пульса.

Врач-полковник строго заметил мне:

— Он в тюрьме, а не в санатории...

И вышел из камеры. Вскоре внесли его койку, и мы с соседом по камере подняли с пола сапожника и положили на койку. Через полгода я встретился с ним уже на Лубянке. Он был со мною в одной камере всего несколько дней. И был в ужасном состоянии. Его увезли якобы на экспертизу в больницу имени Сеченова, и больше он не вернулся в нашу камеру. Быть может, он закончил свои дни в тюремной больнице для нервно-психических больных, или...

Меня вызывают на допрос и первый вопрос следователя:

— Когда был у вас еврейский съезд?

Отвечаю: — У нас было три съезда еврейских общин, первый — в 1937 году, а четвертый не состоялся, т. к. не был разрешен японскими властями.

Следователь хитро глядит на меня:

— Сколько вы заплатили японцам за съезд?

— Я не понимаю вопроса, — заявляю я.

— Ведь вы же дали взятку японцам за разрешение съезда. Сколько вы им заплатили? — настаивает следователь.

— Мы взятку японцам не давали. Мы получили разрешение на съезды без всякой платы за это — заявляю я.

— Врешь, подлец! — кричит следователь. — Японцы ничего даром не делают. За ваши «красивые глаза» они съезд не разрешат. Мы знаем, что ты дал Военной японской миссии триста тысяч иен, и съезд ваш был разрешен.

— Это неправда, — говорю я, — у вас ложная информация.

— Не хочешь признаться? А если я тебе покажу черным по белому? — говорит следователь.

— Покажите, — соглашаюсь я.

— Вот документы из Японской военной миссии, — трясет он папкой.

— А вы покажите мне! — требую я.

— Сволочь ты, К-н, повесить тебя мало, — заканчивает разговор о съезде следователь. И, конечно, никаких документов мне не показал.

Через пару дней меня вызывают на допрос в 7 часов утра. Что за странный час для допроса! Конвоир приводит меня в какой-то новый кабинет в нижнем этаже. Но за столом сидит знакомый подполковник, украинец П-о.

— Вы завтракали, К-н? — спрашивает он.

— Нет, еще не успел.

— Сейчас мы с вами будем завтракать.

Он позвонил по телефону, сказав только одно слово: «Несите». И солдат принес на подносе два завтрака, один поставил перед подполковником на его письменный стол, а другой — на мой маленький круглый арестантский столик в углу кабинета, возле двери.

— Ешьте, К-н. А потом будете писать, — скомандовал он.

Завтрак состоял из рисовой каши, глазуни, хлеба, масла и стакана молока. Это, конечно, не арестантский завтрак, а офицерский, из ресторана МГБ. „Timeo Danaos et dona ferentes” вспомнил я известное латинское изречение, — «боюсь я данайцев, даже дары приносящих»... А «данайцы» советские еще страшнее...

Позавтракали. Солдат забрал посуду. К моему столу подошел следователь, ставит на стол чернильницу, кладет ручку и много листов писчей бумаги.

— Вот, К-н, пишите. Хоть весь день пишите, пока не устанете, — говорит следователь.

— А что писать? О чем? — спрашиваю я.

— О всей вашей жизни, о сионистской работе, о сионистской организации, ее строе.

— О моей жизни со дня рождения на свет Божий? — спрашиваю я иронически.

— Нас не интересует ни ваше детство, ни ваша семейная жизнь. Пишите о вашей сионистской антисоветской работе, — требует он.

— А если ее не было? — спрашиваю я.

— Пишите обо всем, но пишите правду, ведь нам все известно о вашей преступной работе, — диктует следователь.

— Хорошо, — говорю я. — Правду буду писать, как она есть.

И я начал писать. Писал о работе еврейской общины, ее институтах: культурных, религиозных, социальных, благотворительных и охраны здоровья. О сионистской организации, ее задачах и национально-культурной работе. Исписал тридцать листов — бумаги больше нет. Уже 12 часов дня. Говорю следователю: «Бумаги больше нет». Он дает мне бумагу. Пишу дальше. Написал в общей сложности до 5 ч. вечера шестьдесят шесть листов. Опять кончилась бумага. Он, по-видимому, не ожидал такого количества написанного и, довольный, сказал: «Ну, хватит, до завтра». Забрал написанное, положил в свой портфель, а меня отправил с конвоиром в тюрьму, после десятичасового рабочего дня.

Назавтра в 12 ч. дня вновь вызывают меня на допрос. Мой следователь возмущается:

— Что вы там написали? Кому это надо? Только бумагу извели.

— Писал то, что есть, писал правду, — ответил я.

Следователь разрывает на мелкие кусочки все на-

писанное, все 66 листов, и бросает в корзинку, стоящую возле его письменного стола.

— Бросьте, К-н, дурака валять. Нашелся святой, правду пишет! Подожди, будешь ты у меня писать правду. Я тебе покажу, где она твоя правда! — кричит следователь.

И он снова дает мне листы бумаги.

— Пиши! Пиши конструкцию сионистской партии, где Центр, комитет партии, программу партии, отношения с Англией и Америкой, — приказывает следователь.

И я вновь пишу. Пишу о 1-м Сионистском конгрессе, Базельской программе, об аполитичности с. о., ее лояльности к странам, в которых она функционирует, о колонизации Палестины, культурных проблемах сионизма. Мое писание было своего рода демонстрацией протеста против насилия надо мной господ из МГБ, против их требования признать, зафиксировать на бумаге «шпионскую», «контрреволюционную» работу сионистской организации.

Взял следователь у меня 40 листов исписанной бумаги, прочитал кое-что бегло, перелистал, и говорит:

— Смеешься ты над нами. А политическая, антисоветская работа сионистской организации? А какие задания тебе давал Вейцман?

Заявляю резко и категорически:

— Никаких политических заданий я от Вейцмана и ни от кого-либо другого не получал.

Следователь разъяренно кричит:

— А диверсанты, которых Брит-Трумпельдор забрасывал в Советский Союз, — это не политическая работа? Ты — английский шпион, и ты, и Вейцман! — неистовствует подполковник.

И опять разорвал на клочки исписанные мною листы бумаги, бросил в корзину. И стал что-то писать. Писал целый час, совершенно не обращая на меня внимания. Затем приказал увести меня в камеру. 106 больших ли-

стов бумаги я извел, но чувствовал себя удовлетворенным... Снова следователь велит мне писать на этот раз о Брит-Трумпельдор, о цели, задачах, работе организации. Я написал еще десять страниц. Следователь пробежал написанное и сердито спрашивает:

— А о Брит-Трумпельдор в Риге почему не написал?

— Я в Риге не был и ничего о тамошней организации Брит-Трумпельдор не знаю, — ответил я.

— Врешь! — закричал следователь, — у тебя была связь с Трумпельдор в Риге.

Следователь разорвал и эти десять листов.

В тюрьме открылся ларек. Старшина объявил, у кого есть деньги, может выписать из ларька хлеб, колбасу, папиросы, спички. Раз в неделю, по вторникам. Мне, собственно, нечего выписывать—хлеба для меня достаточно, три четверти пайка остается, я не курю, а к колбасе отношусь подозрительно. Но мои два сокамерника оба курят, хлеба им не хватает, а денег нет у них. Выписываю для них килограмм хлеба, три пачки папирос, спички. Подал старшине выписку. Через час приходит старшина:

— А где у вас деньги?

Я предъявляю ему квитанции Свердловской тюрьмы: одну на 320 рублей, другую на вещи — чемодан.

— У вас денег нет, — заявляет мне старшина.

— Как же так, — возмущаюсь я. — В Свердловске мне сказали, что деньги и вещи следуют за мной.

— Обратитесь к следователю, — говорит мне старшина.

В тот же день я рассказываю следователю об этом, показываю ему квитанции «за подписью и приложением печати». Следователь тут же звонит по телефону начальнику тюрьмы, говорит ему о квитанциях и затем заявляет мне:

— У вас в камере сегодня будет фининспектор и вы ему передайте квитанции.

Действительно, в тот же день явился в камеру лей-

тенант, забрал у меня квитанции и сказал, что они требуют из Свердловска деньги и вещи, которые до сих пор (год!) не получены в Москве. Прошло две недели, и вновь пришел в камеру фининспектор и заявляет:

— Из Свердловской тюрьмы сообщили, что никаких вещей и денег ваших там нет.

— Что ж в таком случае означают эти квитанции за подписью и приложением печати на бланках Свердловской тюрьмы? — спрашиваю я.

Офицер пожимает плечами и говорит:

— Сегодня же снесемся по телефону с Свердловском. Мы все выясним и будьте спокойны, у нас ничего не может пропасть.

Прошел месяц-другой, и фининспектор подает мне квитанцию на 316 рублей:

— Деньги ваши получены, четыре рубля удержаны за почтовый перевод. А вещей ваших нигде найти не могут. Но мы еще напишем в Свердловск — найдутся.

Я в ближайшие дни выписал для своих сокамерников папиросы, спички, хлеб (колбасы уже не было в ларьке). Так было раза четыре. На пятый вторник выписал опять на 27 рублей хлеба, папирос и коробку консервов. Пришел старшина и возвращает мне выписку:

— Ваш заказ не выполнен — у вас нет денег.

— Как нет денег? — протестую я. — Я меня имеется еще 240 рублей. Вот квитанции на 316 рублей, а выписал я до сих пор на 76, есть еще 240.

А старшина категорически заявляет:

— У вас в кассе больше нет денег.

На допросе жалуюсь следователю, что вещи мои из Свердловска до сих пор не получены, что и при аресте у меня все забрали — деньги, часы и кое-какие вещи, их и следа нет. Следователь говорит:

— Вот вам бумага, пишите заявление об этом министру Государственной безопасности. У нас ничего пропасть не может.

И положил мне на столик лист бумаги и ручку.

— А что с моими деньгами? — спрашиваю. — У меня квитанция тюрьмы на 316 рублей, израсходовал 76, а теперь говорят, что денег нет больше у меня. Где же мои 240 рублей?

Следователь, словно отмахиваясь, заявляет:

— Это меня не касается, я не фининспектор.

Прошу старшину вызвать фининспектора, — не приходит. День за днем спрашиваю то одного «начальника», то другого. Как-то старшина вел меня вечером в баню в подвальный этаж и сам спросил относительно моих денег, он проронил:

— Эх ты, старик уж, седой, а не понимаешь. Забыл, что было в 1922 году!

Я подумал, может быть девальвация? Спрашиваю своего соседа, советского гражданина:

— Когда была девальвация в Советском Союзе?

Он отвечает:

— Не то в 1922, не то в 1923 году.

На допросе говорю следователю:

— Я понимаю, что стало с моими деньгами — они обесценены, была девальвация.

Он сердито огрызнулся:

— Никакой девальвации не было, была «денежная реформа».

Я подумал: называй как хочешь, но мой рубль превратился в десять копеек. Пропали мои трудовые деньги. В ближайший вторник я выписал товару на все 24 рубля и закрыл свой «текущий счет» в тюремном банке... А чемодан с вещами, как вещи и деньги, взятые при аресте «на хранение», так и пропали... Не помог и сам министр МГБ, к которому я обратился по совету следователя, торжественно объявившего: «У нас ничего пропасть не может»...

Когда меня ввели на один из допросов, следователь

сидел за столом в своем кресле и читал газету. Не поднимая глаз, он спрашивает:

— Блюма знаете?

— **Какого Блюма?**

— Ну, француза, министра Леона Блюма, тоже ваш брат, еврей, сионист.

Молчу.

— Не знаете этой сволочи? Вон что выделявает (следует матерная брань в адрес Л. Блюма). В Америку едет, против Советского Союза. Ведь мы его спасли из фашистского лагеря, а он против нас идет. Ну, ничего. Попадется и он в наши руки. Еще может с вами в одной камере сидеть будет, — мечтает следователь.

Однажды вечером вызвали меня на допрос. Следователь, потрясая в воздухе газетой, говорит:

— Вот Громыко наш как говорил о еврейском государстве. Только Советский Союз может дать вам государство в Палестине, а не Англия и Америка.

— Разрешите мне прочесть эту речь, — прошу я следователя.

— Вы не поймете ее, — отвечает он и спрашивает:

— А что это такое бинациональное (еле прочел это слово) государство?

Объясняю ему понятие «бионациональное». И еще раз прошу дать мне прочесть речь Громыко.

— Еще рано вам читать газеты, — и не дал мне газету.

Проходит час-другой, следователь читает какую-то книжку. А я сижу за своим столиком с мыслями о еврейском государстве, догадываясь, что вопрос о нем обсуждался в Организации Объединенных Наций. Жажду прочесть газету, но следователь и этим пытается меня. И вдруг слышу:

— А вы знаете, кто такой Лойола?

— Игнаций Лойола? — спрашиваю я.

— Да, да, — словно обрадовался следователь.

— Игнаций Лойола, — говорю я, — основатель иезуитского ордена, жил в 16-м веке.

— Здорово вы все знаете, К-н. Прямо академик. А вы гниете в тюрьме! — восклицает следователь.

— Не по моей вине гнию в тюрьме, — сказал я.

— По моей, что ли? Признайтесь — и вам простят все, будете работать на пользу Родине, нам такие люди нужны в Советском Союзе, здесь таких ценят.

И меня увели в камеру.

Целых три недели на допрос не вызывают. Перевели меня в другую камеру, на том же 4-м этаже. Могильный склеп, и та же грязь, духота, клопы. После трехнедельного перерыва я вновь в кабинете следователя.

— Вас можно поздравить, К-н!

Смотрю на него удивленно: что за «поздравление» лежащему в гноище Иову?! Он продолжает:

— Отменена в Советском Союзе смертная казнь. Вот опубликован закон об отмене. Ваше счастье. Вы бы определенно получили эту высшую меру наказания за ваши преступления, — декларирует следователь.

Я удивленно посмотрел на него и, словно про себя, сказал:

— Как легко ни в чем неповинный человек может быть казнен...

В ответ окрик:

— Молчи, сволочь, подлец!

И через пять-десять минут следователь начал допрос — опять о сионизме, еврейской общине, Брит-Трум-пельдор...



В январе 1948 г. меня выводят из камеры, ведут во двор, сажают в «черный ворон» и привозят на Лубянку. Там запирают меня в крошечную кабинку, в которой я сижу около часа. Затем поднимают лифтом на 6-й

этаж. Я у прокурора. За письменным столом сидит подполковник, по другую сторону мой следователь майор-чекист, а напротив за столиком — машинистка. Меня усаживают на стул, несколько поодаль. Сначала общие вопросы — фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, подданство. На эти вопросы отвечает почему-то мой следователь. Машинистка печатает. Слышу ответ на вопрос о подданстве: советское. Я обращаюсь к прокурору: неправильно записано, я не советский гражданин, я лицо без подданства. Прокурор велит машинистке исправить. Прокурор мне особенно допроса не учиняет — с полчаса он спрашивает о сионизме, какой «пост» я занимал в «сионистской партии», путая, все смешивая в одно, — еврейская община, национальный совет, сионистская организация. Мой следователь пытается перебить меня и давать вместо меня ответы, но прокурор останавливает его, не позволяет ему вмешиваться. Весь допрос продолжался менее часа, и меня в «черном вороне» увезли «домой» в Лефортовскую тюрьму. Обычно прокурор допрашивает перед окончанием дела, и я надеялся, что пришел конец моему тюремному заключению, надеялся и верил. Хотя, кто смеет верить в лучшее, находясь в советском заточении? *Было еще далеко до конца...*

После допроса у прокурора следователь ругал меня за то, что я «прибедняюсь», кричал:

— Почему в американской прессе писали о вашем аресте? Подумаешь, Америка! А что нам Америка! Пусть пишут, что угодно. Хлеба нам Америка не даст ведь.

И через некоторое время опять:

— Кто такой Бен-Гурион? Почему он за вас хлопочет?

— Не знаю, — говорю я, — ничего мне неизвестно.

— Не прибедняйтесь! — кричит следователь. — Вот тут про вас все написано и все фотоснимки ваши, — указывая на какую-то толстую папку.

Допросы продолжают, но менее часто. Я счастлив,

— я измучен допросами, я без сил от этой пытки. Я второй год уже в этой ужасной Лефортовской тюрьме. Заключенных в камере часто меняют, подбрасывают ко мне людей «своих». Но я узнаю «наседок», скорее, пожалуй, по нюху, и избегаю разговоров с ними, всяких разговоров.

Меня вдруг ведут к врачу. Зачем? Женщина, тюремный врач, свидетельствует меня, осматривает, измеряет давление крови, и все записывает, отмечает. Задала какой-то вопрос, я ответил.

— Вы имеете отношение к медицине? — спрашивает она.

— Да, я врач.

Она закрыла свою тетрадь и сказала стоявшему у дверей конвоиру, чтобы он проводил меня в камеру. Говорят, перед судом свидетельствуют всех заключенных. Так полагается. Но на сей раз и это не оправдалось. До суда было еще далеко...

ГЛАВА 8.

В апреле (1948 г.) меня выводят из камеры по команде: «Собирайся с вещами», сажают в «черный ворон» и везут по Москве, — «хлеб везут»... Привезли на Лубянку. Тринадцать месяцев провел я в Лефортовской тюрьме и снова на Лубянке. Нас трое в камере, а вскоре, вечером, привели еще одного, четвертого. Знакомимся, жильцы камеры называют свои фамилии. Не слышал фамилий, да и неинтересно. Кто их знает, кто они, почему они здесь. «Отбой!» Ложимся. Двое сразу уснули. Третий шепотом обращается ко мне:

— Вы, товарищ, еврей?

— Да.

— Я тоже еврей, — говорит он.

Он инженер, москвич, родом из Подоли, член компартии. Ему 47 лет. Он получил еврейское воспитание, учился в хедере и еще помнит многое из приобретенных в хедере знаний. Говорит хорошо на идиш. В тюремной ночной тишине он шепчет мне:

— В понедельник Пейсах (פסח). Давайте, товарищ, первые два дня не есть хлеба. Согласны?

— Согласен, — сказал я.

Он был очень доволен, благодарил меня. И мы отметили наш большой праздник. Я стал раздумывать о нем, советском инженере, члене ВКП(б), по его словам, активном коммунисте, который хочет сам и побуждает других отметить «контрреволюционный» еврейский Песах, праздник национальной свободы. И где? В советской тюрьме, у большевиков в заточении, на самой преслову-

той Лубянке... Инженер все время со мною, возле меня. Говорит на еврейские темы, часто на идиш, рассказывает мне о еврейском театре, о Михоэльсе, которого он лично хорошо знал. Стал петь песенки, которые слышал со сцены в еврейском театре. Вот он поет с ужимками, подплясывая, песенку «шадхена»: "שדכן איז דאך גוט צו זיין".

Когда инженера днем увели на допрос, один из сокамерников, русский, сказал про него:

— Целый месяц сидим вместе, ни разу не обмолвился, что еврей, а тут запел по-еврейски.

Через два дня Песах наступил. Я и инженер хлеба не ели, крошки в рот не взяли. Ели капустные щи и пили чай. Инженера через месяц куда-то вызвали, и больше он в нашу камеру не вернулся. Вызвали якобы на допрос, а через полчаса явился надзиратель и забрал его пожитки. Быть может, нас евреев, разлучили...

Допросы стали значительно реже. «Литература» МГБ обо мне огромная. Уже три толстые папки с бумагами. Как-то на очередном допросе следователь перелистывает новую папку, что-то в ней находит и говорит: «Ага, лекцию антикоммунистическую читал.»

— Нет, не читал, неправда, — заявляю я.

— А вот твоя лекция—«Меж двух миров». Два мира—это капиталистический и социалистический. Еще не признается! Вот черным по белому в вашей харбинской газете написано.

— Такой лекции я не читал, — заявляю я.

Следователь подносит мне к лицу папку, на одной из страниц которой наклеена большая вырезка из какой-то русской газеты («Заря» или «Харбинское время»), где крупными буквами напечатано: «Меж двух миров». Лекция д-ра А. И. К-на о пьесе «Дибук» С. Ан-ского». И дальше приводится подробно содержание лекции — отчет о ней на целую страницу. Я, увидев это, рассмеялся и говорю:

— Это лекция литературная, о писателе Ан-ском и

его пьесе, которая называется «Дибук» или «Меж двух миров». Тут нет ни коммунизма, ни капитализма. И вообще никакой политики. Это драматическая легенда, рисующая интимный мир души...

Следователь перебивает меня и, рассвирепев кричит: — Довольно болтать, втирать мне очки.

Я спокойно говорю ему:

— Прочтите отчет о лекции, и вы увидите, о чем там речь.

Но следователь не унимается:

— Не болтай, сволочь! Тоже нашелся учитель...

И записал в протокол: лекция о «двух мирах» — восхваление капиталистического мира. Я протокол подписать отказался. На следующем допросе следователь дает мне вновь подписать протокол о лекции. Читаю, проверяю — в нем уже ничего не было о мирах капиталистическом и социалистическом.

Следователь приглашает меня к своему столу и дает читать «альбом» газетных вырезок о моих выступлениях (лекциях, докладах, речах). Тут лекции и доклады на самые разнообразные темы — о сионизме, Палестине, положении евреев, сионистских конгрессах, о Бялике, Шолом-Алейхеме, Менделе, Шоломе Аше, о Герцле, Нордау, о Станиславском, Льве Толстом, академике Павлове и много, много других. Все это собрано в один «альбом» — папку. Следователь велит мне подписаться под каждой газетной вырезкой. Больше ста раз я подписался, — прочитаю бегло газетную рецензию или отчет и подписываюсь. Машинально один раз подписался не просто К-н, а д-р К-н. Следователь зло говорит:

— Только фамилию, вы здесь не доктор!

— Но докторского звания, надеюсь, вы меня лишить не можете, — заметил я.

★★

Май 1948 г. Я на Лубянке в камере на двоих. Мой сосед какой-то всегда грустный, унылый, мрачный по виду,

неразговорчивый, всегда в свои думы погруженный. Сидим вдвоем, ни словом не обмолвимся круглые сутки.

Суббота — не то 22, не то 23 мая. В 9.30 вечера — «отбой», и я лег на свою койку. Не прошло и получаса, как в волчок раздается окрик: «На букву К.» Я называю свою фамилию. «Приготовься!» — раздается команда. Куда же это меня? — удивляюсь я. В субботу ночью? На Лубянке по субботним вечерам не «работают», допросов не бывает. И воскресенье — день отдыха. Куда же это меня ведут — тревожно думаю я. «Выходи, К-н!» Конвоир ведет меня по коридору, устланному ковровой дорожкой, поднимает лифтом на 7-й этаж и вводит в какую-то комнату, в которой стоят четыре письменных стола. Темновато. За одним из столов, у окна, сидит некто. На столе лампа с зеленым колпаком. Солдат докладывает:

— Привел заключенного.

— Хорошо, ступай!

Вглядываюсь: Это подполковник, один из моих следователей.

— К-н, — он говорит мне, — я позвал вас не на допрос (следователь был в ту ночь дежурным). Я хочу вас обрадовать и в то же время огорчить. Провозглашено Еврейское государство в Палестине.

Я не мог больше слушать. Голова закружилась у меня. Сердце сильно забилося, стало громко стучать. Я заплакал, я рыдал. От радости, от счастья. Следователь смотрел на меня в упор. Он едва ли понимал меня. И продолжает:

— Евреи теперь воюют с арабами. Арабы напали на Еврейское государство. Вот прочитайте статью в «Правде».

И следователь протягивает мне газету. Я беру газету, пытаюсь прочесть, но не могу читать. Руки дрожат, газета прыгает. Слезы затуманили взор. Одно перед моими глазами, перед моим духовным взором, одна мысль:

«Еврейское Государство». Я плачу тихими слезами, слезами счастья. Следователь звонит в телефон, чтобы пришли за заключенным. Нет! Я не заключенный! Я свободный сын свободного народа! Меня привели в камеру. Я сажусь на койку. Я вновь плачу тихими счастливыми слезами. «Ложись!» — раздается команда дежурного надзирателя. Я ложусь на койку. Я не могу уснуть. Огненными буквами предо мною — «Еврейское Государство» — מְדִינַת יִשְׂרָאֵל

Рой воспоминаний. Вновь переживаю весь исторический путь наш, путь сионизма, нашу борьбу. Конгрессы, съезды, годы, люди — все мелькает предо мною, оживает перед моими глазами. Независимое Еврейское Государство на родной земле в Сионе. Сбылась мечта поколений, мечта всего народа. Живая, народная, творческая воля... Я всю ночь не спал, не мог уснуть. И как светло в камере! Какой яркий свет. То свет нашей Родины, нашей Альтнойланд.

Через несколько дней следователь с упреком задает вопрос:

— А почему Президент Еврейского Государства Вейцман в Америке? Почему он не в Палестине? На Америку ориентация?

Я молчу. А следователь настаивает:

— Почему Вейцман в Америке?

Я говорю:

— Что может сказать вам человек, которого три года держат в тюрьме и даже газет не дают читать?

Следователь с угрозой крикнул:

— С Америкой снюхиваетесь. Если бы не Советский Союз, не видать вам еврейского государства, а вы все с Америкой да Англией.

Мой следователь стал совсем редко вызывать меня на допрос. Но зато допрашивают «спецы» по еврейским и сионистским делам. Вот вызывали в какой-то небольшой кабинет, в котором, когда я вошел, сидело пять

офицеров. Вслед за мной вошел молодой человек, лет 30-ти, в гражданском платье, при галстуке, хорошо одет, по типу еврей. Указывая на меня пальцем, молодой человек спрашивает:

— Это К-н?

Он располагается на диване, стоящем возле моего столика, и, полулежа, лицом ко мне, спрашивает:

— Вы сионист? Почему же вы такие неверные сведения сообщили о сионизме?

— Я не знаю, о чем вы говорите, — сказал я.

— Хотя бы о сионистском конгрессе, — заявляет «спец».

— А что именно неверного сказал я?

— Да все неправда, — авторитетно заявляет он. — О контрреволюционных резолюциях конгресса вы умолчали.

— Таких не было и не могло быть, — заявил я не менее авторитетно.

— Вы, значит, их не знаете? Так что ли? — спрашивает «спец».

— Я хорошо знаю все о сионистских конгрессах, но таких резолюций не было. Это чья-то досужая фантазия. Покажите мне эти резолюции, — требую я.

— Бесполезно, — заявляет спец. — А что такое «Вицо»? — спрашивает он.

Я даю объяснение.

— Нет, вы не знаете «Вицо» или умышленно лжете, — заявляет «спец».

И начал нести разную чушь о «ретроградности» Вицо, ее «контрреволюционности». И торжествующе глядя на своих еще более невежественных слушателей — офицеров МГБ, закончил:

— Вот что ваш Вицо! Поняли? — обратился он ко мне.

— Я только понял, что у вас совершенно ложная информация, и все ваши сведения о «Вицо», как и о си-

онистских конгрессах, очень далеки от истины, — сказал я.

«Спец», видимо, обидился. И, боясь быть развенчанным, удалился.

Еще один «спец» по еврейским делам, майор, вел со мною беседу в продолжение трех часов о сионизме, национальном вопросе, Биробиджане. О многом спрашивал, но со мною не спорил, не возражал мне и, что всего удивительнее, не ругал меня и ни разу не «матерился». Он был первым среди моих сатрапов, кто ни разу не употребил «матерной» брани. Закончив беседу со мною, он вызвал по телефону конвоира и сказал мне:

— Очень жаль, что вы заблуждались и пошли по неправильному пути...

Это был, пожалуй, единственный относительно интеллигентный человек среди всех малограмотных, некультурных следователей, начальников и «спецов», с которыми мне пришлось иметь дело в продолжение трех лет моего тюремного заключения.

Последние месяцы я опять сидел один в камере. На допрос вызывали не часто — составляли, видимо, обвинительный акт «большого дела» против К-на, «сионистского лидера», «еврейского вождя», как они меня именовали. Водили меня каждый день на прогулку, большей частью вечером, на 20 минут. Поднимали лифтом на крышу 8-го этажа. Большая площадка над всем этажом, конечно, со сторожевыми постами: в трех углах вооруженные постовые. С этой крыши виден почти весь центр Москвы. Двадцать минут я гуляю по крыше, смотрю с высоты птичьего полета на «первопрестольную». Еще водят меня раз в 10—12 дней в баню, вниз, в подвальный этаж. И, идя внизу в подвале, я всегда думаю: а вдруг выстрелят мне в затылок, в голову, как практиковалось в этом учреждении дзержинских и ежовых. Я невольно оглядываюсь назад и неизменно слышу грозный крик: «Иди, иди! Чего не видал!».

В августе меня вызвали к следователю, как оказалось, на прощальный допрос. Следователь-подполковник кладет на мой столик три толстых папки и еще одну, тоненькую.

— Вот, К-н, познакомьтесь со всем этим, прочитайте, если хотите, все. Весь день в вашем распоряжении.

Это значит — дело мое закончено, и я подписываю так называемую 206-ю статью об окончании следствия. Последний протокол и заключение говорит о предъявленном мне обвинении. Часа три просматривал, читал протоколы, показания разных лиц, знакомых и незнакомых, приятелей, товарищей и врагов — фашистов, антисемитов. Я закончил чтение, — надоело, больше читать не хочу, и не стоит. Следователь-подполковник обращается ко мне:

— Подпишите. Если вы с каким-либо пунктом обвинения не согласны, можете подписать с оговоркой, что не признаете себя виновным в этом.

Его перебивает сидящий визави майор-чекист:

— Он подпишет все, без всяких оговорок. Какой тут разговор может быть!

Следователь-подполковник как бы несколько смущен, молчит. Я пришел ему на выручку:

— Я не подпишусь ни под одним пунктом обвинения, кроме того, что я был членом сионистской организации. Хотя я это не считаю виной, а, наоборот, долгом и честью, — сказал я.

— Еще как подпишешь, собака! — крикнул майор.

— Нет! — сказал я. — Все обвинения, предъявленные мне, ложные, и я под ними не подпишусь.

Майор злобно вышел из кабинета. Подполковник подошел ко мне и тихо сказал:

— Подпишитесь с оговоркой, что виновным в каком-то пункте вы себя не признаете.

Я написал, что виновным в предъявляемых мне обвинениях я себя не признаю. Но какое это имеет значение!

Люди, бывшие уже не раз в таком положении, утверждали, что подписал ты или не подписал — это не имеет ровно никакого значения. «Будьте уверены, — твердили они, — все протоколы окажутся с вашими подписями, от ваших оговорок нигде и следа не останется». «Работа у них «чистая»... И абсолютно неважно, признали вы себя виновным или не признали,—каждый заключенный «виновен» и «признал», по протоколам, себя «виновным»...

Поистине, работа у них «чистая». Приблизительно через неделю меня вызвали из камеры, ввели в какую-то маленькую кабинку, и вслед за мной туда вошел офицер с папкой в одной руке и чернильницей в другой. Он прочитал мне постановление, что «дело» мое передается на рассмотрение ОСО («особое совещание» при Министерстве государственной безопасности). Я подписался, что мне об этом объявлено. Значит, судом меня судить не будут, а решит мою участь «тройка» (как говорили, это коллегия из трех лиц —по одному от МГБ, от прокуратуры и от партии). Многие заключенные бывало радовались этому, считая, что ОСО дает меньший срок. Это же не суд, — это заочное решение, без обвиняемого, без представителя защиты, без свидетелей. ОСО передавали чуть ли не 80—85 процентов дел, те, главным образом, где нет доказательств вины подсудимого, где фактически вообще нет обвинения, скольких арестовывали ни за что, ни про что — выполняя «норму», изолируя тысячи, десятки тысяч людей. За что судить их? В каком положении будет суд, судьи? Вот для этого и существует «ОСО» — подлая, гнусная тройка. Конечно, и суд, происходивший в стенах МГБ, был «свой» и действовал по указке, как было заранее решено. Но само подобие суда, судопроизводства, хотя бы видимое наличие подсудимого, так называемой «защиты» несколько стесняло и мешало открытому и явному насилию. Так мое «дело», не имевшее фактически никаких доказательств моей вины

и приписываемых мне обвинений, было передано, конечно, этому гнусному «ОСО».

2 сентября 1948 г. в 2 часа ночи меня подняли с постели. Конвоир привел меня в какой-то кабинет. Небольшая комната, посередине письменный стол, позади него диван. За столом сидит некто в военной форме, а на диване некто в гражданском платье. В комнате полумрак — горит только настольная лампа.

— К-н, Абр, Иос? — провозглашает военный.

— Да.

— Садитесь.

Я сел на стул возле стола. Минут пять офицер роется в бумагах, затем дает команду: «Встать! Слушайте приговор». Сам встал. Встал и «некто в сером», сидевший на диване. Офицер читает приговор. Чтение продолжается минуты две. Статей кодекса нет, а есть: принадлежность к сионистской партии и связанная с этим контрреволюционная и шпионская деятельность. Приговаривается к двадцати пяти (25) годам исправительно-трудового лагеря (ИТЛ). «Подпишитесь», — приказывает офицер. Подписался. У меня удивительное спокойствие. Высокая мера наказания. Цифра 25 не произвела никакого впечатления на меня. Редкое спокойствие, холодное равнодушие. Полное безразличие. Офицер дает приказ солдату увести меня. Я только запомнил, что полковник назвал дату вынесения приговора ОСО: 21 августа 1948 года. А арестовали меня, правильное похитили, 21 августа 1945 года. Ровно три года! Поистине, суд скорый и праведный...

Меня привели в какую-то кабинку с тремя каменными скамьями вдоль стен. Вижу человека в военном обмундировании, без погон.

— Какой срок вам дали, товарищ? — спрашивает.

— Двадцать пять, — отвечаю.

— Двадцать пять? А мне 15. Я майор Красной Армии, начальник штаба полка, всю Отечественную войну был

на фронте, ранен, имею медаль, орден, знаки отличия, — и вот получил 15 лет за шпионаж! Сволочи! — И покрыл крепким матом (видимо, судьей ОСО).

И он рассказал про себя. Он из Минска. Получил пару месяцев тому назад письмо от своего приятеля, подполковника, командира полка, тот сообщил свой московский адрес и просил навестить его. Майор поехал по делам в Москву и собрался к приятелю. Лишь только подошел к квартире, где живет подполковник, его, майора, остановили, задержали, усадили в автомобиль и увезли в МГБ, арестовали, заперли в тюрьму (Лубянку), и вот результат — 15 лет лагеря. Оказывается, что его приятель, командир полка, подполковник, якобы шпион, не то английский, не то американский. И он, майор, с ним заодно. Раз шел к нему — тоже шпион, получай 15 лет. Ничем, ни одним фактом обвинение, конечно, не подтверждено.

— Надо было, — говорит майор, — кому-то убрать его и меня...

На протяжении всего рассказа майор безбожно кроет «матом» все и вся.

В кабинку вошли офицер и надзиратель. Приказывают всем сдать тюремное белье и одежду. Я сдаю бушлат и разорванную майку. На мне остается верхняя рубашка и полудранные брюки — все мое имущество, вся моя одежда. Офицер дает мне маленький конвертик, в котором находится 37 копеек.

— Это ваши деньги! — говорит он.

На моем тюремном текущем счете оказалось еще 37 копеек. Сдав казенное имущество, я остался без белья. Не беда — подумал я — надену рубашку, куртку и брюки на голое тело. Еще не то, поди, предстоит... Но майор, осужденный на 15 лет, обращается к офицеру, показывая на меня:

— Как же он, так раздетым и поедет? Дайте ему белье.

Офицер смутился и говорит:

— Пойду посмотрю, авось раздобуду для него белье. Минут через десять офицер принес мне майку и трусы с большим изъяном. Я подумал: «С умершего или с выведенного в расход?» Ну, кое-как одетый, с капиталом в 37 копеек, — я готов! Нас троих осужденных повели в самый низ, в подвальный этаж и заперли в разные камеры. Я попал в общество четырех заключенных. У одного был срок 25 лет, у двух — по 20, у четвертого 12. Когда четвертый назвал свой срок — кто-то ему сказал пренебрежительно: «Детский срок»... В лагере срок до 10—12 лет назывался «детским сроком»... В камере в подвальном этаже я просидел четыре дня. А затем на «черном вороне» нас человек 15 повезли на вокзал. Еще четыре дня в «столыпинском» арестантском вагоне. Выгрузили, втолкнули в «воронок» — и я у знакомых ворот Свердловской 1-й внутренней и пересыльной тюрьмы.



После передачи документов на число «голов» и проверки именного списка нас впустили в ворота и разместили по камерам. Я в узкой камере среди 48 заключенных. Два яруса нар, забитых людьми. Все места заняты сверх нормы. Располагаемся на грязном полу. Кое-кто залезает под нижние нары. Много молодежи — латыши, литовцы. Это партизаны, боровшиеся за свободную, самостоятельную Латвию и Литву на стороне немцев. Почти у каждого из них срок — 25 лет. На нарах сверху отдельный уголок занимают уголовники — воры, взломщики, насильники, убийцы, также исключительно молодежь. На полу нас человек двадцать и два немецких генерала в военной гитлеровской форме, конечно, без погон. Один — бывший комендант крепости Кенигсберг. Он сдал крепость русским, и Гитлер приговорил его заочно к смертной казни. Его жену, дочь и мужа дочери аресто-

вали гитлеровцы, заточили в тюрьму за «грехи отца». А советские арестовали самого генерала. Второй, более старый, руководил блокадой Ленинграда. Боевой генерал, ученый, авторитет в военных вопросах. Он больной, слабый, измученный. Лежит на полу, стонет, с трудом поднимается, до «параш» едва дойти может. Оба генерала по-русски ни слова не понимают. У обоих срок заключения по 25 лет концлагеря. И это, как им объявили, высшая мера наказания взамен смертной казни, отмененной в Советском Союзе в 1947 г. (вскоре, правда, она вновь была восстановлена «по требованию трудящихся»...)

Состояние здоровья старого генерала становится все хуже, он стонет от болей, сильно слабеет. В один из ближайших дней он записывается на амбулаторный прием к врачу. Я тоже записался — у меня часто головные боли, головокружение. Повели нас человек 20, из разных камер на второй этаж к врачу. Молодая женщина-врач не понимает по-немецки, и я перевожу ей жалобы генерала на сильные боли, на то, что валяется на полу без всякой помощи. Просит положить его в больницу. Я перевожу все сказанное и добавляю от себя о его болезни и предполагаемом диагнозе, сообщаю, что и я врач. Она с уважением взглянула на меня и спросила, какой срок у генерала. Перевожу: 25 лет.

— Не могу положить в больницу, — сказала смущенно врач.

Я в ужас пришел от этих слов, не выдержал и спросил:

— Разве стационарное лечение определяется не состоянием больного, не медицинскими показаниями, а сроком заключения?

Женщина-врач опустила глаза, достала из более чем скромной аптечки, находящейся на столе, какие-то по-

рошки для больного генерала и для меня, и мы вышли из кабинета в коридор, где нас ждал наш вечный спутник — конвоир. Генералу я не мог сказать правды — жестокой, кошмарной правды. Я сказал ему, что сегодня нет места в больнице. Мне было стыдно за Россию, за русских врачей...

Вспоминаю, как-то мой следователь-подполковник ругал меня за то, что я жил за границей, «якшался» с буржуазией, «пожимал руки буржуям» и «лечил белогвардейскую и фашистскую сволочь». «Да, — сказал я, — я был врачом в больнице и лечил больных людей, среди которых были и эмигранты, и советские, и китайцы. Лечил я и людей без гражданства, и жену советского консула лечил...» Следователь ни слова не сказал после этого моего заявления.



Латыши и литовцы в нашей камере — почти все члены национальных партий. Они ярые «антисоветчики» и открыто говорят об этом даже в советской тюрьме. Русских они ненавидят за угнетение своей Родины и своего народа. Было у нас в камере побоище с тяжелыми ранениями. Уголовники, считая себя хозяевами положения, — они ведь «настоящие советские люди», а все другие «политические», т. е. «фашисты», — стали отбирать у заключенных вещи. Несколько латышей потребовали от главаря уголовников вернуть все забранное. Главарь воровской шайки вместо ответа схватил латыша за горло и стал душить его. Началась драка, свалка. Жестоко дрались. Попадало всем, особенно валяющимся на полу. Вожак уголовников, молодой парень лет 24—25, дрался с особым остервенением. Видя, что он почти удушил одного латыша, какой-то литовец с верхних нар ударил вора — главаря во всю мочь сапогом по голове.

Вор упал, обливаясь кровью. Тем временем стучали в дверь, звали на помощь. Наконец, надзиратель открыл дверь и увидел ужасную картину побоища, кровопролития. Поднял шум, почти все начальство ввалилось в камеру. Раненого главаря уголовников унесли на носилках в медпункт, и офицер начал «следствие». Главное, его интересовало, кто ударил по голове главаря уголовников. Но никто «ничего не видел»... После этого побоища воров-уголовников вывели из нашей камеры, перевели в другую, изолировали от «фашистов».

Нас распределили по камерам согласно сроком заключения. Я попал к «долгосрочникам» — 20—25 лет ИТЛ. В новой камере человек 18—20. Среди нас католический ксендз и два испанца. Один из испанцев хирург, боровшийся в 1936 г. в рядах испанских коммунистов, затем нашедший приют в СССР. 11 лет работал в Москве врачом в хирургической клинике. В коммунизме сильно разочаровался уже в самом начале своего пребывания в Советском Союзе. Его родители бежали из Испании в Мексику. И он решил покинуть СССР, — тяжело ему было здесь, хотя он работал врачом в клинике, успел жениться (м. пр. на еврейке) и имел двухлетнюю дочь. Стал хлопотать через аргентинское посольство о выезде. Он испанский гражданин, советского подданства не принимал, но его арестовали за посещение аргентинского посольства. Его обвинили, конечно, в шпионаже и дали 25 лет исправительно-трудового лагеря. О втором испанце в свое время немало «шумели». Он был спрятан в сундуке чинов аргентинского посольства и выезжал из СССР как «дипломатический багаж», не подлежащий осмотру. Но каким-то образом это стало известно МГБ, потребовали открыть сундук... Он, кажется, художник. Тоже из испанских коммунистов, бежавших в СССР. Держится одиноко, не разговаривает ни с кем. У него срок — 25 лет ИТЛ.

Две недели пробыл я в пересыльной Свердловской тюрьме. Тяжело, мрачно, душно, беспросветно. Только и радости, когда в дверное окошечко бросали номер газеты «Уральский рабочий». Охотников читать было всего двое-трое, остальных либо не интересовала газета, либо они не умели читать по-русски. Были и русские, не умевшие читать — «тяжко грамотные». Я читал каждый день эту свердловскую газету. И как мне вдруг стало радостно, как тепло стало на душе, когда я прочел, что в Москву прибыла «Посланник государства Израиль Голда Меирсон». Я без конца перечитывал эту хроникерскую заметку, набранную петитом. Предо мною были крупные горящие буквы «Посланник государства Израиль». Это был единственный светлый миг в моей свердловской тюремной жизни. Газету я спрятал и то и дело читал и перечитывал эту заметку, а в глазах стояли слезы.

21 сентября, ночью, нас вывели из камеры, собрали всех в одну комнату без окон, без скамей. До 5 ч. утра мы проваливались на полу этой комнаты, битком набитой людьми. Как-то шепчет на ухо: «Следите за своими вещами, тут много «блатных»*. Мне особенно беспокоиться нечего, что красть у меня — на бушлате я лежу, все остальное на мне, в кармане 37 копеек... Утром нас погрузили в вагон с решетками, натолкали в каждое купе по 20—25 человек. Но на сей раз дверь не заперли, она открыта. В коридоре вагона стоят вооруженные конвоиры. А один расхаживает по коридору взад и вперед. Выйти из купе в уборную можно свободно, но дверь уборной нельзя закрывать. При открытых дверях... Нас привезли в Карабас. Это большой пересыльный пункт в Карлаге (карагандинские лагеря), в Казахстане. 3—4 дня в вагоне были мучительными — окна

* «Блатными» называют воров, жуликов и другой уголовный элемент.

закрыты наглухо, люди набиты, как сельди в бочке. На дорогу выдали в Свердловске хлеба на 4 дня, сахара по чайной ложке на день и сушеной рыбы. Все это лежало у меня в мешочке, и все это украли у меня из мешочка в первую же ночь — все вынули, оставив мне кусочек хлеба. Спасибо... Выгрузили нас в Карабасе, выстроили по четыре в ряд, женщины позади, и повели нас под усиленной охраной по городу в лагерь. Вели разными закоулками, бездорожьем, по грязи. Вот и лагерь. Ворота. Вахта. Снова счет — и ворота широко открываются перед нами: милости просим...

ГЛАВА 9.

Первое время в тюрьме мне часто казалось, что меня не могут засудить. За что? — спрашивал я себя, перебирая в памяти события моей жизни. Иногда я верил в свое освобождение. Но, познакомившись с советской действительностью, с методами и приемами советского следствия, с ложью и обманом, которыми опутывают человека в СССР, я перестал верить в возможность справедливости в Советском Союзе. И подходя к своей камере, стоя у ворот тюремных лагерей, я часто мысленным взором читал слова, написанные над Дантовым адом:

«Оставьте всякую надежду,
Вы, вошедшие сюда»...

Я переступил порог карабасского лагеря-тюрьмы. Это пересыльный пропускной пункт, в котором обычно находятся до 6000 заключенных, ожидающих отправки в другие лагеря «на постоянное жительство». Месяцами, подчас полгода, год можно прождать здесь предназначенного тебе места. Ведь заключенных в лагерях СССР насчитывалось свыше 25 миллионов.

Вошли мы во двор карабасского лагеря. Обычно этап приводят на так называемый «вокзал» (небольшой барак со скамьями вдоль стен). Вокзал забит, в бараках места нет, и мы располагаемся во дворе. Благо, погода хорошая, теплый осенний день, солнечный. Двор наполовину забит заключенными. Он разбит на зоны: 1-я, 2-я, 3-я и т. д. В особой зоне больница, баня. Между одной зоной и другой вахта. Все огорожено колючей проволокой. В отдельном бараке на 800—900 человек помещены

воры. У них солидная организация и строгая дисциплина. В другом бараке такое же приблизительно количество людей, там помещаются «суки» — бывшие воры, ушедшие из воровской организации, так сказать, изменившие ворами, «ссучившиеся», отсюда — «суки». Эти два «лагеря» сильно враждуют между собой. Редкий день проходит без драки, побоища и даже убийства. И «воры» и «суки» — все это советская молодежь, многие всегда гордо заявляют: я комсомолец! В Карабасском лагере довольно часты убийства: то одного из комендантов лагеря подкололи насмерть, то в выгребной яме нашли труп его помощника или кого-либо из заключенных — воры «суку» убили, то «суки» вора подкололи. Расследование ничего не обнаруживает. Барак, в котором живут эти преступные элементы, воры, убийцы, носит почему-то название «Шанхай»... Название это получило право гражданства почти во всех советских лагерях, в особенности в многочисленных лагерях Карлага. Сажу на земле во дворе тюремного лагеря. Разносят по поварешке какой-то сероватой каши и хлеб. Это обед. Неподалеку от меня сидят двое. Слышу их разговор с раздатчиком обеда: «Не надо, не будем есть». Раздатчик удивлен. Что это, голодовка? Он не дал им каши и пошел дальше. Я насторожился. Двое заключенных беседуют между собой, до меня доносится слово «Иом-Кипур». И я понимаю, почему они отказались от обеда: они евреи, и сегодня Иом-Кипур. Они постятся. Я отдал свою порцию каши соседу и тоже постился. Про себя произносил на память молитвы. Евреев этих я больше не видел. Они сказали мне, что они из Одессы. К вечеру в числе нескольких десятков человек меня привели на «вокзал» и заперли там. На скамейке у стены провел всю ночь в полудремоте. Спать не очень-то давали. Среди ночи вошел комендант лагеря. Он фонарем осветил лежащих на полу, стал присматриваться к ним, нашел каких-то двух молодых парней и закричал: «Опять попались, опять во-

руете!» И стал их зверски избивать, топтать сапогами, лупить палкой. Минут десять бил их. Парни лежали почти бездыханные. Тогда спокойно заявил:

— Я еще приду к вам. Это вам только зарядка...

Утром в каком-то мрачном дощатом сарае врачебный осмотр. Амбулаторный врач лагеря уже второй год здесь. Тоже заключенный, русский, советский гражданин. (Через месяц его сняли с работы, отправили куда-то. Оказалось, что он вовсе не врач, а часовой мастер. Работая санитаром в лагерях, набил руку и стал выдавать себя за врача. Сумел даже стать главным врачом лагеря). Этот «доктор» задал и мне пару вопросов, и, узнав, что я врач, поместил меня в больничное отделение для «слабосильных», т. е. для тех, кто нуждается в больничном питании. Обычный барак, вагонки в два яруса, но питание там несколько лучше — «больничное». Дают и немного молока, и кусочек масла, и на десять граммов больше сахара, хлеб светло-серый. Врачей, обычно, помещают в этот барак — своего рода привилегия. В двух отделениях барака было человек 150 заключенных и среди них двадцать врачей, ожидавших отправки в лагерь. Некоторые сидели на пересылке уже более полугода. Через пару дней я был назначен врачом «слабосильного» барака и одновременно двух женских отделений, помещавшихся по соседству. В женских бараках было до 1500 узниц. Однажды в часы утреннего приема больных в мой кабинет вошла женщина в белом халате и сказала, что ее назначили сестрой в мою амбулаторию. По окончании приема я уже знал, что она тоже еврейка, окончила школу сестер милосердия в Иерусалиме. Знает иврит — языку ее обучил, кажется, И. Бренер. Мы с ней часто беседовали на волнующую, любимую тему — о Палестине. Она недолго проработала у меня в амбулатории — едва успела закончить срок заключения, как получила новые десять лет ИТЛ — и ее отправили в лагерь в Спасск. Через четыре года мы с ней встретились там, в лагере.

Из женской зоны она мне писала письма на иврите. В 1953 году моя знакомая закончила свой второй срок и вышла на волю. Когда в Москву приезжала польская делегация во главе с Гомулкой, она встретилась со своей **старой приятельницей** (членом делегации), которая помогла ей выбраться в Польшу. Будучи партийным работником в Варшаве, получила разрешение в 1962 г. приехать в качестве туристки к своей сестре в Израиль и навестила меня в моей квартире в Рамат-Гане. Мы оба были взволнованы — после жуткой неволи в лагере в Казахстане встреча в **свободной еврейской стране...** Много, много вспомнилось из тех ужасных, мрачных лет...

В один из грустных вечеров в заточении я лежал на нарах, томясь мыслями. Меня кто-то окликает — срочно вызывают в больницу. Пошел, полагая, что на консультацию. Прихожу в больницу, захожу в «процедурную». Сумерки. Света нет. **Главный врач (еврей, мой добрый знакомый)** указывает мне на женщину, стоящую у окна, и говорит: «Это к вам, коллега!» Подхожу, она бросается ко мне, обнимает меня:

— Абрам Иос.! Не узнаете?

— Нет, не узнаю, да и в этой темноте разве узнаешь, — говорю я, волнуясь. — Кто вы?

Она называет себя — Бр-н.

— Софья Гр.? — восклицаю я.

— Нет, Анна Гр.

Мы оба в слезах. Огня не зажгли — она боялась встречи со мной, боялась, что кто-либо увидит ее в моем обществе. Аня и Соня, сестра ее, мои земляки по Перми. Мы знаем друг друга с детских лет. После революции 1917 г. вся их семья бежала от большевиков, и в Харбине, где я жил с 1912 г., мы встретились вновь. Родители их умерли в Харбине. А они (одна врач, другая медсестра) работали в жел.дор. больнице. Старший брат имел аптеку. В 1936 г. старший брат и две сестры (врач Соня и медсестра Аня) уехали в СССР («Родина

зовет»...). Брат исчез в Советском Союзе, исчез бесследно (погиб ли в тюрьме или выведен в расход — неизвестно). Время было страшное «ежовщина»... Сестер по приезду арестовали и дали каждой по десять лет заключения за... «сотрудничество с империалистическими державами», за «содействие мировой буржуазии», за то, что жили за границей. Сестры отбыли срок наказания, отсидели десять лет в тюрьме и лагерях и теперь в ссылке работают одна — врачом-педиатром, другая — медсестрой в Долинке (Казахстан), в лагерной больнице, уже как «вольные», как бы по найму. Аня приехала в пересыльный пункт Карабасс за больными заключенными, нуждающимися в хирургическом лечении. Сестры еще в Долинке услышали, что я нахожусь в Карабассе, и Аня привезла для меня большой мешок вещей, который она передала мне, не переставая плакать. В мешке оказались бушлат, ватные брюки, шапка-ушанка, одеяло, перчатки, белый хлеб, торт, печенье, сахар. В течение еще 3—4 недели Соня и Аня посылали мне почти еженедельно белье, одежду и даже деньги. И все это делали осторожно, прячась, боясь, чтобы не узнали об их связи со мной, заключенным. И страх их не без основания: немало людей пострадали за такого рода связь, получая новый срок заключения... Я однажды послал сестрам Соне и Ане Бр. письмо через приятеля-врача, ехавшего в Долинку, благодарил их за трогательное внимание ко мне. Но, как врач мне передал, они так испугались моей записочки, так волновались, бедные, ни за что пострадавшие, потерявшие десять лет жизни в советских концлагерях. Я не стал больше писать им, но не переставал интересоваться их судьбой. Я узнал, что они переехали (или, скорее, их перебросили) в Темир-Тау (тоже Казахстан) и там работали по специальности. Через освободившегося из лагеря, за отбытием десятилетнего срока, товарища-сиониста (из Ковно), высланного на жительство в г. Темир-Тау, я передал сестрам Бр. устный привет. Но ни от них, ни

от него я ответа не получил. Все они боялись... И я их понимал... В конце 1956 г., очутившись на «воле» в Караганде (а это в 45 км от Темир-Тау), я стал разыскивать сестер Бр., хотел встретиться с ними, повидать их, поблагодарить, но... безуспешно. Спрашивал о них врачей из Темир-Тау, с которыми встречался на общих собраниях, медицинских докладах. Был несколько раз в Темир-Тау, специально ездил туда однажды, разыскивая сестер. И ничего не добился. Решил, что они покинули этот край, переселились в другую область. В 1960 г. на концерте псвца еврейских песен во «Дворце культуры горняков», в Караганде я познакомился с неким инженером и его женой (евреи). Они сказали, что много слышали обо мне, в особенности от их друзей — сестер С. и А. Бр. Я очень обрадовался и воскликнул:

— Где они? Я разыскиваю их, хочу их видеть.

— Увы, их нет в живых. Анна Гр. умерла в 1951 г., а Софья Гр. в 1952 г., обе от рака.

Эта чета, инженер с женой, были большими друзьями Ани и Сони. Они их похоронили в Темир-Тау. Мне стало больно, очень больно. Защемило сердце, просочилась слеза...

Тяжело мне в Карабассе. Я почти все время один. Среди 20-ти коллег в бараке интересных людей нет. Более молодые, врачи советской формации, — люди малокультурные (некоторые из них оказались и не врачами). В лагерях Карлага нужда в медработниках, и начальник санчасти стал вызывать к себе врачей, заполнять анкету — где и когда окончил мединститут, какая специальность, где работал и т. п. Одни называли себя хирургами, другие дерматологами, терапевтами. Путались в данных, просто-напросто лгали — ведь документов ни у кого на руках нет. Двое признались, что они не врачи, а студенты-медики, один 4-го, а другой 2-го курса. Тогда нач. санчасти решил устроить нечто вроде экзамена для тех, кто вызывал сомнение в достоверности своего лечеб-

ного звания. Из 20-ти вызванных на «экзамен» явилось всего шесть. Из них лишь одному хирургу, испанцу, и еще одному терапевту почему-то задали несколько медицинских вопросов. Остальные четверо, и я в том числе, вообще не были опрошены. Нач. санчасти извинился за «беспокойство» (он фельдшер, по национальности татарин, бывший заключенный, два года назад закончивший свой десятилетний срок). Не явившиеся на экзамен врачи были исключены из списка, т. к. они не были врачами, в чем им пришлось признаться. В один из вечеров в К-се, когда лежал я после ужина на нарах со своими грустными мыслями, какой-то незнакомый мне человек сообщил: сегодня прибыл этап из Петропавловска, и у одного из заключенных имеется для меня письмо от семьи. Письмо от семьи! Боже мой! Свыше трех лет я ничего не знаю о ней. Где же этот человек с письмом? В каком он бараке? Как его фамилия? — Неизвестно. Я побежал по зонам искать прибывший сегодня этап из Петропавловска. Обошел бараки первой зоны — там нет этого этапа. Нет его и во второй зоне. Хожу из барака в барак: да, петропавловский этап у него, 400 человек с этапом прибыло, но все спят. Я умоляю его помочь мне найти этого человека. Идем по проходу. Староста и я вызываем: «У кого есть письмо для врача К-на?» Ни ответа, ни привета... Барак длинный, с трехэтажными нарами с обеих сторон. Подходим к концу прохода, староста вновь громко вопит:

— Ребята, у кого из вас есть письмо для врача К.?

И один паренек отзывается:

— Вот у этого есть такое письмо.

И стал тормошить своего соседа.

Разбудили парня, и пока ему, сонному, втемяшили, чего от него хотят, я едва подавлял нетерпение. Наконец-то понял, какое он имеет отношение к врачу К. Почесал затылок, почухался и раздобыл из носка записку. Я хватаю ее и бегу скорей к лампочке, читаю. Это за-

писка от двух Мишей, Миши К-го и Миши К-ва, из Петропавловской тюрьмы. Они шлют мне привет и пишут, что семья моя в полном здравии, недавно они видели мою жену, сыновей. Спасибо, спасибо! Живой привет после трех лет неведения, трех лет абсолютной безывестности. Это было в конце 1948 года.

В нашем бараке появилось несколько евреев. Профессор философии Г-ов разменял вторую «десятилетку»... Первый срок отбывал на Колыме. Там отморозил правую ногу, ее ампутировали. Ходит на костылях. Очень образованный человек, с большой эрудицией. Но какой-то злой либо озлобленный, мизантроп, никому не верит. Мы с ним иногда подолгу беседовали на философские темы, больше о Спинозе, спинозизме. Еврей он плохой, «еврейство его не интересует. Из тех, которых и «могила не исправит». О большевизме, коммунизме спокойно говорить не может. Это для него, как красная материя для быка... Второй, польский еврей, варшавянин, Г-н. Уже находясь в России, был арестован, как и многие другие польские граждане, получил 10 лет ИТЛ. Сидит уже шесть лет. Нервный, издерганный человек, хороший, горячий еврей-националист, любит говорить на идиш. Он устроился так, что стал моим соседом по нарам, поменялся с кем-то местами. Беседы с ним несколько скрашивали мою жизнь в ужасных условиях, приносили на момент облегчение. Мы то и дело говорим вполголоса о еврействе и евреях в Польше, Палестине, о еврейском государстве. Г-н уговаривает меня написать своим родным в Советском Союзе.

— Авось будет у вас с ними переписка, и это облегчит вашу жизнь в лагере, будете получать посылки,— говорит Г.

Я не раз думал об этом, но боялся писать братьям и сестре, боялся подвергать их риску ареста. Боялся, что они из-за меня, страшного контрреволюционера, сиониста пострадают, ведь в Советском Союзе, как и в стра-

не Гитлера, отвечали не только за «грехи отцов», братьев, но и далеких предков...

★★

Жизнь в Карабассе становится все тяжелее, мрачнее. А тут еще бураны. Боже! Что это за ужас! Страшная метель, пурга по три дня подряд. Три дня и три ночи. Ни зги не видать. Поистине, «мчатся бесы рой за роем, вихри снежные крутя».*

На улицу выйти нельзя, унесет тебя, занесет снегом. Чтобы попасть в уборную во дворе, позади барака, идут держась за длинный толстый канат, прочно прикрепленный одним концом к бараку, а другим к сараю, где уборные. Были случаи, когда не было каната, люди уходили в уборную, сбивались с дороги, их уносило куда-то снежным вихрем, заносило снегом, и они погибали. «То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя»... По всему бараку несется вой метели. Страшно. Разве уснешь в такую ночь! А стихнет метель-пурга, выбраться из барака нельзя: все вокруг в снежных сугробах. Высокие снежные стены кругом. Нет дороги. Ни проехать, ни пройти. «Занесло тебя снегом, Россия»... Один из заключенных пытался покончить с собой. Куском стекла перерезал себе горло. В бараке волнение, об этом случае говорят, судят. Вдруг громкий крик откуда-то с верхних нар:

— Что вы тут судите-рядите! А разве вам эта жизнь не надоела! Нет у вас силы воли покончить с этой мерзкой, подлой жизнью! Он нашел в себе силу. Чего же тут судить!

Женщин выделяют в особую зону, подальше от мужчин. Но это мало помогает. Ночью перелезают через проволочные заграждения. Обнаруживают мужчин в женских бараках, женщин в мужских. Скандалы, шум, драки, аресты. В трех километрах от основной зоны в К-се имеется еще одна зона, допзона (дополнительная). Вот

* Вольная цитация стихотворения А. Пушкина «Бесы».

эту зону освободили, очистили от заключенных мужчин и превратили в женскую. Переселили туда около 2000 женщин. А детей, которые были с матерями, отправили в детдома. Я был назначен врачом жензоны. Меня поместили в полуподвальном этаже в довольно примитивной амбулатории. Там я вел прием, и там за перегородкой стояла моя койка. Женщин, нуждающихся в стационарном лечении, я отправлял в вольную больницу Карабасса, в которой одну палату приспособили специально для них — решетка на окнах и двери, и у дверей часовой с винтовкой, чтобы не вздумали бежать. Мужчин в жензону не впускают, кроме начальствующих лиц. Когда привозят воду или уголь, то возчики допускаются только до ворот, а от ворот внутрь зоны подводы вводят постовые, далее — женщины.

И единственный мужчина во всей зоне. Из 2000 женщин половина так называемых «политических», осужденных по 58-й статье кодекса. Остальные — уголовные, преимущественно воровки, но есть убийцы и любые другие преступники. Преступность в Советском Союзе высокая. «58-я статья» — политические — находятся в отдельных бараках. Три барака уголовных преступниц, почему-то называемые «Шанхай», а два больших барака и один маленький отведены под политических. Редкую ночь меня не будят, не зовут оказать помощь. Если в барак «политических», то это заболевание — высокая температура, сердечный приступ, боли печеночные, почечные и т. п. А если прибегают за врачом из «Шанхая», это значит побоище, драка, ранение. И медсестра берет с собой перевязочный материал, йод, кровоостанавливающее и т. п. В одну из первых же ночей в женской зоне меня разбудили — скорей в «Шанхай», там тяжелые ранения. Пошли мы с сестрой, вооружившись необходимыми медикаментами и перевязочным материалом. Староста барака — средних лет женщина, отъявленная воровка, отбывает наказание уже в третий раз и за воровство,

и за ограбление, и за отравление. Она встречает нас приветливо и рассказывает, что произошло в ее «Шанхае». Была драка, свалка. Кого-то сапогом по голове хвятили, кого-то ножом пырнули, кого-то табуретом стукнули... В бараке шум, гвалт. Старостиха стучит кулаком по столу, призывает к порядку и обращается к своей «пастве»:

— Девушки, чтоб не сметь ничего брать (красть) у доктора, чтоб у него ничего не пропало! Смотрите у меня! Если у доктора что-либо пропадет, я с вами рассчитаюсь как следует, всю жизнь помнить будете! Поняли?

И обращаясь ко мне, старостиха говорит:

— Ты доктор, не беспокойся, ничего у тебя не пропадет.

Речь старосты произвела на меня большое впечатление. Целый час мы с сестрой провозились с пострадавшими, оказывая им помощь. Одну раненую мы отправили через вахту в больницу. Ни у меня, ни у сестры ничего не пропало, ни — ни... Вот это дисциплина! — подумал я.

В бараках «58-й статьи» — молодые женщины из Литвы — ярые националистки, и за это отбывающие срок наказания. Немало и украинок. Большинство из них осуждены якобы за помощь и содействие «бендеровцам» (украинским антисоветским отрядам Бендеры). Вступили бендеровские отряды в деревню в Западной Украине, забрали лошадей или продукты — и отвечает вся деревня. Санитаркой в моем отделении больницы в Кенгире была молодая женщина, украинка, 30 лет, муж побывал на фронте, в Советской Армии. Зашли бендеровцы к ней в хату, потребовали покормить их. Она, конечно, накормила. И получила 25 лет за содействие Бендерее...

В бараках «58-й статьи» (так сказать, «политические») много монашек, религиозных женщин, проводящих многие часы в молитвах. То и дело в этих бараках богослужения.

По субботам вечером молятся все («вечерня»). Я был несколько раз на «вечерне». Весь барак молился. Пели дружно, стройно. И настроение у всех праздничное, бодрое. А как они отмечали «Рождество»! Это был поистине праздник. В тюрьме, во мраке заточения, среди ужаса и кошмара советских лагерей — праздник, праздничное настроение, веселые, радостные лица. Поздравляют друг друга «с светлым праздником», целуются. Быть может, именно в этом мраке лагерной жизни, в цепях неволи, им так светил их праздник...

«Чем ночь темней —
тем ярче звезды.
Чем глубже скорбь —
тем ближе Бог...»

В определенный час (4 часа дня) ежедневно многие женщины, девушки из разных барачков выходят к обрыву у конца зоны, стоят на пригорке, машут руками, кричат в бумажные рупоры, а кое-кто даже в кусок ржавой самоварной трубы, — это условный час встречи с мужьями, «женихами», кавалерами, «друзьями» (в лагере все это называется одним словом «мой»...) из мужской зоны. Те оттуда подают знаки, что-то говорят, кричат. Смотрел я со стороны раза два на эти сцены и ничего не понимал, а они прекрасно сговаривались. В ходу была голова, губы, руки, пальцы. Видимо, обе стороны хорошо знали шифр. В баню водили раз в 8—10 дней. Женщин вели вокруг мужской зоны, чтобы не было встреч с мужчинами, но у проволочного ограждения стояли сотни мужчин, жаждущие встреч со своими женами, подругами и просто алчущие видеть женщин. Надзиратели, конвоиры отгоняют мужчин. Но... есть нечто более сильное, чем конвоиры и их винтовки... «Гони природу в дверь»...

Я ищу евреек среди 2000 заключенных женщин. Знаю, что многие скрывают свое еврейство: «легче жить» нееврею. Подозреваю некоторых, даже не сомневаюсь

в том, что они еврейки, но мне не удалось получить их признание. На прием в амбулаторию пришла молоденькая девушка, 18-ти лет. Нездоровится ей, простудилась. Даю ей лекарство. Вижу она оглядывается назад, по сторонам, и затем робко спрашивает: «Доктор, вы еврей?»

— Да, я еврей.

— Я тоже еврейка.

— Откуда вы? — спрашиваю я ее.

— Я из Грузии, мы горские евреи.

Ее родители из коренных жителей Кавказа, горских евреев Дагестанской области. Девушка говорит хорошо по-русски, но помнит еще свой татский язык. Ее родители занимаются, как и многие евреи из их селения, шелководством. Они отправляют многие религиозные обряды, празднуют еврейские праздники, строго соблюдают Песах. В их селении до 300 евреев, есть у них «раввин». Но эта девушка очень мало знает о еврействе и евреях. Не понимает еврейского языка.

— За что тебя арестовали? — спрашиваю я. — По какой статье?

Девушка смутилась, покраснела. Она живет в бараке уголовных, в «Шанхае»... Я сказал ей:

— Ты еврейка, из хорошей еврейской семьи, разве тебе подобает заниматься воровством и находиться в компании уголовных преступниц. Ты должна стараться уйти оттуда, исправиться, и эти семь лет жизни в лагере жить, как честный человек.

Девушка заплакала и тихо, со слезами сказала:

— Мне стыдно. Я жалею, что сказала вам, что я еврейка, вам больно за меня. Но я уже «пропащая»...

И со слезами на глазах убежала.

Через несколько дней, ночью, «очередной» вызов в женский «Шанхай» — там вновь скандал, побоище, ранения. Я явился туда с медсестрой, мы оказали помощь. Я спросил старостицу о девушке, горской еврейке, назвав ее по фамилии (о том, что она еврейка никто в бараке

не знал). Мне сказали, что она в больнице, ее отправили туда позавчера днем, истекавшую кровью, — ее соседка по нарам нанесла ей тяжелое ранение. И я этой единственной еврейской девушки в лагере больше не видел.

Женщин стали гнать на работы, на тяжелый труд — на каменный карьер, на кирпичный завод. Шагать туда и назад пешком не менее двух часов. Много уклоняющихся от работы под разными предложениями. Большинство, конечно, ищет помощи и защиты у врача — больна, дай ей «освобождение»... Трудная миссия. Что поделаешь? Без вины арестована. Несколько лет уже томится в заключении, полуголодная. Да еще физически тяжело работает?! Одно время платили какие-то гроши, но в 1948 г. Сталин «создал» для 58-й статьи так называемые «спецлагеря» и отменил и ту грошовую «зарплату». Какая может быть плата за труд арестанта!...

До чего только не додумывались несчастные жертвы насилия и неволи! Было много случаев так называемой на лагерном языке «мастырки». Люди сами себе делали ранения, инфекции. Самым распространенным (и верным...) средством было вдеть нитку в иголку, вывозить, выпачкать нитку в грязи, в самой настоящей, болотной, в грязном песке, в грязной луже, и затем иголку с ниткой пропустить под кожей руки или ноги. И в результате — гнойное воспаление, абсцесс, флегмона. Врач стоит перед фактом: гнойное воспаление клетчатки. Сильная краснота, припухлость, высокая температура, изнуряющая боль. Необходимо срочно отправить в больницу. Но начальство допытывается у врача, не «мастырка» ли это. Сколько возни у врача с такими случаями, без конца допросы из-за этих «мастырок».

В полуподвальном этаже, где помещалась амбулатория и где я жил по соседству с «мамками» (матери с детьми), была комната завхоза (заключенной, заведующей хозяйством). Как-то поздно вечером меня вызывают

к завхозу. Она лежит на своей койке, у нее по всем признакам флегмона, стонет от боли. Что случилось? Она признается, что сделала себе «мастырку». Говорю:

— А вы зачем это сделали? Вас на тяжелые работы не гонят, вы завхоз.

— Так, надоело все. Начальство пристаёт ко мне. Полежу в больнице, отдохну пару недель... Иначе, хоть руки на себя наложи...

Я пошел на вахту, потребовал немедленно увести больную в больницу. Целых три дня меня беспокоили разные начальники, «оперуполномоченные», следователи насчет этого случая.

— Не знаю, быть может, загрязнение, быть может, повреждение кожи, быть может, травма, — не знаю, не могу сказать. Я констатировал факт глубокого нагноения, и с высокой температурой, требующий срочной помощи, и отправил ее в больницу, — отвечал я всем начальникам, которых оттого волновал вопрос, не «мастырка» ли это, чтобы завести «дело» против этой несчастной женщины и дать ей новый «срок».

ГЛАВА 10.

В конце января 1949 г. меня назначили в этап. Еще за недели две до отправки в Карабасс приезжали двое: женщина-врач из Санитарного отдела (Сано) и нач. спецчасти — отбирать людей для лагеря в Кенгире (Спецлаг). Они «комиссовали» (т. е. определяли трудоспособность. В лагере это называется «комиссовать» заключенных) в женской зоне, и я был в этой комиссии. Когда нач. спецчасти и врач Сано услышали мою фамилию, они сказали мне:

— Вот вы-то нам и нужны, вы поедете к нам.

Я спросил:

— А куда это к вам?

— На рудник. Там в Джезказгане будете врачом.

Кенгир — 500 км к северу от Караганды. Я на новом месте, в новом большом советском лагере, состоящем из двух мужских зон и одной женской, свыше 6000 заключенных. Это «спецлаг», тюремный лагерь, только для 58-й статьи — политических, осужденных за «контрреволюцию», за «измену Родине», за «шпионаж», за «диверсию», за «террор», за «содействие мировой буржуазии», «сотрудничество с империалистическими державами» (т. е. жил за границей), «СОЭ» («социально-опасный элемент»), за антисоветский анекдот, за знакомство с иностранцами, за «преклонение перед Западом». Лагерь со строгим тюремным режимом. Больница помещалась в 1-й мужской зоне, а вторая зона — женская, была расположена между двумя мужскими — 1-й и 3-й. Это причиняло начальству большое беспокойство. И с той и с

другой мужской стороны интенсивный контакт с женской зоной, большое тайное движение, в особенности ночью. А днем постоянные встречи у проволочного ограждения. Начальство додумалось: первую зону превратить в женскую и отгородить ее от мужских зон высокой каменной стеной. Но и это не спасло положения. Перелезали через высокую стену мужчины к женщинам, женщины к мужчинам. Разными способами, по веревочной лестнице. Иногда ловили, подчас даже стреляли.

Больница была в женской зоне. Всех мужчин удалили из нее, даже врачей. Оставили только меня и врача-бактериолога, который вообще через полгода освободился, закончив свой десятилетний срок заключения. Я стал начальником терапевтического отделения, врачом детдома и детской больницы, которые находились в женской зоне. В детдоме 120 детей, все до двухлетнего возраста, большинство грудных младенцев. Забота об их развитии, их лечение выпали на мою долю. Терапевтическое отделение на 150 кроватей и детдом. Работа огромная, непосильная. Вечно скандалящие «мамки» врываются в детдом, требуют показать им ребенка, понынчатся с ним. А допускали мамок только в часы кормления, не кормящих матерей только раз в неделю — на свидание. Единственная радость матери, придя с тяжелой работы, взглянуть на свое дитя. Даже если родилось оно в лагере от случайного мужчины, даже если мать говорит про своего ребенка: он у меня «нагульный», т. е. не от законного мужа. Было немало женщин, дети которых «законные», от законных мужей. Матерей арестовали, когда они были беременны. Арестовали мужа, а затем жену, хотя она была на 6—7-м месяце беременности. Был у нас случай такой. Я, как врач, принимал этап, осмотрел, нет ли больных в партии прибывших. Среди женщин этапа лежит одна на полу в бараке, стонет. Спрашиваю, что болит. А у нее начались родовые схватки. Я ее немедленно отправил в роддом. Она была арестована на 7-м месяце

беременности и три месяца валялась по тюрьмам, на пересылке, в этапах. И привезли ее в Кенгир... рожать. Детдом отнимал у меня почти весь день, ночью поднимали без конца, несмотря на то, что в 11—12 часов ночи я делал обязательный обход. И терапевтическое отделение поглощало много времени. В моем отделении работали две женщины-врачи, и все равно приходилось на мою долю 70—80 больных из 140—150. Я тяжело работал. К тому же ежедневно часа на два меня увозили в Соцгород (новостроящийся город, впоследствии — Новый Дзержинск) и в Кенгир — к «вольным». Я лечил все начальство и их семьи. Меня возили ежедневно то в автомобиле, то на лошади к инженерам, директору банка, к главбуху и помимо них ко всем лагерным начальникам (спецчасти, КВЧ, санчасти, снабжения, оперуполномоченных и др.). Я работал не менее 16—17 часов в сутки. Приходили ко мне из поселка в лагерь, в больницу, с больными детьми. Я лечил всех, должен был лечить. В моем отделении было три комнаты. В одной жил я, а две — для тяжелобольных. Их пришлось отдавать «вольным», которые не хотели лечиться в своих больницах в поселке и добивались разрешения начальника лагеря лечиться в лагерьной больнице. И я лечил их. Сам начальник лагеря положил свою мать в отдельную комнату лагерьной больницы, дал отдельную сестру (заключенную, конечно), и «пожалуйста, доктор, лечите ее». Принял, лечил, целых три недели пролежала в моем отделении. У оперуполномоченного заболел ребенок — в лагерьную больницу. То туберкулезного «опера» поместили, то жену начальника КВЧ. И, конечно, в отдельную комнату каждого. Пользуются лагерьной больницей, как своей, и лечи их, и лекарства давай, уход, дежурную сестру отдельную. Что ж, они «хозяева», а заключенные их слуги, подневольные...

Пришел ко мне инженер-еврей, командированный (из Ленинграда) в Дзержинск на два года для работы

на заводе. У него заболел ребенок, и он добился разрешения начальника лагеря на мой визит к нему. Приехал за мной на автомобиле. Мчимся к нему — шофер, он, я и неразлучный конвоир с винтовкой. Посмотрел ребенка, сделал назначение. Он и жена его не отпускают меня, приглашают отобедать с ними. Но я ведь не один, там ждет меня, караулит у двери мой непременный спутник, конвоир, который расписался в «получении» и отвечает своей головой за «арестанта».

— Ничего, — говорит инженер, — его там на кухне угостят... охотно подождет.

Жил инженер в бедной хате из двух комнат, почти без всякой обстановки, как на бивуаке, чемоданы на полу в беспорядке. Но обедом хозяйка угостила хорошим. Через три дня инженер с женой и ребенком пришли ко мне в лагерь. Я принял их в своей комнате. Ребенок был уже здоров. Инженер положил на стол томик избранных рассказов Шолом-Алейхема на русском языке. За обедом у инженера в доме мы осторожно, робко перекинулись несколькими словами о евреях, преследованиях за сионизм, национализм, и даже о государстве Израиль. Я видел, чувствовал, что эти люди понимали меня. Они были со мною...

Заболел главный оперуполномоченный лагеря (МГБ). Меня повезли к нему в Соцгород. Я подозреваю у него брюшной тиф. Рекомендую направить его в больницу, быть под моим наблюдением.

— Едем к вам, — говорит он мне, — дайте мне комнату в вашем отделении.

Объясняю ему, что есть распоряжение не помещать «вольных» в лагерную больницу. Главный оперуполномоченный закричал:

— А кто может мне запретить? Я еду вместе с вами сейчас же в зону, больницу.

Я ему на это сказал:

— Ваше дело, я решать этот вопрос не могу.

— А я могу! — кричит капитан.

И мы вместе поехали (со мною, конечно, мой конвоир) в зону. Пришли в больницу, в мое терапевтическое отделение, — давай отдельную палату! Начальника санчасти нет, нет начальника больницы, нет начальника лагеря. Что делать? Есть приказ вольных в лагерную больницу не помещать, новый, свежий приказ. Поймал дежурного офицера, спрашиваю, как быть.

— А что с больным? — спрашивает.

Говорю:

— Подозреваю брюшной тиф.

Дежурный офицер испугался, заволновался, стал звонить по телефону начальнику лагеря. Пытались уговорить «опера» поехать в инфекционное отделение больницы Соцгорода, но «опер» просто выгнал офицера:

— Я останусь здесь, в этой больнице. Давайте, доктор, комнату!

Шесть недель лежал у меня в отделении, в отдельной комнате этот главный «опер», капитан, еврей Ш-р. Ежедневно мы проводили с ним часок-другой за беседой с глазу на глаз на еврейские темы, о евреях, еврействе. Он учился в хедере и многое помнит из того, что учил, не забыл те годы. Он с любовью говорит об этом прошлом. Жена, тоже еврейка, навещает его каждый день, и с глазу на глаз сказала мне, что муж ее «такой еврей», «настоящий еврей». Как-то днем лежал я в своей комнате на койке, вошла медсестра:

— Доктор, капитан зовет вас.

Я вошел в палату капитана, главного «опера», там его жена. Смотрю, стол возле койки больного накрыт белой скатертью, на нем вино, закуски, печенье. Жена капитана закрыла дверь на крючок, просит меня сесть и говорит:

— Сегодня наш праздник Шовуос, давайте праздновать.

Налила вино в стаканы и провозглашает:

— Гут иом-тов!

Мы все выпили вино, закусили. Так неожиданно-негадан-

но я отметил наш большой праздник **ליל חמשה עשר**. Этот «опер» пользовался симпатиями узников, несмотря на свой неприятный пост (следователя МГБ), который ненавистен заключенным и наводит страх на всех. При прежнем главном «опере» (тоже еврей) лагерное арестное помещение было всегда переполнено заключенными. Он сажал ни за что, ни про что. А при этом (Ш-р) арестное помещение почти пустовало. Среди лагерной администрации встречалось немало евреев. Говорят, евреев-офицеров умышленно из армии откомандировывали в МГБ и МВД на эти должности, которые сами по себе вызывают ненависть заключенных. Я почти во всех лагерях встречал евреев-офицеров на должностях начальников лагпункта, снабжения, санчасти, спецчасти и даже оперуполномоченных МГБ.

Два земляка-харбинца, евреи, прибыли этапом в наш лагерь в Кенгире. Оба в одной зоне со мной. Одного положили в хирургическое отделение больницы, другого гонят на работы. А работы тяжелые, с 6—7 часов утра до 6 часов вечера, и шагать далеко пешком на работу и с работы. Я устроил этого земляка к себе в терапевтическое отделение санитаром. Ухаживает за больными, подает им обед, ужин, моет пол, чистит. Навещаю часто второго в больнице, приношу ему сахар, печенье. Обоих я знаю по Харбину, по организации молодежи, оба сионисты. Но пострадали они не за сионизм. Их в этом не обвиняют, по другим статьям осудили. Недаром говорится в СССР: «Были бы люди, а статья найдется».

Среди женщин — 9-10 евреек. Одна сидит за то, что она сестра еврейского поэта и деятеля еврейского антифашистского комитета. После его ареста арестовали и ее. Получила семь лет заключения. Брата (И.Ф.)* постигла в 1952 г. участь многих еврейских писателей (Дав. Бергельсона, Переца Маркиша, Льва Квитко и др.).

Лежит в больнице у меня девушка лет 22—23-х.

* Ицик Фефер.

Всегда грустная, меланхоличная, ни с кем не разговаривает, всегда в одиночестве и в палате, и во дворике на прогулке. Как-то вечером, во время моего обхода больных, она заговорила со мной.

— Я еще долго буду лежать в больнице?

— А почему вы спрашиваете?

— Я бы хотела поговорить с вами, доктор.

— Пожалуйста, после обеда поговорим.

Девушка, еврейка с Украины, поведала мне о своей судьбе. Она арестована за изучение еврейского языка, еврейской истории. На Украине в ряде городов были такие кружки молодежи. Тайно собирались на занятия. Кто-то, видимо, выдал их. Арестовали много еврейской молодежи за это «преступление», за эту КРД (контрреволюционную деятельность), — 58-я статья, пункт 10. Дали каждому по десять лет исправительно-трудового лагеря. И вот она эта девушка, после полугодового сидения в тюрьме, следствия, отбывает свой «маленький», так называемый «детский» срок, в Кенгире. Девушка культурная, чуткая, очень нервная. Она почти ежедневно подходит ко мне, когда я, в перерыве между часами утомительной работы, гуляю по двору «больничного городка». Очень интересуется еврейской жизнью, еврейскими проблемами, сионизмом. Это ей близко, дорого. Ее очень тяготил лагерь, томила неволя. Она рассказывала мне о настроении некоторой части еврейской молодежи на Украине, какой переворот в мыслях произошел после создания Еврейского государства, какое сильное желание было у части еврейской молодежи, и у нее в том числе, быть в рядах строителей нашего государства. Но судьба решила иначе... — сказала она со слезами на глазах. Она часто плакала. Она очень страдала, тяжело переживала свои оковы. Я долгое время держал ее на стационарном лечении, в больнице. Потом, по выписке дал ей третью категорию труда, и она оставалась в зоне, убирала территорию, чистила дорожки, поливала траву

— была на легком физтруде. Я не разрешил посылать ее на тяжелые работы — это окончательно сломило бы ее психически. Судьба этой еврейской девушки мне неизвестна. В 1950 г. меня перевели в другой лагерь, больше я с ней не встречался. Были еще две-три еврейки в лагере, занимавшие большие посты в Советском Союзе, члены РКП: одна, юрист, стояла во главе крупного треста. Другая сидела за то, что была сестрой видного коммуниста, генерала (Г. Я.), которого расстреляли в 1936-37 г., в «славную» пору «ежовщины». Тогда же ликвидировали и мужа этой женщины, инженера. Некоторые еврейские женщины отбывали уже второй срок. Кончили первый, десятилетний, — и тут же, через месяц «свободы» всылке, их вновь арестовывают и дают новые десять лет ИТЛ по тому же самому «делу», по той же самой статье. Частое, почти обычное явление...

Есть в лагере библиотека-читальня. Очень скудная. Но берешь, что есть. В одном экземпляре — «Правда» и «Известия». Газеты попадают к нам на 7-8-й день. Читаю, главным образом последнюю страницу, где помещены телеграммы из-за границы. Хотя и они — в освещении, выгодном для СССР и в ущерб правде. Но другой прессы нет ведь... Номера газет с портретом великодержавного Сталина в читальню не поступают. Чтоб, упаси Боже, не было надругания над «Его Величеством». В лагере, между прочим, сидел один заключенный по самому страшному обвинению — 58-я статья кодекса, пункт 8-й, террор... Человек разорвал, исполосовал портрет Сталина, висевший на стене. Это и был «террор», покушение на Сталина, — 15 лет заключения...

Звучит, как анекдот. А, между тем, это самая настоящая правда. Правда советской жизни.

В лагере беспокойно. Лагерная тюрьма, в 4-й тюремной зоне, полна заключенными. Нередко то одного, то другого судят за «преступления», совершенные уже в ла-

гере. Нский поэт С., отбывающий свое наказание в Кенгире, в каком-то «литературном кружке» вечером, лежа на нарах, читал свои стихи. И вот судебный процесс. Стихи якобы антисоветские. «Литературный кружок» — нелегальная, контрреволюционная организация. Судили 6 человек заключенных, которые будто бы собирались в амбулатории. И врач амбулатории, и медсестра якобы члены кружка. Посадили всех в тюрьму. Держали месяц до суда, судили, вынесли приговор — поэту 25 лет, другим по 15. Новые сроки вдобавок к «старым грехам». Лишь одной девушке удалось выйти из суда «чистой», без срока. Как говорили, она и предала всех.

Дали мне читать стихи поэта С. Прочитал их. Ничего «контрреволюционного» я не увидел в этих лирических стихотворениях. Поет о воле, о свободе. Но разве можно воспевать «свободу», «волю», когда ты в окопах!? Разве можно петь о «просторах» родины, когда твое место на крошечном клочке тюремной земли, за колючей проволокой!... Раб, невольник — и думы о воле?!... Писать в лагере, в заточении, о свободе?! Да это ведь бунт! Двадцать пять лет ИТЛ за это тебе!... Процессы такого рода в сталинских спецлагерях были нередки. Мой коллега, врач, бывший министр здравоохранения в одной из советских республик, старый член партии (РКП), осужденный на 15 лет ИТЛ, получил новые 10 лет (после шести лет пребывания в лагере) за неосторожное слово, якобы контрреволюцию...

Меня вызывает следователь. Я в его кабинете, в специальном домике МГБ, который заключенные называют почему-то «хитрый домик». Когда выходит из него уборщица-посыльная, тоже заключенная, проходит мимо кого-либо или заходит в барак, на каждого нападает страх — «не меня ли тянут в «хитрый домик»... Эту женщину не любили, боялись ее, быть может, ни в чем неповинную и отбывающую свой десятилетний срок. И

вот я в «хитром домике». Знакомый следователь, «опер-уполномоченный», я лечил его ребенка.

— Садитесь доктор. Как живете? Как здоровье? — А потом за «дело».

Показывает мне наклеенные на большой лист бумаги фотокарточки трех китайцев. Знаю ли я их? Всмотриваюсь — нет, не знаю.

— Как не знаете! Всмотритесь хорошенько, — рекомендует следователь.

— Нет, не знаю, — говорю я.

— Ни одного из них?

— Ни одного не знаю.

— А который посредине?

— И его не знаю.

— Это министр, — заявляет следователь, — он вас хорошо знает.

— Возможно, — говорю, — я лечил его или его семью, или он лежал в больнице, где я работал?

— Его фамилия Ван, — подсказывает следователь.

— Не знаю, не помню такого. И вообще Ванов сотни тысяч.

Следователь написал протокол, записал, что я таких не опознал.

Не однажды вызывали меня для распознавания разных лиц, которые якобы меня хорошо знают и я якобы знаю их. Я никого из них не узнавал, просто не был знаком с ними. Однажды следователь предъявляет мне фотокарточки трех женщин. Я не знаком ни с одной из них. Следователь настаивает, что мне известна одна из них, указывает на фото. Но я не узнаю в ней моей знакомой. «Опер» настаивает:

— Она много рассказала о вас и вашей деятельности.

Я категорически заявляю, что я ее не знаю. Тогда следователь спрашивает, знал ли я Эпштейна. Отвечаю, что в Харбине было с десяток Эпштейнов, кое-кого из них я знал или слышал о них. Он называет имя Г. З.

— Да, его я знал. Он около 20 лет тому назад уехал в Палестину, и с тех пор я ничего о нем не слышал.

— А дочь его знали?

— Не помню ее.

— Так вот, — говорит следователь, — это его дочь и есть. Она вас хорошо знает.

— Не помню ее, — говорю я. — Отца я хорошо знал.

Она была с отцом в Палестине, и как эта фотокарточка попала в руки МГБ «опер» мне не сказал. Загадка... Больше меня следователь о ней не спрашивал, и тайны о ней не поведал.

Наша тюремно-лагерная жизнь все тяжелее. Ограничения, запреты, издевательства, лишения. Нельзя носить своей одежды — только лагерную (арестантскую): брюки, куртку, бушлат, картуз, ботинки — все только лагерное, по положенной форме. За появление в своей одежде запирают в арестное помещение на 3—5 суток, на 300 грамм хлеба в день и воду. Женщинам выдается блузка, юбка специально лагерного типа и бушлат. Девушки не очень-то охотно расстаются со своими платьями и кофточками, и на этой почве постоянные скандалы. Надзиратели тащат женщин в комендатуру, в «хитрый домик», в карцер, на хлеб и воду. Обыски в бараках. Ищут личную одежду, забирают ее силой. В 1949 г. ввели в спецлагерях «номера». Каждый заключенный нумеруется, и его номер ставится на всей одежде — на теплой шапке, на картузе, на спине куртки, на бушлате, на рубашке, и на брюках (на коленях). Я весь в номерах... А цифры крупные, пятизначные, четырехзначные. За появление без номера на какой-либо части одежды — карцер. Я не дал ставить номера на куртке и на полу-бушлате, который мне выдали помимо теплого ватного бушлата. Я заявил начальнику спецчасти, что, заклеенный, я не буду ездить за зону, в город к «вольным»

больным, куда меня ежедневно вызывают. Начальник спецчасти молча кивнул головой, и номера остались у меня только на бушлате и на одной паре брюк.

В 6 часов вечера, после поверки, заключенные на ночь запираются в бараках и задыхаются там, в особенности в летние вечера и ночи. На окнах густые решетки. В каждом бараке по 700—800 человек, вагонки трехъярусные. Закрываются и больничные бараки. И дежурный врач (каждый день другой, по очереди) сидит взаперти в своем больничном бараке. В 12 часов ночи дежурный надзиратель делает с дежурным врачом обход остальных больничных барakov, т. е. выпускает врача и открывает ему двери других больничных барakov, а потом провожает врача обратно и запирает за ним его барак. Мы, врачи, не раз говорили своему начальству, что ночью нет медицинской помощи больным — дежурный врач не может попасть ночью к больному — все под замком. Но все разговоры впустую — «не положено». «Не положено» — это в Советском Союзе как бы государственный лозунг, к которому прибегают все начальники. «Не положено» — удобный лозунг и на воле, например, для... взяточничества.

Я был дежурным по больнице. Ночью, часа в три, слышим невероятный стук, крики: «Дежурный!» Стучат в соседнем бараке, стучат в дверь, кричат через форточку, через оконные решетки.

— Человек умирает, скорей помощи!

Но и мы заперты. Стали и мы стучать в дверь, сестры и санитарка кричат в форточки, помогают и больные — невероятный гвалт поднялся. С полчаса стучали — дежурный надзиратель, очевидно, преспокойно спал в комендатуре, довольно далеко отстоящей от больничных барakov. Но наконец-то он появился. Отпер дверь, и я прошел с ним в соседний барак. У больного острый аппендицит. Послал сестру за хирургом, срочно была сделана операция. На завтра же я по этому поводу до-

доложил на «пятиминутке» (каждое утро собиралось начальство — нач. санчасти, нач. больницы, врачи вольные и заключенные — на так называемую «пятиминутку», где дежурный врач делал доклад о происшедшем за последние сутки: сколько больных прибыло, какие больные, сколько выписано больных, о случаях смерти, и обо всем, что произошло в больнице). Эти «пятиминутки» обычно продолжались 30—40 минут. Я доложил о случае срочной операции и указал на недопустимость того, что больница закрыта на ночь на замок и дежурный врач лишен возможности оказать нужную помощь. Начальник санчасти сначала отмахнулся:

— Что поделать? Не положено.

Но мне лично после «пятиминутки» добавил:

— А если побег? Кто будет отвечать?

И по-прежнему запирали больных и больницу на семь замков...

Через 7—8 дней меня вызывает к себе начальник лагеря в свой кабинет. У него заболела девочка, и он повез меня к себе домой на дрожках. По дороге я ему рассказываю про случай срочной операции, возмущаясь закрытием больницы и дежурного врача на ночь и содержанием больных всю ночь без всякой помощи. Он не знал об этом случае и удивился, что ему не доложили. Я говорю:

— Дежурный офицер мог и не знать об этом. Ведь я до него не мог добраться, будучи закрытым в терапевтическом бараке.

Нач. лагеря, полк. Л., задумался. Видимо, и его пугало это «не положено»... Через пару дней нач. лагеря разрешил не закрывать на ночь больницу, но врачи должны следить, чтобы порядок не нарушался и чтобы все было «как положено»... И больничные бараки перестали закрывать на ночь. Но в других лагерях, куда меня переводили, порядок остался прежний. Продолжали закрывать больницу на ночь и не раз случались несча-

стья. Лишь после смерти Сталина избавили больничные бараки от замков на дверях и решеток на окнах.

Мне предлагают (приказывают) принять две женские палаты с терапевтическими и гинекологическими больными. В этих двух палатах 47 больных. Врач-гинеколог, ведавший ими, снят за что-то с работы (много ли надо!...). Я принимаю палаты. Со мною при приеме нач. санчасти, нач. больницы, две палатные сестры. Делаем обход больных в большой палате на 32 койки. Вдруг с одной из коек раздается душераздирающий крик:

— Абрам Иосифович! Абрам Иосифович!

Громкий плач, рыдание истерическое. Все удивленно смотрят, больные вскочили с коек. Я бросился к той койке, откуда раздался крик. Женщина стоит на коленях на койке, бросилась обнимать меня, целует, кричит одно:

— Абрам Иос.! Абрам Иос.!

Кто это? Не узнаю. Успокаиваю ее, сам волнуясь.

— Кто вы?

— Не узнаете меня, Абрам Иос.? Я Валя Р.

Успокаиваю ее и обещаю через четверть часа навестить ее. Начальству я сказал, что это дочь моих близких друзей, знаю ее с детства. Как будто поняли и сочувственно мотнули головой. Валя Р. была в 1947 г. арестована в Дайрене. Приписали ей шпионаж (пункт 6-й, 58 ст.) и дали 25 лет ИТЛ. С Валей Р. на своем тернистом лагерном пути мне пришлось встретиться еще в 2—3 лагерях и потом на воле, в Караганде. Валя Р., прекрасная пианистка, с успехом выступавшая с самостоятельными большими концертами, в лагере не могла, конечно, использовать свой талант. Она была на легких физических работах, а позднее в библиотеке жензоны выдавала книги и стала драматической «артисткой»: выступала в пьесах, которые ставились «кружком самодеятельности» заключенных и даже режиссировала постановки. В лагере Кенгире, в помещении КВЧ (культ-

турно-воспитательная часть) стояло пианино, которым никто не пользовался. Врач-хирург и я обратились к начальнику КВЧ разрешить нам пользоваться помещением и инструментом. Он милостиво разрешил, но только для нас, а не для «публики». И Валя Р. в самом тесном круту (3—4 человек) играла на пианино, доставляя нам своим прекрасным исполнением классики большое наслаждение и утешение в нашей кошмарной жизни в неволе.

Иногда устраивали концерты. В лагере, среди заключенных, было немало артистов, музыкантов. Была певица, премьерша киевской оперы, обладавшая прекрасным меццо-сопрано, была опереточная примадонна из Москвы, Лиля К., были две отличные московские балерины. Хорошая пианистка С. В., руководительница всех постановок и концертов в Кенгире, получила от советских 20 лет КТР (каторжных работ) сразу по освобождении из немецкого концлагеря. Были две драматические артистки. Была и кинозвезда, выступавшая в известных советских фильмах в коронных ролях. Она жена известного советского писателя Г-ва, была в делегации советских киноартистов в Чехословакии и пребывание там поставили ей в вину. «Статья» нашлась, и дали десять лет заключения. Муж, советский писатель, так испугался ее ареста, что, боясь за себя, порвал всякую связь с женой. Не писал ей, не посылал посылок, что ее очень волновало. Она не могла успокоиться, не раз говорила мне об этом, возмущаясь мужем. Но что тут поделать? Кто хочет очутиться в советской тюрьме, лагере?...

Артистки иногда устраивали «концерт» днем, по своей инициативе. Однажды я был единственным их зрителем-слушателем. Оперная и опереточная артистки и пианистка Соня В. пели и играли специально для меня, за то, что я им всем помогал, то помещая их в больницу, то устанавливая легкую рабочую категорию, и их

не гнали на тяжелые физработы. Полтора часа я слушал их пение и игру на пианино.

Когда стали создавать в лагере «кружок самодеятельности», собрали превосходные артистические силы — певицы, музыканты, балерины, драматические актеры. Затруднение состояло в том, что большинство из них работали за зоной — на каменном карьере, на кирпичном заводе. Была работа и в самом лагере — тех, кто не имел 1-ю и 2-ю категорию труда, заставляли работать в зоне на плитках. Меня вызывает к себе начальник женского лагпункта, майор Б-ко, большой любитель театра и музыки, своего рода лагерный «меценат».

— Вы, доктор, должны помочь мне. Примите нянями детдома вот таких-то девушек, — и называет фамилии оперной певицы, опереточной примадонны и балерины М. Говорю начальнику, что это трудно сделать, по положению одна няня на 16 детей. На просьбы пополнить штат отвечают «не положено»...

— Ну, я помогу вам в этом деле, а вы примите трех девушек нянями, их голоса, руки, ноги надо охранять — они ведь люди сцены, искусства.

Я уговорил начальницу детдома (очень милая женщина, фельдшерица, татарка по национальности, всецело доверившая мне детдом. Она только подписывала бумаги), и через несколько дней в числе нянь, ухаживающих за грудными детьми, были у меня оперная примадонна, опереточная певица и балерина. У каждой одна палата на 16 детей. Работают посуточно — сутки работают, сутки отдыхают. Любуюсь: танцует балерина от одного сосунка к другому, меняет пеленки оперная примадонна, укачивает младенца опереточная львица. А в свободные от работы дни — репетиции, спевки. Оперная примадонна она же и дирижер хора, кое-как сколоченного. Балерина разучивает балет и учит четырех девушек изящным движениям. Репетиции каждый день, отпусти то одну няню на репетицию, то другую. А я не

могу оставить детей без няни. Вдобавок мне еще двух нянь артисток навязали. У меня уже целая «труппа нянь...» И сестры жалуются, что это за работа! Я стал искать для нянь-артисток работу в зоне. Уговорил начальника лагеря назначить артисток оперы, оперетты и балета ночными дежурными в женских бараках. А кое-кого из них устроили на работы во дворе зоны. И вопрос разрешен. Сосунки остались без оперы и балета.



Прислали в наш лагерь пять молодых женщин-врачей, только что окончивших мединститут. Трех из них — назначили начальницами больницы, амбулатории и детдома, а двух на практику в мое терапевтическое отделение. Нач. сано просит помогать молодым врачам, учить их — «они еще совсем «зеленые», «они будут вас слушаться, они хотят учиться, приобрести знания, опыт». А в лагере многому можно научиться. Одну из них начальница сано хочет сделать педиатром — у нас нет врачей по детским болезням. Моя обязанность — помочь ей в этом деле, учить врача, наставлять. У меня с нач. сано были добрые отношения, она ценила и всегда отмечала мою работу. Даже внесла мое имя на доску почета трудящихся, как врача-отличника. Но с молодыми врачами получилось иное. Молодая женщина и совсем молодой врач сразу объявила себя начальницей. Она всячески старалась напомнить мне, что она «вольная», а я заключенный и, стало быть, не только ее подчиненный, а вообще невольник...

Так и установилось, начальница приходила к 10-ти часам и вызывала меня из терапевтического отделения для доклада ей о детдоме и детбольнице. Я ей иногда показывал больных детей, объяснял заболевание, диагноз, лечение, что ее мало занимало. Я не обращал на это внимания, продолжал свою работу по-прежнему. Но на-

чальницу другое интересовало. Она окружила детдом, сестер, меня агентами-осведомителями. Старшая медсестра, заключенная, культурная пожилая женщина, с большим опытом и стажем, отбывала уже второй срок, вторую «десятилетку». Начальница решила убрать ее и хитро это осуществила. Обратилась ко мне, прося положить старшую сестру в терапевтическое отделение, хотя бы на недельку, она-де себя плохо чувствует, устала, ей надо отдохнуть. Я, конечно, сделал это — дал возможность старшей сестре отдохнуть с недельку. А начальница детдома тем временем уволила ст. сестру и назначила на ее место другую, молодую, которая была «стукачкой» (а таких в лагере среди заключенных немало). Затем начальница убрала из детдома завхоза, заменив ее своей ставленницей.

Однажды начальница-«врач» обращается ко мне: нам нужны няни и санитарки. Я спросил:

— Дополнительно? Сколько?

— Нет, надо заменить трех нянь, которые никуда не годятся.

Я удивился, зная, что наши няни прекрасно исполняют обязанности, аккуратные, чистые. Но начальница, не обращая внимания на мое удивление, продолжает:

— Подберите из выписывающихся из больницы женщин, только русских, а не литовок, эстонок, полек, — только русских.

Евреек начальница не упомянула, видимо, боясь задеть мое самлюбие, но я чувствовал, что она не договорила этого слова. Мне уже дважды пришлось убедиться в ее антисемитизме. Я ей ответил:

— При вашей оговорке: только не литовок, не полек, я не могу заняться этим. Это противно моим взглядам. Я сам принадлежу к национальному меньшинству, которое всегда терпело ограничения, преследования, гонения, и я не могу встать на путь ограничений какой-либо национальности.

Я понял, что начальница выбрасывает из детдома «инородцев». Мой ответ несколько смутил начальницу, но она ничего не сказала, вышла из кабинета. Эта девушка-врач, начальница детдома, была комсомолкой, с полгода тому назад принята в члены ВКП(б). И этим кичилась всегда.

Жизнь лагеря полна трагизма и трагикомизма. Через высокую стену, отделяющую жензону от мужской, движение интенсифицируется, в особенности, под покровом темноты. Иду я в 12-м часу ночи в детбольницу. Зашел во двор, вижу, кто-то шмыгнул и спрятался в беседке. Спрашиваю, кто тут? Нет ответа. Иду к беседке, из нее выходит девушка:

— Это я.

— Кто вы?

— Я здешняя, из лагеря.

— Что вы тут делаете?

И девушка, не смущаясь, рассказывает: после вечерней поверки она незаметно выскочила из барака, и вот прячется. Она пробирается в мужскую зону и просит меня:

— Помогите мне перелезть (через стену). Там ждет меня мой друг. Мне бы только через стену перелезть.

— Оставьте, девушка. Тут возле больницы конвоир ходит, надзиратель стоит, попадете вы в беду.

Девушка стала умолять меня посадить ее, помочь ей взобраться на стену. Мои уговоры не помогли.

— Меня ждут там (в мужской зоне), — твердит она умоляюще.

Я ушел в детдом. Не знаю, удалось ли ей попасть к другу на свидание...

Как-то в 9—10 часов вечера меня вызывают в «хитрый домик». Сидит «опер», зверь, а не человек, и в углу на стуле девушка, заключенная.

— Вот нашлась, — говорит мне «опер».

Девушка эта исчезла два дня тому назад. Обыскали,

перерыли все зоны — нигде найти ее не могли. Пропала и только. Через два дня вечером она прыгнула со стены в женскую зону. Неподалеку стоявший надзиратель видел, как со стены в женскую зону прыгнул мужчина. Надзиратель пустился вдогонку за ним. Мужчина этот забежал в хирургическое отделение больницы, вытащил из печки в коридоре больницы пакет и убежал. Где-то позади одного из барачков, в темноте, переоделся в женское платье. Тут надзиратель и накрыл девушку. Привел ее в комендатуру, а оттуда к оперуполномоченному. Девушка отрицает, что была в мужской зоне. И опер вызывает меня как врача, определить, была ли она эти дни с мужчиной, жила ли половой жизнью. Я, стало быть, обязан дать заключение. Я крайне удивился этому «умному» предложению и заявил, что я этого определить не могу, не умею.

— Ну, а по внешнему виду, — спрашивает опер.

— По внешнему виду — вы сами видите — она в полном порядке. Она волнуется, — говорю я, — но в вашем кабинете все волнуются, гражданин начальник.

— А вина она не пила? — спрашивает «опер».

Я подошел к девушке:

— Дыхни, — говорю я ей.

Она дыхнула.

— Нет запаха алкоголя, — заявляю я.

Этим закончилась моя консультация. Девушку опер посадил на 20 дней в карцер.

Мужчину, «друга» своего, у которого она гостила в мужской зоне двое суток, она не выдала, несмотря на обещанный новый срок — пять лет... Меня часто вызывали в комендатуру, определить, пьян ли тот или другой заключенный или надзиратель. Надзиратели за деньги, а главным образом за участие в выпивке приносили заключенным «с воли» водку и вместе с ними где-либо в тайном уголке распивали пару бутылок. Однажды в домишке пожарной команды заключенные с дежурным пожар-

ником устроили попойку. Конечно, за счет заключенных. Чтобы замаять следы «зелена вина», они накурились до одурения, наглотались всякой дряни, имеющей крепкий запах, приняли 10—15 капель нашатырного спирта. И все как будто в порядке... Кто-то из них попался на глаза дежурному офицеру и вызвал подозрение своим видом, походкой. А тут и другой подозрительно плетется. Привели их обоих в комендатуру. Вызвали меня, дежурного врача, определить пили они вино или нет. Положение врача в этих случаях скверное. «Да» сказать — не хочешь, а «нет» — сказать трудно. Я заявил начальнику:

— Признаков опьянения нет. Запаха алкоголя при выдохе не слышно. Вид трезвый. А определить, пили спирт или нет, можно только «пробой Рапопорта». У нас нет для этой пробы нужного реактива, и я этого сделать не могу. По виду и состоянию они не пьяные.

Начальник отпустил меня. Двух заключенных все же посадили в карцер на трое суток, а вольные надзиратели не пострадали (ведь все пьют, и сам начальник напивается «до чертиков»... Вот только то, что с заключенными вместе пить нельзя).

«Мамки» взбунтовались вдруг — требуют разрешения видеть своих детей, когда захотят, быть с ними, нянчить их, играть, гулять со своими детками. По положению, свидания с детьми разрешаются один раз в неделю, по воскресеньям. Кормящие матери (до 9-ти месяцев кормят грудью) покормят своих «сосунков» — и не отдадут их няням, не уходят из «кормилки». Что с ними поделаешь? Не драться же няням с ними. Шум, крики, скандалы. Мамки врываются в детские спальни, хватают из кроваток своих детей и держат их, не отдают. Не легкое дело вырвать ребенка из рук матери, оторвать его от материнской груди... В один из таких дней заявилось начальство лагеря. Мамки не уходят, кричат, скандалят. Начальник пытается успокоить их,

обещает дать еще один день в неделю для свиданий. Какая-то ретивая мамка кричит ему в лицо:

— А что ты за хозяин над моим ребенком! Я его родила, я его кормила. Это мой ребенок, а не твой.

Начальник спокойно и нагло ей в ответ:

— Это не твой ребенок, он принадлежит государству. Государство о нем заботится. А ты преступница, ты совершила преступление против государства, ты враг народа, и ты больше не мать ребенку...

Однажды при обходе в хирургическом отделении нач. Степлага видит, что одна больная лежит с головой — под одеялом, не подает признаков жизни.

— Кто это? — спрашивает он.

Врач хирург отвечает:

— Больная, медсестра наша.

— Чем она больна?

— Два дня тому назад положили в больницу с сильными болями в животе, она беременна. Находится под наблюдением.

Начальник подошел к больной, грубо сдернул с нее одеяло, обнажив ее. Больная закрыла лицо руками, заплакала.

— Сколько месяцев беременности?

— Шесть, — отвечает хирург.

— А сколько времени она здесь в лагере?

Никто не отвечает. Начальник требует ответа у нач. санчасти:

— Сколько времени она работает у тебя сестрой?

— Второй год, — отвечает нач. санчасти.

Тогда начальник Степлага, разъярившись, кричит в лицо нач. нашего лагеря:

— Что у тебя тут такое? Фабрика детей? Куда вы тут все смотрите?

И обращаясь к больной медсестре, требует ответа: кто отец ребенка? Она молчит. Тогда он приказывает нач. санчасти:

— Выписать ее, снять с работы. Ничего не случится с ней и ее щенком. Узнай, кто отец ребенка. Слышишь? Все займитесь этим! И ты, врач, (обращаясь ко мне), и ты (обращаясь к женщине-хирургу).

Все, конечно молчали. Мы знали отца ребенка, его недавно перевели в другой лагерь.

Стали поступать в больницу «ложкоглоты», «стеклоеды» — заключенные, занимающиеся глотанием разных предметов, чтобы выбыть из строя работающих, хотя бы на некоторое время. Глотали черенки больших столовых ложек, рукоятки ножей, глотали толченное стекло. Привозят больного с отчаянными болями в животе. Кричит от боли, корчится. Ложку проглотил, нож проглотил, стекла «наелся»... Немедленно на операционный стол. Находят, большею частью в желудке, все эти «инородные тела». Такой «больной» после полостной операции лежит две недели в больнице, с месяц после операции не работает. Расчет простой... В 1950 г. эти «номера» стали очень частым явлением. Буквально эпидемия. И когда однажды принесли на носилках из мужской зоны такого «ложкоглота», оперуполномоченный вызвал хирурга и меня (мы оба всегда обследовали больного, и я обычно либо ассистировал при операции, либо давал наркоз), и заявляет:

— Запрещаю оперировать, не смей делать операцию. Пусть подыхает.

Я говорю:

— Быть может, этого прооперируем, а впредь будут знать, что такие случаи не оперируются.

Опер в ответ закричал:

— Хватит этого либерализма! Не оперировать и выписать его в барак!

Аналогичный случай был у меня через год в другом лагере. Будит меня под утро фельдшер: больной Ц-н проглотил столовую ложку, давится, рвет его, кричит. Иду

в палату. Что случилось? Что с вами? Немец Ц-н признается, что проглотил столовую ложку.

— Зачем вы это сделали? — удивляюсь я.

— В знак протеста, — объясняет он. — Я обратился к главному оперуполномоченному, прошу, чтоб меня вызвали к прокурору; имею дать важные показания. Четыре раза писал. Не вызывают. Вот я и проглотил ложку. Теперь уж вызовут.

— А вы в самом деле проглотили ложку? — спрашиваю я.

Ц-н показывает мне кусок ложки. Отломал чашечку, а черенок столовой ложки проглотил. Говорю ему:

— Сейчас пойдемте в рентгенкабинет, а там в хирургическое.

— Делайте, что хотите — только отправьте это письмо прокурору, — просит Ц-н, протягивая мне перевязанный нитками пакет.

— Я этого сделать не могу. Передайте пакет, если хотите, нач. больницы.

Больной отказался пойти на рентгенографию и в хирургическое отделение. Вскоре заявили целых три начальника, учинили Ц-ну допрос и куда-то убрали его из больницы. Говорили, что в тюрьму.

После приказа не оперировать подобные случаи, глотание ложек, ножей, толченого стекла прекратилось. Но разного рода притворства и «мастырок» было немало.



Лежит у меня в терапевтическом отделении молодой паренек, грузин. Не говорит ни слова, молчит. Как немой. Нормальный человек, все понимает, слышит, пишет, ест и пьет, хорошо ходит, а вот молчит. И все, кто знает его, говорят, что всегда говорил, разговаривал, как следует. Все анализы в норме. Молчит, и только. Есть такое явление в психиатрии, называется мутизм, притвор-

ная немота у душевнобольного. Не «мутизм» ли это? Но он совершенно нормальный человек. Он лежит у меня уже пару недель. Мы с нач. больницы созвали консилиум врачей с участием невропатолога. Консилиум решил, что это притворная немота. Парня выписали из больницы. И в тот же день, по приходе в барак, он заговорил. Свыше трех недель молчал, был немым... Что ж? Зато отдыхал, не был на тяжелых работах. Сколько таких притворств в условиях страшной лагерной жизни!...

Но есть и такие, которые не идут на работу принципиально. Предпочитают сидеть в тюрьме. Принципиальных несколько категорий. Меня вызывает начальница больницы С. Г. и говорит, что мы сейчас пойдем в тюрьму «комиссовать» арестантов, определять их состояние здоровья и категорию труда. Отправились мы с ней, она — «вольная» («отсидела» уже 10 лет) — и я, заключенный в сопровождении конвоира с винтовкой. Мы в кабинете начальника тюрьмы. Начальник дает команду привести всех заключенных на врачебное освидетельствование. Я свидетельствую их, даю заключение, а начальница больницы устанавливает категорию труда (всего четыре категории труда: 1-я — физический труд без ограничений; 2-я — легкий физтруд; 3-я — легкий труд, не физический; 4-я категория — инвалидность). Один за другим по одному заходят в кабинет арестанты. Подошел по очереди один заключенный, молодой, лет 30-ти, высокий ростом. Внутрь комнаты зайти не хочет. Начальник тюрьмы зовет его:

— Входи, С-в.

А он в ответ:

— Я здоров, совершенно здоров, на все сто процентов. Пишите — 1-я категория.

Никакие доводы, что без врачебного осмотра не может быть дана категория, на С-ва не действуют. Он отказывается от освидетельствования и заявляет:

— Нечего меня свидетельствовать, я все равно ра-

ботать не собираюсь. Я враг советской власти и работать на нее не буду.

И он был не одинок. Посидят такие в тюрьме, выпускают их в лагерь, опять сажают, а они не сдаются. Лишения, муки, полуголод их не пугают...

«Комиссуем» всех женщин жензоны. Приводят их партиями из бараков, они ждут на улице и в маленьком коридорчике. Одну за другой мы свидетельствуем, устанавливаем категорию труда. Вдруг задержка. «В чем дело? Давайте людей!» Санитарка больницы, которая вводит женщин на комиссовку, говорит, что там женщины не хотят войти на комиссовку, отказываются.

— Как так не хотят! — удивляется нач. санчасти. Пошел узнать в чем дело. В коридоре стоит группа женщин, молодых, одетых монашенками, с капюшоном на голове.

— Почему не идете на комиссовку?

— Не пойдем, — заявляет одна из них. — Незачем нам обследоваться.

Кто-то из членов комиссии объясняет им, что тут лишь устанавливается состояние здоровья каждой, может ли она работать физически, на какую работу способна, быть может, ей по состоянию здоровья нельзя работать.

— Нет, не пойдем, — твердят монашки и не двигаются с места.

Начальник санчасти приказывает им войти и начинает толкать их. И тогда одна монашка громко крикнула:

— Мы не пойдем, не будем работать на советскую власть — это власть антихриста!

Нач. санчасти рассвирепел, стал ругать их, оскорблять и, конечно, матом. Безобразно ругался, толкал их силой. Монашки не пошли на «комиссовку», отказались. Их часто держали в тюрьме, месяцами на 300 гр. хлеба и воде. Но они были стойки, своих позиций не сдавали...

Сидим мы в комиссии по определению трудоспособности, ждем. Стихло в коридоре, монашек увели в арестное помещение. Нас трое осталось за столом —

начальница больницы, зубврач-протоколистка и я. Все мы подавленные, под впечатлением происходящего, грустные. В ушах еще звучит крик монашки в ответ на угрозы старшего лейтенанта: «Мы не боимся ваших насилий, не впервой, всю жизнь терпим насилия»... Сидим молча, не смотрим друг на друга. Думы тяжелые одолевают. И среди этой безмолвной, давящей тишины я слышу:

«Приюти меня под крылышком. Будь мне мамой и сестрой. На груди твоей разбитой сны — мечты мои укрой»

Боже мой! Это же Бялик! Откуда? Я поднял голову. А зубврач, глядя в окошко, вдаль, тихо, вполголоса:

«Наклонись тихонько в сумерки

Буду жаловаться я.

Говорят, есть в мире молодость

Где же молодость моя?»...

У молодой женщины стоят в глазах слезы. Я смотрю на нее. Кто она? Мы уже больше года в одном лагере, в одной зоне, и я не знал, что она еврейка. Несомненно, еврейка. Молодая женщина смотрит в одну точку и словно никого и ничего вокруг не видит. И, с грустью — мечтой вспоминая Бялика, читает:

«У меня больше нет ни молитвы в груди,

Ни в руках моих сил, ни надежд впереди»...

Мы все трое (начальница больницы, зубврач и я) — евреи, и каждый из нас прочувствовал эти строки, пережил... Молодая женщина, словно в трансе, продолжает:

«И куда мне пойти? Разве броситься ниц,

Рвать подушку зубами —

Может, выжму еще каплю влаги с ресниц

Над собой и над вами».

У нас всех троих просочилась слеза... Мы скоро ушли из санчасти — комиссовки больше не было, отложили на завтра. Я крепко пожал руку. Она знала Бялика в русском переводе, много его стихов помнила наизусть. И однажды в воскресный день она це-

лый час читала мне Бялика, гуляя по больничному дворику. Бялик... в советском лагере... Гнет, неволя, мрак заточения и — Бялик...

Зубврач, по моей просьбе, записала мне много стихов Бялика, которые она знала на память. Я читал их, перечитывал. И не раз в ночные часы гнетущих раздумий о своей судьбе в своей кабинке я повторял строки нашего Бялика и думал: неужели «ни надежд впереди?»

«Звезды лгали, сон пригрезился

И не стало и его.

Ничего мне не осталось

Ничего...»

Ничто не меняется в лагерной жизни: мрачно, тяжело. Среди заключенных в мужской зоне поножовщина. Раненные, резанные, колотые... Человек восемь привезли в хирургическое отделение. Моем, чистим, шьем, перевязываем. Дрались ножами, кинжалами, и никто не мешал им. Надзиратели, офицеры, начальники — все попрятались, убежали. В спецлагерях для «политических» немало уголовных, якобы за убийство «политического характера», — 136-я статья уголовного кодекса. И эти уголовные устроили кровавую бойню. Почему? Кто его знает! Дня через три, середь бела дня, через стену из мужской зоны, перелезли пять «молодцов» уголовников, участников поножовщины. С кинжалами в руках идут по направлению к хирургическому отделению. В жензоне много народу: женщины, работающие в зоне, мамки, больные — все стоят и смотрят на смелых парней, которые ласково приветствуют девушек. Надзиратели, начальство разбежались, попрятались — ни живой души. «Молодцы» свободно вошли в хирургическое отделение, учинили двум раненым допрос, — им надо было выяснить, кто пырнул ножом, уже по окончании драки, их «вождя», которого нашли лежащим в луже крови. Эти «молодцы» также спокойно прошли обратно к стене, влезли, выстроились на ней в ряд и стали приветствовать девушек и посылать им «воздушные поцелуи». Лишь

когда они прыгнули со стены в свою зону, осторожно стали выглядывать офицеры, лагерные начальники и надзиратели. Доблестные МГБисты и МВДисты, едва пришедшие в себя от страха, начали в хирургическом отделении допрос больных, санитарок, сестер, допрос о «визитерах»...

В одном из соседних лагерей (а лагерей тут бездна...) исчез заключенный. Выяснилось, что он лег в гроб вместо мертвеца, был в качестве трупа вынесен ночью за зону на место «вечного покоя» и ночью же из гроба бежал... Бежал на суетную волю...

До 1950—51 г. заключенных хоронили в общей яме, и вместо проба были грубо сколоченные доски, на которые клали два-три трупа вместе и бросали их в общую яму. Слово «гроб» не существует в советской лагерной терминологии, вместо «гроб» пишут «спецщик», а отправляемый на телеге за зону ящик с трупом именуется «спецгруз»... И вот в каком-то лагере через «спецгруз» покойник сбежал... И после этого скандального события в тюремном советском спецлагере был установлен новый порядок. «Спецгруз» отправляется из лагеря только ночью, в 11—12 часов. Подъезжает к мертвецкой телега, на которую кладут «спецщик», а большей частью несколько. При этом должен присутствовать дежурный врач (заключенный, конечно). Он отвечает за труп и сопровождает телегу с «гробом» до вахты, где вахтер (солдат из гарнизона МВД) поднимает крышку гроба и тычет штыком в труп. Врач заверяет, что это тело заключенного, умершего такого-то числа в больнице. Тогда открываются ворота и телегу со «спецгрузом» выпускают за зону, на волю. И начальство спокойно — теперь уж не обменяют труп на живого человека. Спецгруз отправлен по назначению...

Всеобъемлющая система лжи действует в советском лагере точно так же, как и на воле. Из года в год в лагере эпидемия дизентерии. Июль-август ежегодно уносит немало жизней. Все терапевтическое отделение в

1949 г. было отведено под дизентерийных больных, 150 коек. Заболевание клинически и лабораторно установлено. И, конечно, зафиксировано в истории болезни: диагноз, течение болезни, клиника, лечение, лабораторные анализы. Приехало начальство из Степлага. Обход больницы. Все лагерное начальство налицо.

— Что за больные в этой палате? — спрашивает главный начальник.

— Все это отделение, все палаты, заняты дизентерийными больными, — отвечаю я.

Нач. сано при этих моих словах косо посмотрела на начальницу больницы. А нач. санчасти смертельно побледнел.

— У вас дизентерия, ди-зен-те-рия?! — обращается взволнованно и зло начальник.

— С каких пор? — спрашивает нач. санотдела.

И робкий ответ нач. больницы:

— Заболевания начались в середине июля.

И обращаясь ко мне, нач. сано категорически и решительно заявляет:

— У нас дизентерии нет!

Все направились в «процедурную» (комната, где проводятся лечебные процедуры и где хранятся и пишутся истории болезни).

— Дизентерии у нас нет, — решительно заявляет еще раз нач. сано. Я на это ответил:

— Все случаи до одного установлены клинически и подтверждены лабораторно. Большинство — микробы Шига-Крузе и Флекснер.

Начальница взяла истории болезни, посмотрела две-три из них и категорически заявила:

— Диагноз — гемоколит! Понимаете?!

Да, я понял, все понял... На воле я еще не такие «художества» видел.

Через некоторое время лагерь посетила комиссия из Москвы. Среди пяти членов комиссии, чинов МВД, был один врач, майор медицинской службы. Он осматривал

больничные бараки. Все начальство сопровождает его и мы, два заключенных врача — хирург и я. Комиссия в моем терапевтическом отделении. Майор-врач интересуется, что за больные тут. Я ему ответил, что тут больные энтероколитом и гемоколитом. Он удивленно посмотрел на меня и поправил: дизентерия? Я пожал плечами в ответ. Майор не стал больше ходить по палатам и пошел в процедурную, и вся свита за ним. Он попросил у меня «истории болезни», стал их листать и, обращаясь к нач. больницы, удивленно спросил:

— Почему гемоколит? Бактериальная дизентерия! Самая настоящая, — удивляется майор.

Сидевший с ним рядом нач. санчасти стал что-то шептать ему на ухо. Все вышли из больничного барака озадаченные и смущенные... Когда я позже спросил нач. больницы:

— Что же у нас, «гемоколит» или «бактериальная дизентерия»? Как писать в истории болезни?

Начальница была очень недовольна моим вопросом и сухо, сердито, не глядя на меня, бросила одно слово: «гемоколит». Майор МВД, видимо, забыл, что у нас нет дизентерии, нет этой скверной болезни «капиталистических стран». Она исключена в стране Советов...

Переписка с родными, даже с теми, кто живет в Советском Союзе, не говоря уже о семьях, живущих за границей, была одним из способов издевательства над нами. В Спецлагере (лагере с тюремным режимом) разрешается писать письма только раз в полгода. Письма поступают к офицеру, восседающему в комендатуре, в отдельном кабинете, на дверях коего надпись: цензор. Он вскрывает все отправляемые и все получаемые для заключенных письма, читает их или пробегает своим натасканным глазом, зачеркивает, что ему не по вкусу или не по духу, просто отрывает полстраницы, а то и вовсе уничтожает письмо, сжигает. Получать письма заключенный может сколько угодно, без ограничений. Родные пишут, и довольно часто, но письма к заключенным в «спецлаг»

не доходят... Цензор просто уничтожает их... не просматривая, не читая, к чему эта возня?... И заключенные долгими, долгими месяцами не получают писем от семьи, от родных. Отправляемым из лагеря письмам цензор ведет учет, чтоб, упаси Боже, не было больше одного письма в шесть месяцев. В лагере Спасск цензора сняли с работы (не совсем сняли, а перевели на другую и, пожалуй, лучшую) за то, что он вынимал из писем для заключенных деньги от родных (десять рублей, иногда и больше). Случайно несколько заключенных узнали об этом и пожаловались начальнику лагеря. Деньги цензор-офицер МВД брал себе, конечно, — это был его доход...

Иногда «вольные» надзиратели помогали заключенным посылать письма, без указания адреса отправителя на конверте. Делали это «вольные», конечно, тайно и... за вознаграждение (полбутылки водки, т. е. стоимость ее...). Письмо без обратного адреса — значит без номера почтового ящика... Лагерь не имеет точного адреса, каждый лагерь это почтовый ящик определенного номера — пятизначная цифра — ни республики, ни области, ни города, села — только почтовый ящик №... И так во всесоюзном масштабе. Почтовый ящик №...

В К-ом лагере нашлась добрая душа. «Вольная», работавшая в конторе лагеря, сочувствовавшая горю узников, невинных жертв произвола и деспотии, брала тайно письма заключенных к своим родным и, по окончании работы в конторе, возвращаясь домой, опускала письма в почтовый ящик в городе. А чтобы еще больше замести следы, она часто опускала письма прямо в почтовый вагон, не лениась шагать в железнодорожный поселок, на вокзал. И делала это «вольная» девушка без всякого вознаграждения, из сочувствия и по доброте душевной. И это было каким-то образом обнаружено — то ли донес кто, то ли проследили, то ли почтовому чиновнику бросилось в глаза, что «письменность» в нашем поселке сильно увеличилась, и все письма без адреса отправителя... Девушка пострадала. Арестовали ее, судили. То ли по 58-й

статье, по пункту КРД — контрреволюционная деятельность, то ли по статье СОЭ — социально-опасный элемент — за связь с заключенными... «Был бы человек, а статья найдется»...

И кончилась «нелегальная» переписка в лагере. Конечно, она вскоре опять наладилась — надзирателей-то не убрали, этот институт существует, без него обойтись в лагере нельзя... И водку любят надзиратели... Крепко любят...

Я писем не писал — семья моя за границей, а братьям и сестре я боялся писать, чтобы они не пострадали за связь со мной, тяжким «преступником»... Но вот в 1949 году в мою комнату при больнице зашел один из больных. Он еврей из Литвы, узнал, что и я еврей, услышал обо мне.

— Я знаю, что вы много лет оторваны от семьи, которая живет в Харбине, ни вы не имеете никаких вестей, ни они от вас. Напишите, доктор, письмо, я его отправлю, и будьте уверены, оно дойдет до вашей семьи.

Я отнесся к этому предложению, если не подозрительно, то во всяком случае, с большой осторожностью. Я сказал ему:

— Не смею спросить, каким путем вы это сделаете, это ваш секрет, но я не хотел бы, чтобы кто-либо пострадал.

— Не беспокойтесь, доктор, и будьте уверены, что письмо дойдет, оно будет послано вашей семье из Литвы и через Польшу.

— Спасибо, я подумаю, — ответил я.

И я решил написать несколько строк безобидных — о своем здоровье, чтобы знали, что я жив и верю в лучшее будущее. Написал и передал этому литовскому еврею свое маленькое, коротенькое письмецо жене и детям. Прошло дней десять и этот еврей-литовец предлагает написать еще письмо — у него есть случай отправить его со своим письмом жене в Литву (Литовскую ССР). Написал я и второе письмо. Прошло месяца полтора,

была уже зимняя пора. Я сидел в процедурной, заполнял истории болезни. Вошла медсестра и говорит мне:

— А. И., вас ждут в коридоре.

Я вышел в коридор, стоит в овечьем полушубке врач Галина Ал., заключенная, и, оглядываясь по сторонам, нет ли свидетелей, сует мне в руку какую-то бумажку, говоря прерывистым полусшепотом:

— Письмо от вашей семьи.

На глазах у нее слезы. Видя недоумение на моем лице, добавляет:

— Д-р См. просил передать, — и выбежала из барака.

Недоумеваю, волнуясь, сердце стучит. Бегу в свою комнату, запираю дверь на ключ. Руки дрожат. Да, почерк жены, не письмо — записка от нее, от семьи. Плачу, плачу... Письмо это получил тот самый литовский еврей, который отправил два моих письма. Он уже был выписан из больницы и находился в мужской зоне. Как же ему передать мне в срочном порядке это письмо? Конечно, только через врачей, которые нет-нет, да бывают в женской зоне, в больнице. Врач дерматолог-венеролог, врач-окулист живут в мужской зоне, но два раза в неделю их под конвоем приводят в женскую для амбулаторного приема женщин, для операций по глазным болезням. А Галина Ал. ведет каждый день прием больных у мужчин и после приема возвращается в сопровождении конвоира «домой», в женскую зону. И вот через нее передал мне дорогую весть д-р См. Боже! Что творилось со мною по прочтении письма от семьи. Я не переставал плакать, сотню раз перечитывал эти несколько строк. Больше мне писать семье не удалось — литовского еврея перевели в другой лагерь и связь с ним прервалась. До 1955 г. я снова ничего не знал о моих близких, и они были в полном неведении обо мне.

Заместителем нач. сано был капитан Г., еврей. Начальница сано упала, сломала кость правой ноги, лежа-

ла в гипсе. Капитан Г. замешал ее, усердствуя не в меру. Часто приезжал в наш лагерь, отстающий от лагерного центра на 25 км, во все вмешивался, пользуясь своею, хоть и временную, «властью». Отправляли этап. Капитан Г. тут как тут. Вообще в советских лагерях подолгу в одном месте заключенных не держат, то и дело перебрасывают из одного лагеря в другой. Этапы без конца приходят, уходят. Говорят, для того, чтобы не дать заключенным сплотиться, что могло бы привести к объединению на почве недовольства и протеста против гнета, произвола, насилия. А разве мало было бунтов с кровопролитием?! Приехал с связи с этапом зам. нач. сано, капитан Г. Он включает в список отправляемых в этап трех матерей, разлучая их с младенцами 1-1,5 лет. Матери прибежали, конечно, ко мне, врачу детдома, в котором дети их находятся. Просят защиты, умоляют.

— Но я такой же заключенный, как вы, и никаких прав и голоса не имею.

— Но вы, доктор, знаете мое дитя, — говорит одна, — вы его вырастили, он слабенький. Я не выдержу, я умру с тоски по нем, — и заливается горькими слезами.

Особенно убивается эстонка. Две русские женщины более владеют собой. История этой эстонки такова. В 1948 г. арестовали ее мужа, тоже эстонца. Забрали мужа, и он исчез — ни слуху, ни духу. Прошло 4—5 месяцев — и ее арестовывают. Как «жену мужа»... Были и такие «номера» в СССР: арестовывали, как жену «преступника», «контрреволюционера», «изменника родины». «А вы по какой статье?» — спрашивают женщину. «Жена мужа», — следовал ответ. Вот по такой статье и по такому поводу была арестована эта эстонка на седьмом месяце беременности. Она родила в тюрьме. Ее отправили в этап с грудным ребенком. И с этапом в наш лагерь прибыла с крошкой на руках (месяцев 4-х, кажется). Всех прибывающих заключают в карантин. А ее куда денешь с грудным ребенком? Я принимал этап, смотрел, нет ли больных. Принять ребенка в детдом прямо

из арестантского вагона — нельзя. Решил поместить пока ребенка с матерью в отдельную комнату в терапевтическом отделении, тем более, что у ребенка диспепсия. Так и сделал. Мать изрядно намучилась с грудным ребенком в тюрьме, пересылке, арестантском вагоне. Сама вся высохла. И плачет, вспоминая мужа. Где он? Жив ли? За что арестовали его, ее — она не знает.

В лагере начались кишечно-желудочные заболевания. Больницы в мужской зоне нет, и все больные мужчины находились на излечении в женской зоне, в моем терапевтическом отделении. И вот однажды эстонка-мать, выйдя в туалет, столкнулась в передней со своим мужем, который лежал в мужской палате с дизентерией. Душераздирающий крик, эстонка в обмороке. Мы выбежали из процедурной в коридор. Что случилось? Видим, женщина лежит на полу без сознания, возле нее на коленях стоит мужчина, целует ее, плачет. Я спрашиваю, что случилось.

— Это моя жена, здесь встретились.

Он, конечно, и не предполагал, что жену его могут арестовать. Женщину внесли в ее палату. Муж просил разрешения взглянуть на ребенка. Я разрешил. Женщина пришла в себя, они просят не говорить, что они муж и жена, а то их тотчас же разлучат и его отправят в другой лагерь. Ведь такое «счастье» — встретить вдруг... Я сказал сестрам и санитаркам, чтобы они никому не говорили о встрече мужа и жены. Больным сказали, что это близкие знакомые из одного города. Вскоре, по распоряжению нач. санчасти, пришлось выписать мать с ребенком. Ребенка — в детдом, а мать — в барак мамок. Муж еще болел дизентерией и остался в моем отделении. Я давал возможность мужу и жене встречаться в определенные часы дня, и они ежедневно виделись, беседовали, то в коридоре, а то иногда в моей комнате. О том, что они муж и жена, конечно, уже все знали, и больные и начальство, но об их тайных встречах началь-

ство не ведало. Муж, по выздоровлении, был отправлен в мужскую зону и переписывался с женой. Дело переписки между мужской и женской зонами было налажено. В определенный час определенные лица из заключенных той или другой зоны в определенном месте перебрасывают письма от женщин к мужчинам, от мужчин к женщинам. Так называемые «почтальоны». К пачке писем в 4—5 штук привязывается нитками камешек и бросают ее через стену. Таких пачек бывает зачастую до десяти. Переписка оживленная. А там, с другой стороны, ждет почты тамошний «почтальон». Эти же «почтальоны» и разносят получаемую почту по баракам. Любопытно, что письмо на лагерном языке называется «ксива»... Когда я в первый раз услышал, как «почтальон», принеся письмо из другой зоны, объявила: «Валя, тебе ксива».., я удивленно переспросил: «Ксива?». Как «ксива!». Письмо — объясняет мне женщина-почтальон. «Ксива» — ведь это еврейское *„כתובה“* — писание, письмо. Откуда это название в советских лагерях?! «Блатные» вообще имеют свой «язык», условный, чтобы начальство не понимало их речи. Слово «ксива» получило право гражданства в советских лагерях, и им пользуются заключенные всех пятидесяти двух национальностей СССР, томящихся в десятках тысяч лагерей... И эстонка стала часто получать «ксива» от своего мужа и посылать ему «ксива» в мужскую зону по лагерной почте.

И вот эту эстонку и еще двух женщин включили в список отправляемого этапа. Мне жаль их. Я иду к зам. нач. сано, капитану Г., с которым накануне у меня был очень неприятный разговор. Он ночевал в лагере, в больничной зоне.

Вечером капитан Г. вызвал меня в санчасть и предложил погулять. Мы ходим вокруг больничных бараков, по больничной зоне. Капитан Г., хваля меня, как опытного врача, пользующегося доверием и популярностью среди заключенных и вольных, стал порицать мою «линию поведения». Мол я забываю, что я заключенный... и приказ мо-

его начальства для меня «приказ». Я понял, что он говорит о «приказах» начальницы детдома.

— Да, — сказал я, — я заключенный, подневольный. И я молчу, видя многое возмутительное, что проделывает начальница в детдоме, за который я всецело несу ответственность. И мы все заключенные возмущаемся, но молчим, ибо мы бесправные, а она, начальница, вольная, с большими правами над нами. Но когда мне эта самая начальница предложила подобрать на работу нянь только русских — не литовок, не эстонок, не полек, «только русоких», я сказал нет, в таком деле я не могу, не хочу участвовать, ищите сами нянь по национальному признаку.

Капитан Г. перебил меня и начальнически заметил:

— Не ваше дело рассуждать об этом. Значит у нее были основания для такого решения.

Я на это спокойно возразил:

— Очевидно, и у царского правительства были «основания» для ограничений евреев, для «процентной нормы», такие же основания...

Капитан Г. закричал:

— Как смеее вы! Вы в советской социалистической стране.

— Гражданин начальник, — сказал я, — это ведь не от социализма, это от «союза русского народа» и «Михаила Архангела»...

Капитан Г. вскипел:

— Не забывайте, что вы заключенный. Делайте так, как вам велят.

Несколько минут мы шли молча. Зашли в санчасть, капитан Г. сказал мне:

— Вы, К-н, еврей, и этого не следует забывать!

— В Союзе Советских Социалистических Республик я, гражданин начальник, этого не забываю, да мне и не дают забыть, не один раз напоминали...

Капитан Г. тихо ответил:

— Еще не изжиты в народе пережитки старого. Мы

боремся с этим, но с пережитками, как с привычками, не легко бороться.

Я тихо, как бы в сторону сказал:

— Но за это не арестовывают, не дают «срока», как за еврейский, литовский, украинский национализм. За откровенный антисемитизм, за русский шовинизм, за лозунг: «только русские», «без евреев, поляков» — не сажают в тюрьму, это, видимо, не «контрреволюция»...

Капитан вскочил с места и громко декларировал:

— Да, она русская националистка, и все мы русские националисты, в самом лучшем смысле этого слова. И это отметил наш вождь, гениальный Иосиф Виссарионович. Поняли? — спросил он вызывающе.

— Да, я давно все понял, — ответил я.

И капитан грозно и поучительно объявил:

— У нас с вами, контрреволюционерами, ничего общего нет, и не может быть. Мы все ненавидим заключенных. Мы и вы — это два мира. Вы — контрреволюция, а мы — коммунизм, несущий свободу миру, всему человечеству. Вы этого не понимаете, не поймете!

На этом беседа наша закончилась. Я ушел к себе в больничный барак, надеясь никогда больше не откровенничать с этим неприятным и лживым человеком. И вот надо вновь идти к нему. Отправился я к нач. сано, прошу его за трех матерей, прошу отложить отправку их в этап, пока детишек их не отправят в «дом малютки» (в возрасте двух лет детей отправляют из лагерного детдома в какой-либо «дом малютки»). Капитан Г. и слушать не хочет, называя матерей «проститутками». Я говорю ему, что для матерей разлука с такими младенцами чрезвычайно тяжела. Но капитан Г. крикнул: «Нет, они пойдут в этап, эти б...» Я прямо из санчасти пошел к нач. лагеря, подполковнику Г., симпатичному человеку (по национальности татарину). Подполковник Г. хорошо знал меня, не раз ездил к нему на квартиру в поселок к больным детям. Я рассказал ему про трех матерей. Эти дети — вся их жизнь в горькой доле. Зачем наносить

им такую тяжелую травму? Прошу его пожалеть матерей, оставить их здесь с детками. Подп. Г. позвал дежурного офицера, попросил дать ему список отправляемых в этап женщин. И, получив список, вычеркнул из него фамилии трех матерей, сказав:

— Ну, хорошо, доктор, пусть они останутся со своими детками.

Боже! Что творилось с матерями, узнавшими, что их оставили, они плакали от счастья, обнимали меня, целовали. Нач. сано кап. Г. не знал, что я обратился с просьбой за матерей к нач. лагеря, иначе он бы как-нибудь отомстил мне...

Этот самый капитан Г. был в скором времени назначен начальником сано, и мне пришлось с ним через полгода встретиться в другом лагере, где он продолжал показывать свою «власть» — снял с работы несколько врачей, выселил всех врачей из больничных отделений и загнал их в общие казармы, считая, что «слишком жирно» для «врагов народа» жить в отдельных комнатах при больнице... Правда, после его отъезда всех врачей переселили обратно в свои больничные бараки, где они работали и жили в отдельных комнатах. А сам капитан Г. вскоре попал под общую немилость как еврей и был круто спущен вниз; его сняли с высокого поста начальника Сано и отправили в маленький отдаленный лагерь вести амбулаторный прием больных.



Из нашей больницы, находящейся в женской зоне, высеяют мужчин врачей — гинеколога, хирурга, терапевта, фельдшера амбулатории. Все они заменены женщинами. В зоне остались мужчины только врач-лаборант и я. В моем терапевтическом отделении стали работать две врачихи-заключенные. Одна из них, переведенная из другого лагеря, Степлага, известна как скверная, злая и жестокая в отношении своих же заключенных, и она

на подозрении... От нее впоследствии было немало бед. Другая — с большими странностями, психически не совсем в порядке. До сих пор не была знакома с лагерной врачебной практикой. Она якобы специалист по болезням уха, носа и горла. Малокультурный человек и очень нервная. Не могла примириться с тем, что она в заключении. Стали выдавать женщинам форму — блузку, юбку, бушлат. Она не берет одежду:

— Дайте мне мои платья, оставшиеся в Ленинграде в моей квартире, которые вы забрали. Я ваших тряпок носить не буду.

Начала было вести амбулаторный прием и вела стационарных отоларингологических больных. Вызывают ее нач. санчасти и нач. больницы и говорят ей:

— Как вы ведете истории болезни? Вы ничего не пишете, диагнозы ваши безграмотны.

Она на это отвечает:

— Я что обязалась писать истории болезни! Пишите их сами. У меня нет охоты с этим возиться. Я и лечить не обязана, меня незаконно, силой привели сюда. Пошлите меня обратно в Ленинград. Я к вам не нанималась...

Ее вскоре сняли с работы и назначили в этап. Она отказалась ехать. Лежит на своей койке в бараке лагерного обслуживания и никого не признает. Два надзирателя силой стащили ее с койки, уложили на носилки, втолкнули на грузовик, увозящий женщин в этап.

В каждом лагере имеется нервно-психическое отделение, всегда переполненное заключенными. А сколько таких больных в общих бараках — казармах! Многие не могут приспособиться к этой жизни с ее насилием, издевательством.

Я пользовался в лагере и вне его, за «зоной», большой популярностью как врач. У меня была обширная «частная» практика среди «вольных». Ко мне приводили больных «с воли» и ежедневно возили «за зону», в город, к больным. Мне это было тяжело, но что поделаешь. У меня большое терапевтическое отделение в ла-

герной больнице, на мне детдом и детбольница, я консультирую в хирургическом отделении, в амбулатории, я часто ассистирую при хирургических операциях, или даю наркоз. Я работал много, очень много. Но, быть может, это еще отдельная комната (при больнице) облегчала тяжелую жизнь в заключении, тот кошмар, который царит в советских лагерях...

Не знаю, как персонал больницы узнал, что 29 ноября исполняется 40 лет моей врачебной деятельности. Начал я в этот день свой обход больных, как обычно, в 8 часов утра, в сопровождении старшей и двух палатных сестер, совершенно забыв, что я сегодня «именинник» — юбиляр. Зашли мы в большую женскую палату, где были заняты все 32 койки. Лишь только я остановился у крайней койки, как ко мне подходит одна из больных и преподносит по случаю 40 лет моей врачебной деятельности адрес. Все больные приветствуют меня, аплодируют. Так было в каждой палате. Я был очень смущен и меньше всего мог ожидать этого в лагере. Я не любил праздновать своих юбилеев, хотя их было не мало в моей врачебной и общественной жизни. Только когда мой юбилей совпадал с юбилеем какого-либо учреждения, института, органа прессы, я невольно бывал «юбиляром» и должен был страдать как «юбиляр». Так было с юбилеями журнала «Еврейская жизнь», с юбилеем больницы об-ва «Машмерес Хейлим». Но тут... в советском спецлагере... Когда по окончании обхода я зашел в свою комнату, я был потрясен. Вся комната — стол, стулья, кровать — были устланы подарками — торты, конфеты, свитер, перчатки, платочки с вышитыми буквами «К.», «А. К.», книги, записные книжки и даже полевые цветы из лагерного садика. Было очень трогательно, до слез трогательно в этой безысходной тюремно-лагерной жизни, в заточении...

В сентябре 1950 г. объявили, что детей переводят в другой детдом, тоже лагерный. Отправлять их будут группами. Предписывают мне отобрать для первого

этапа наиболее здоровых детей. С грудными детьми, «сосунками» и «ползунками», поедут матери. Я отобрал 40 детей, среди них пятнадцать грудных. Передаю список детей нач. санчасти, и мне объявляют, что я буду сопровождать этап с одной из медсестер детдома. Через пять дней меня и медсестру привезут обратно. Я опасался, что буду сопровождать все три—четыре этапа, и пытался избавиться от этих путешествий. Ведь тут остаются еще 80—90 детей, детская больница, — все это лежит на мне, и я один врач в детдоме. Мне ответили: об этом не беспокойтесь. Когда все было готово к этапу, я из осторожности спрашиваю нач. сано, раз я еду на пять дней, стоит ли взять все мои вещи, или лишь самое необходимое из моего более чем скудного туалета. Нач. мне ответил: «Лучше возьмите с собой все ваши вещи». Я понял... и сестре сказал, чтобы забрала с собой все свои «наряды»...

И тут пытались нас обмануть... Нач. сано сказал мне, что будет дан отдельный хороший «классный» вагон, питание для детей заготовлено «отличное». Сопровождают детей врач (я), медсестра и две няни. Сорок детей и пятнадцать «мамок». Настал день отправки детского этапа. Посадили нас всех на дно грузовика. Тут все налицо — дети, «мамки», мы, вещи и человек восемь конвоиров. Привезли нас на вокзал и погрузили в... «сталинско-стопыпинский» арестантский вагон с двумя крошечными окошечками по бокам, с решетками. Маленькие «вольные» советские граждане, детишки, оказались за решеткой, в «вагоне-зак»... Вместо обещанного «хорошего классного вагона» — классический арестантский вагон... Еще раз, и еще раз обман, ложь — «как положено». С питанием обстояло не лучше. Мамок с детками, нянь, сестру разместили в купе без окон. На дверях — решетки, но двери не закрыты. В двух концах узкого вагонного коридора стояло по конвоиру в полном вооружении — «охраняли» грудных младенцев. Меня поместили в отдель-

ное «купе» и заперли в нем крепко-накрепко на замок. Прошло часа четыре—пять, слышу шум — мамки кричат.

— Почему врача заперли?

Дети болеют — кого рвет, у кого кишечное расстройство, кто-то «горит» (высокая температура). Одна мамка кричит:

— Врача давайте! Ироды!

Ругань, матерная брань. Открыли двери моего «купе»:

— Иди, врач, к больным, — зовет солдат.

Посмотрел больных, сделал медсестре назначение, обошел и другие купе и возвращаюсь в свою конуру. А мамки в один голос стали кричать:

— Не смейте запирасть врача! Варвары, — и всю площадную матерную брань из всех купе... Некоторые мамки подступают к конвоиру, наступают на него. Он пожимает плечами, только и может сказать: «Так приказано». Мамки начали форменным образом скандалить, стучать ногами, руками, ругают всю:

— Ироды! Сволочи!

Пришел начальник этапа, лейтенант.

— В чем дело?

А мамки кричат, ругаются, проклинают. И офицер стал кричать, угрожать. Ему няня объясняет — есть много больных детей, а врач заперт, не может лечить детей, «не пускают его». Лейтенант зашел ко мне в кабинку. Я ему объясняю: в купе, где по 12—15 детей и по 5—6 мамок духота, дышать нечем. Нужно-го питания дети не получают, молока нет, и детишки болеют. И дозваться меня матери не могут — я заперт в купе под семью замками, не могу оказать помощи. Матери, естественно, волнуются, опасаясь за своих детей. Начальник дал распоряжение не закрывать меня на замок, и мамки ненадолго успокоились. Поездка продолжалась два дня, была очень тяжелой для детей и для всех

нас. Где-то нас высадили и привели в зону, за колючую проволоку. Это был мужской лагерь, неподалеку от поселка, куда нас везли. Часов пять нам пришлось сидеть в каком-то грязном сарае, пока прибыли грузовики, и нас повезли в лагерь Спасск. Затем стража пропустила нас в женскую зону Спасского лагеря, и мы вошли в «клуб», где и расположились на грязном полу. Я пошел искать начальство, чтобы устроить где-то детишек, среди которых было шесть—семь больных. Искал и никого не нашел, кроме надзирателей, которым никаких указаний не дано относительно этапа. Я вернулся в клуб, а за время моего отсутствия кое-что из моего багажа исчезло — воровок было много в лагере. Лишь к вечеру мне удалось поместить детишек в детдом, а мамок — в барак-общежитие. Мне дали временно место в одном из больничных барakov в мужской зоне, в комнате врачей. Обратно в К-ский лагерь меня непустили. Нач. санчасти заявил:

— Будете работать здесь врачом детдома.

Он возмущался, что прислали детей, не согласовав с ними, — у них негде поместить детей, и врачей нет. А когда я сказал, что еще придут 80—90 детей из карабассовского детдома, он пришел в бешенство и категорически заявил мне:

— Никуда вы не поедете. Здесь в детдоме работайте!

В детдоме в Спасском лагере действительно не было места. Детишки валялись в коридоре, передней, не хватало кроваток — детки лежали на полу. Через день — два было получено письмо — приказ от нач. Степлага «поместить, устроить детей, принять и следующие этапы — и... не смей разговаривать!»

Домик, в котором помещался детдом, огорожен колючей проволокой, как и все зоны, одна от другой. Женщины-мамки целыми днями торчат у проволоки, прорывают ее, пробираются в детдом, их гонят оттуда. Постоянно шум, скандалы. Пробираются и мужчины

через и сквозь проволоку, чтобы быть вместе с женщинами во дворе детдома. Прибегают надзиратели — до драки дело доходит. Через 5—6 дней прибыл второй этап детей, а еще через 4—5 и третий, последний. Хоть на улице держи детей. И мамки торчат целый день в детдоме. Ужасный беспорядок. Заведующая детдомом, врач — вольная, и приходить в детдом не хочет. Прибыл какой-то важный чин, полковник, с двумя офицерами. Вызывает меня, спрашивает, сколько детей, как кормят, почему так тесно, скученно, почему посторонние женщины тут. Я отвечаю, что не я заведу детдомом, что я лечащий врач, заключенный, и не в моих возможностях предоставить для детей лучшее и большее помещение, и я не в силах не пускать мамок сюда. Это дело лагерного начальства, нач. лагпункта, нач. санчасти. Он остался недоволен моим ответом и сказал:

— Все друг на друга валят.

Тогда я сказал ему:

— Я врач детдома, лечу детей, но я, гражданин полковник, заключенный...

Полковник ни слова не сказал, удалился. У калитки детдома он напал на женщин, стал их крепко ругать, угрожая, что они больше не увидят своих детей. Через недели две детдом перевели за зону, огородив участок колючей проволокой, и ни одного человека, кроме 30—35 кормящих матерей в зону детдома вахта не пропускала.

Было в детдоме около 200 детей до двухлетнего возраста. Один небольшой барак был приспособлен под больницу, и там была комнатуха, где я жил. Было в детдоме семь медсестер, из них пять «вольных», няни — все заключенные. Заболеваемость среди детей огромная. Я изнемогал от работы и ни одной ночи не спал нормально: 3—4 раза за ночь будят к больным детям. А днем одолевает начальство, то один придет, то другой, ходят, смотрят — все для видимости, конечно. Они

боялись ответственности — дети ведь «вольные»... Почему заболеваемость? Отчего ребенок умер? И когда я говорил им о недостаточности ухода: мало санитарок, нянь, сестер, отвратительное питание — начальник махал рукой и спешил удалиться...

Месяца четыре мне пришлось быть там врачом, а затем меня назначили заведующим первым терапевтическим отделением, и я поселился в комнате при больнице, избавившись от детдома.

ГЛАВА 11.

Спасск — большой лагерь. 13—14 тысяч заключенных, почти исключительно «политические» — 58-я статья. Две тысячи женщин. Среди заключенных пара сот «уголовных» — убийц, но подлежащих «спецлагу», и вот они среди нас. Это очень отягощает наше и без того ужасное положение в лагере. В отдельной зоне — больница: девять больничных барачков, до тысячи коек. Три терапевтических отделения, три туберкулезных, хирургическое, нервно-психическое, полустационар (инвалиды — калеки). При них амбулатория, лаборатория, рентгенкабинет, зубкабинет. Помимо того, больница в женской зоне с терапевтическим и нервно-психическим отделениями. В мужской зоне из 20 врачей — только пять вольных, в женской зоне четыре женщины-врача заключенные. Вольные врачи занимают командные посты, они «начальники» больницы, терапевтического, туберкулезного отделения. Они не лечат и вообще не работают, а только получают зарплату по повышенной ставке.

Ко мне в 1-е терапевтическое отделение назначили начальником молодого врача, только что окончившего Казанский мединститут. Когда он впервые заявился, то в моем кабинете при больнице сказал мне:

— Мне просто неудобно и неловко, что я начальник такого старого опытного врача. Я хочу учиться у вас и прошу вас, учите меня. И, пожалуйста, не называйте меня «гражданин начальник», а по имени, Николай Николаевич.

Обходительный молодой начальник быстро забыл эти слова. Он ни одного дня не «учился», не интересовался

больными и медициной, всего один—два раза за целый год был со мною на обходе больных, и то только в двух палатах (из восьми), забегал утром в отделение на 5—10 минут, а то и это забывал делать, и все часы «занятий», с 9 ч. утра до 1 ч. дня, сидел в кабинете начальника больницы и играл с ним в шахматы. А в 1953 году, во время пресловутого провокационного процесса евреев-врачей в Москве, этот молодой врач проявил себя самым гнусным образом.



Среди врачей в лагере Спасск шесть евреев — двое из Москвы, один из Минска, один из Киева, один с Кавказа и я. Вообще в лагере довольно много евреев-заключенных. Лишь только я прибыл и поселился в терапевтическом отделении, ко мне один за другим стали приходить врачи познакомиться — они слышали обо мне, т. к. из К-ра часто прибывали этапы в Спасск. Врач-хирург знал меня лично — мы некоторое время были в одной лагерной больнице и ежедневно виделись. Он бывший зам. министра здравоохранения СССР, б. председатель Российского Красного Креста и Полумесяца, член компартии с давних времен. Был арестован, получил десять лет ИТЛ. Главная вина его — связь с заграничным и международным Красным Крестом в Женеве, т. е., что было необходимым условием работы в Красном Кресте: розыски родных за границей, ответы на запросы из-за границы. Все это инкриминировано ему как контрреволюция. Среди обвинений в связи с иностранцами было и следующее курьезное обстоятельство. В качестве председателя Российского Кр. Креста он возглавлял делегацию в Англию. В Лондоне госпожа Черчилль (которая председательствовала в английском обществе Красного Креста) устроила у себя в доме обед в честь советской делегации и на память подарила д-ру К. свой портрет с обычной надписью „My dear Dr-“.

Этот портрет

г-жи Черчилль нашли у него при обыске-аресте. Ага! Мадам Черчилль..., „My dear” Вот, где «контрреволюция»..., «преклонение перед Западом»... И в результате — десять лет заключения в исправительно-трудовых лагерях... Мы работали с ним вместе в двух лагерях и были в приятельских отношениях. Он культурный, знающий врач, по природе несколько жесткий человек. В 1954 г. он за какой-то ответ на вопрос начальника лагеря, ответ, который не удовлетворил нач-ка, был снят с работы и отправлен на тяжелый физтруд, на каменный карьер.

Были среди заключенных два профессора медика (физиолог и бактериолог), были профессора и ученые в других отраслях науки (технологи, агрономы, историки и др.), немало русской интеллигенции. Большинство из них не принимало никакого участия ни в политической, ни в общественной жизни страны, и за что они осуждены, за что отбывают свои 10—15—20 лет в лагере — они не знают. Но таков сталинский курс, таков план, в этом отношении, в этой области перевыполненный на 500 процентов...

Среди заключенных — люди самых различных национальностей — украинцы, русские, грузины, армяне, белорусы, евреи, эстонцы, латыши, литовцы, азербайджанцы. Почти все говорят по-русски. Лишь среди больных казахов и узбеков попадались люди, которые ни слова не понимали по-русски. Они жили в аулах, среди своих, в степи, занимаясь скотоводством. Но... и туда, в глухую степь, в их аулы проникли Чека, ГПУ, НКВД*, МГБ и увозили в тюрьму людей ни за что ни про что — вы-

* Чека — Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, ГПУ — Государственное политическое управление, НКВД — Народный комиссариат внутренних дел — последовательное изменение наименований одного института, функции которого стало выполнять МГБ, а затем КГБ.

полняли и перевыполняли план... Были и немцы, жившие в Советском Союзе уже 6—7 лет, но не говорившие по-русски. Многие принципиально. Один полковник-немец мне открыто заявил: не хочу говорить на этом языке, не хочу понимать его... И таких было немало.

Евреи в лагере, советские евреи, приходили ко мне в больничную зону познакомиться, поговорить, узнать что-нибудь о сионизме. Было в лагере человек 10—12, отбывающих наказание за сионизм (сионисты из Москвы, Одессы), были еврейские писатели, поэты, журналисты, был и один из редакторов коммунистической газеты "Единение" (с ивритскими буквами), были два старых бундовских лидера. Однажды днем я стоял на крыльце своего больничного барака в Спасске. Ко мне подошел человек лет 45:

— Вы, д-р К.?

— Да.

Он протягивает мне руку и, волнуясь, дрожащим голосом говорит:

— Я пришел просить у вас прощения.

И, глотая слезы, замолчал.

Я удивлен, первый раз его вижу, за что он просит прощения? Незнакомец продолжает:

— Я один из тех многих комсомольцев, которые доносили на сионистов, выслеживали их, измышляли, лгали про них. Так нас учили, так нам велели. Ни один сионист по моей и моих товарищей вине не находится в лагерях, в ссылке. И вы вот в лагере за сионизм, за вашу честную работу для нашего народа. Нас уродовали, на всю жизнь искалечили нашу душу, нашу совесть. Ваши страдания на моей совести. Простите меня. Чем я могу служить вам? Скажите. Прошу вас. Все, что в моих силах, я сделаю для вас. Я теперь заведующий пошивочной мастерской. Что вам нужно, я все для вас сделаю. Простите меня.

И он, не дождавшись моего ответа, быстрыми шагами ушел, просто убежал, не хотел, видимо, чтобы я ви-

дел его слезы... Я с этим человеком (К.) потом часто встречался. Он бывал на всех наших еврейских «встречах» в тесном кругу, на беседах в моей комнате на еврейские, сионистские темы, на Азкара по Герцлю. Через года полтора он освободился из лагеря, кончил свой «срок». Ему дали высылку в Карагандинскую область. На воле, в ссылке, он работал в какой-то фотоартели. Когда я в конце 1956 г. прибыл в г. К. и поинтересовался его судьбой, то узнал от моего и его приятеля, что несколько месяцев тому назад этот еврей К. покончил жизнь самоубийством. Не выдержал — мучило прошлое, тяготило настоящее, не было веры в будущее...

Назначили нового начальника больницы майора медицинской службы Е-на. Плохой человек по натуре, грубый, с предубеждением к заключенным, старался ущемить их, где и как только можно. По вступлении в должность собрал всех врачей-заключенных и вольных и объявил, что заключенные врачи не должны, не смеют называть вольных врачей по имени-отчеству, как это было до сих пор, а только «гражданин начальник». Жена майора, тоже врач, нач. хирургического отделения, была, как мы все были уверены, еврейкой, но свое еврейское происхождение скрывала. Ее отношение к врачам, и вообще к заключенным, было даже хорошим, сочувственным. Однажды она привела ко мне в отделение женщину из-за зоны, «вольную», прося обследовать ее и назначить лечение. В разговоре, объясняя нервное состояние больной, она произнесла: «а бисл мешуге». Я ее тихо спросил:

— Какой вы национальности?

Она, хитро улыбаясь, ответила:

— Гречанка.

Я узнал в ней еврейку.

Среди евреев заключенных есть интересные люди. Вот врач-невропатолог М. Я. М-ский. Очень культурный, с большой эрудицией, старый революционер, соц.-дем. меньшевик, активный работник партии. Человек исключительной честности и кристальной чистоты. Десять

лет отбывал наказание в царской ссылке, а с 1924 года вот уже 27 лет, в советской тюрьме и лагерях. В 1924 г. как член «рабочей оппозиции» был арестован, отсидел срок, вышел на советскую «волю», был отправлен в ссылку и через месяц-другой снова арестован—новый срок. 8 лет ИТЛ, по тому же, первому делу. И так пять раз. Вместе с царской ссылкой он насчитывал в 1951 г. 37 (тридцать семь!) лет заключения (10 царских и 27 советских). «Контрреволюционер», «меньшевик», из «рабочей оппозиции»... — и Николай II — самодержец и диктаторы Ленин и Сталин одинаково не любят какой-либо оппозиции — «не смей свое суждение иметь!»...

Долгие годы он провел на севере, на суровой Колыме. Много перенес, перестрадал, но сохранил свою жизнеспособность, юмор, ясность ума, не потерял веры в лучшее будущее.

Приехал в Спасск нач. сано, созвал всех врачей в санчасть. В лагере очень большая заболеваемость, все больничные отделения переполнены, нет места для больных. И большая смертность — 8—10 человек в день умирают. Нач. сано, заслушав сообщение врачей о заболеваемости, спрашивает, почему такая большая смертность в лагере. Все молчат. Тогда д-р М. Я. М-ский говорит:

— Умирают, главным образом, дистрофики и туберкулезные. В лагерь приходят этапы из Колымы, где условия тяжелые, приезжают люди в состоянии тяжелой алиментарной дистрофии, с запущенными отечными формами болезни, — вот эти-то и умирают.

Нач. сано вскипел:

— Что ж, по-вашему, в лагерях Советского Союза плохое питание, заболеваемость на этой почве, и от этого умирают! В лагерях в Советском Союзе рацион питания вполне достаточный.

После этого «торжественного» заявления совещание было закрыто, врачам велели разойтись. А назавтра д-ра М. Я. М-го сняли с работы и выселили в общий барак с трехъярусными «вагонками», на которых помещались 900 за-

ключенных. Д-ру М. шел уже седьмой десяток и его нельзя было отправить на тяжелый физтруд. Когда открыли инвалидный барак, т. е. богадельню, д-р М. был помещен туда и валялся в духоте среди калек, парализованных и психических больных. Врач этого барака (русский) взял д-ра М., по собственной инициативе и с риском, к себе в комнату. Он пользовался советами д-ра М., консультировался с этим опытным и умным врачом. Я и д-р М-ский полюбили друг друга и остались большими друзьями на все годы в лагере и потом на воле, до последнего дня его жизни. Это был мой лучший друг. Начальство буквально преследовало д-ра М., причиняло ему всяческие неприятности. Открыли больничное отделение для нервных и психических больных, а врача-специалиста, кроме д-ра М., нет. Дали заведование этим отделением фельдшеру, но стали всячески передавать д-ру М-скому, чтобы он письменно или устно попросил дать ему работу врача. Д-р М. заявил:

— Нет! Я просить их не буду! Если я им нужен, пусть они меня просят.

Нач. санчасти, когда ему стал известен ответ д-ра М., сказал:

— Я покажу этому гордому еврею!

И вновь выселили д-ра М. в общий барак — казарму. Наше начальство было в большинстве своем антисемитское. Это чувствовали не только евреи-заключенные, но и вольные евреи, служащие МВД (офицеры). Таких было двое: начальник одного из лагпунктов и заместитель нач-ка санчасти. Последний искал случая встречи с евреями, любил говорить о еврействе, Израиле. Конечно, с глазу на глаз. Он часто бывал у меня, интересовался жизнью в Израиле и однажды задал мне вопрос:

— А меня впустят в Израиль, ведь я член ВКП(б)?

Он старался, чем мог, помочь евреям, облегчить им их участь. Его связи с евреями-заключенными стали известны (кто-то донес, мы подозревали в этом врача-азербайджанца). Этого офицера-еврея, старшего лейтенан-

та, вызвал к себе главный оперуполномоченный (МГБ) и предупредил его якобы по-товарищески (они однополчане). Но с тех пор к нему стали придирааться, перевели в другой лагерь, на другую работу. Такова была судьба и еврея — начальника лагпункта. Последнего оскорбил офицер-русский, оскорбил как еврея. Еврей резко реагировал на это оскорбление — дал русскому пощечину. Дело скандальное, но начальник лагеря замаял его. Русский офицер якобы был пьян и оскорбил другого офицера (еврея) в пьяном виде. Но еврея-офицера, начальника лагпункта, перевели в другой лагерь.

Евреи-заключенные в Сп. лагере в большинстве своем часто встречались, беседовали, были вместе. С 1952 г. в лагере появились еврейские писатели, журналисты. Появились и получившие 10—15 лет заключения за сионизм. Вот несколько сионистов из Москвы — трое в нашем лагере и двое в соседнем. Эти пятеро москвичей работали подпольно, а после 1948 г., образования еврейского государства и признания его Советским Союзом, они были организаторами торжественного богослужения в синагоге по случаю создания Государства Израиль и дарования победы евр. оружию. С троими из нашего лагеря я очень часто встречался. Один из них П-н, журналист, бывал у меня почти ежедневно (он жил в бараке, в 3-й зоне), рассказывал мне об их хлопотах по поводу торжественного богослужения в синагоге. Никто не решался дать разрешение на таковое. Дело дошло до самого Сталина. И «всемогущий» разрешил молитвенное собрание. За это был сделан *„מִי שְׂבַרֵךְ“* не только Президенту Государства Израиль, Хайму Вейцману, но и Иосифу Виссарионовичу Сталину. П-н рассказывал мне, как они лично обходили всех «видных» евреев, приглашая их на богослужение. Были они и у Ильи Эренбурга. Он удивился этому приглашению:

— При чем тут я? Мне нечего делать в синагоге. Что за выдумки?

Эренбург отказался прийти. Эти пять сионистов вско-

ре после богослужения были арестованы и получили каждый по 10—15 лет ИТЛ. Группа одесских сионистов не призналась на следствии, что они сионисты. Они работали в Одессе нелегально и на суде отрицали свою принадлежность к сионистскому движению.

Мы, сионисты, часто встречались в лагере, устраивали тайные собеседования, доклады. Среди евреев был в нашей больничной зоне один очень интересный человек — военком (военный комиссар) генерал, военный атташе при посольстве в Китае. Участник советской делегации в Америку, член редакции газеты «Красная звезда», зав. политотделом Красной Армии. Человек умный, очень способный, с большой эрудицией в разных областях знания. В годы «ежовщины» был арестован, будучи военкомом. Получил 10 лет заключения, отбыл этот срок, был выслан в Петропавловскую область, пожил в ссылке несколько месяцев и вновь был арестован. По тому же, первому, делу получил новые десять лет. В 1955 г. он по активировке больных, «не подлежащих лечению в лагерных условиях», был освобожден и вскоре реабилитирован, т. к. все «обвинения оказались ложными»... Это произошло после 19-ти лет заключения... Он был восстановлен в правах члена КПСС. Девятнадцать лет тюрьмы и лагеря были зачтены ему как членство в партии. Ему вернули ордена и медали, дали прежний оклад за два месяца. Бывший военком М. Д. К. поселился в Москве, в одной комнате общей квартиры, где жила его жена (тоже отбывавшая семь лет заключения...). Мы были друзьями. Он хороший еврей, знавший еврейство. С ним несколько лет мне пришлось быть в одном лагере. Он часто бывал у меня. Мы вместе гуляли по лагерному двору, беседовали, и я не забуду эти беседы. Он был другом и д-ра М. Я. М-го. М. Д., бывало, говорил мне:

— За что вы сидите? За что? За вашу работу для еврейского народа? За вашу борьбу за его права? За его возрождение? Я за дело сижу. Я заслужил это. Так мне

и надо! Я сам варил эту кашу (коммунизм), и я должен ее расхлебывать...

В 1951 г. мы собирались в комнате врача инвалидного барака (русского врача, с которым вместе жил д-р М. Я. М-ий). Собрались в вечер Иом-Кипур к Кол-Нидрей. Хазаном был живший в этом бараке раввин (из Белостока), заключенный, реб Аарон. Это было, конечно, тайное богослужение при закрытых дверях. Снаружи у дверей стоял наш «постовой», чтобы в случае чего тревожным стуком в дверь предупредить нас. Раввин реб Аарон (ныне в Израиле) молился — пел вполголоса традиционным мотивом Кол-Нидрей, и мы подпевали. Плакал раввин, и у нас всех стояли слезы в глазах.. Интересно, из кого состоял наш «миньян»: бывший военком и редактор «Красной звезды» М. Д. К., б. лидер соц.-дем. меньшевиков М. Я. М.; известный врач — невропатолог из Москвы Я. Г. Шп.; один из бывших видных бундовцев Г.; профессор-экономист Ленинградского университета коммунист П.; быв. антисионист К.; я и еще три еврея, обитатели этого барака. Смотрел я на всех этих собравшихся, на этих молящихся, и предо мною предстали марраны в Испании, эти тайные евреи, в подземелье скрытно отправлявшие законы евр. веры. Я смотрю на этих нелегально собравшихся, молящихся в советском лагере — военком, большевик, соц.-демократ, бундовец — и про себя шепчу:

ונסלל לכל עדת בני ישראל ולגד הגד בתוכם. כי לכל העם בשגגה

Наши тайные молитвы в Иом-Кипур повторялись ежегодно. Многие постились. Но не только мы отмечали Иом-Кипур. Группы заключенных польских, румынских евреев собирались в Рош-Гашана и Иом-Кипур на окраине лагеря, под горкой, и молились под открытым небом. Тайно, словно о чем-то беседовали. Я был в Рош-Гашана среди них на этом подпольном богослужении.

В лагере Сп. встречи еврейской интеллигенции стали более частыми после смерти Сталина, когда нас перестали запираť на ночь. Собирались для бесед, обсуждений,

лекций в моей комнате при больнице. Беседовали о сионизме, Государстве Израиль, о еврейской литературе, поэзии. Еврейский писатель Ицхак К-с читал на иврите и идиш Бялика, говорил о новоеврейской литературе. Главным докладчиком бывал я. В ноябре 1952 г. я прочитал в газете «Известия» заметку, набранную петитом, одну-две строчки где-то в конце четвертой страницы среди мелкой хроники. Заметка гласила: умер Президент Государства Израиль Х. Вейцман. Мне стало больно, сжалось сердце — Хаима Вейцмана нет. Вейцман — это великая эпоха в истории еврейского возрождения. Как на кинокадрах прошла предо мною личность, жизнь и борьба Хаима Вейцмана: 1903—1905 годы в Швейцарии, мои встречи с ним в Берне, Женеве, собрания, митинги, борьба за нашу идею. Я сидел в своей комнате со своей болью, с полными слез глазами. Прибежал еврейский журналист из другой зоны:

— Читали? Хаим Вейцман умер.

Мы оба плачем. Вот влетел в комнату еврей (Кацев) из Омска:

— Слышали? Хаим Вейцман умер!

Через час-другой в моей комнате было девять человек. Этот вечер мы посвятили Хаиму Вейцману. Сидели на койке, на подоконнике и беседовали, вспоминали, думали о нем. Я рассказал о молодом Хаиме Вейцмане моих студенческих лет, его борьбе за дело возрождения нашего народа. Наступили сумерки, темнеет. Надо расходиться по баракам — скоро поверка и бараки закрываются на ночь на семь замков и затворов. Я зажег керосинку, стоявшую на столе. Поднялись расходиться. И вдруг гомельский еврей, старичок, дрожащим голосом стал читать Кадись — **שְׁמַח וְשִׂמְחָה**. Мы все плакали.

Устраивали мы товарищеские ужины и праздники — Ханука, Пурим, Шавуот и др. — с речами на еврейские, соответствующие праздникам, темы. Сходились большей частью в моей или дежурной комнате 2-го туберкулезного отделения, где врач и старший фельдшер оба евреи.

У нас в лагере после смерти Сталина открылась платная столовая. И там мы, человек 15—20, неоднократно собирались в праздничные вечера за общей праздничной трапезой. Заведовал этой столовой еврей, заключенный, который широко шел нам навстречу и брал на себя все хлопоты по устройству праздничного стола. Кое-кто из евреев не участвовал в этих наших встречах в столовой, боясь заведующего, не доверяя ему — были слухи, что он «стукач» («Стукач» — означает доносчик, «стучать» — доносить).

В 1954 г., 20-го Тамуза, день пятидесятилетия со дня смерти Теодора Герцля, мы отметили в лагере Спасск особенно «торжественно». В 1 час дня, в обеденный перерыв для лагерного начальства, мы собрались в бытовом помещении, в помещении вещевого склада, на Азкара по Герцлю. Заведующий складом личных вещей заключенных был еврей из Западной Украины, тоже заключенный. Еврей из Гомеля, отбывающий десятилетний срок за еврейский национализм («контрреволюционная деятельность»), прочитал **“אל מלא רחמים”** и я произнес молитву «Кадиш». А в 2 часа дня мы, человек 20, собрались на обед, организованный московскими сионистами в 3-й зоне. Обед был устроен в комнате старосты барака, в котором жили эти сионисты и еще несколько евреев заключенных. Староста барака был украинец, с которым они жили дружно. Он предоставил им свою комнату якобы для празднования именин одного из товарищей. Мы заперлись изнутри, а у дверей снаружи поставили одного из нашей группы. «Постовые» менялись каждые полчаса, чтобы все могли присутствовать на торжестве. Перед началом обеда я сделал часовой доклад о Герцле. Некий видный австрийский журналист, еврей, социал-демократ, за обедом произнес горячую сионистскую речь, закончив ее словами: «Да здравствует Государство Израиль!» До пяти часов дня были мы все вместе в этот день 20-го Тамуза, день великого Герцля, вождя сионизма, пророка, провидевшего светлое

будущее еврейского народа. Знаменательным стал этот день для евреев-заключенных в жестоком советском лагере, в Карлаге, в степях Казахстана...

Все эти события происходили на фоне бесконечных скандалов, драк и даже убийств. Старший «опер» (МГБ, чекист) бьет заключенных. Однажды даже начальник санчасти ударил заключенного, но последний ответным ударом так толкнул начальника, что он полетел вниз, в канаву. Человек двенадцать арестовали, посадили в тюрьму... за неразрешенную переписку, за связь с жензоной.

А вот и совсем грандиозный скандал. Из мужской зоны темным вечером перебрались через высокую стену человек 15 мужчин. Конвоиры, стоявшие на вышках, спохватились поздно, когда «молодцы» были уже в жензоне. Забили тревогу. Молодцы заперлись в бараке, где проводили время со своими подружками. Прибыло начальство с нарядом солдат, потребовали выйти из барака, но мужчины заперлись там и не желали выходить. Вообще «блатных» начальство побаивалось — знали, что у них есть ножи, кинжалы, что они на все способны: «пырнуть» ножом, убить. «Блатные» пробыли в гостях у женщин до зари, а потом, сопровождаемые конвоем, вернулись в мужскую зону, но уже не тем коротким путем, каким пришли... Их всех отвели в тюрьму. Через пару недель несколько девушек из женской зоны перелезли ночью через стену, пробыли до рассвета в мужской зоне и благополучно через ту же стену вернулись к себе. После этого мудрое начальство провело над стеной электрический ток.

Много столкновений у начальства с религиозным элементом. Немало их арестовали и заперли в лагерь. Христианским сектам нет числа. «Субботники», адвентисты, «последователи Иеговы», какие-то «христоролюбые» и еще, и еще. Были и «христиане Сиона», которые кратко называли себя, или их называли, «сионисты». Их глава в нашем лагере однажды посетил меня и два часа до-

вольно примитивно и путано беседовал со мною о своей вере: только из Сиона изыдет истина, оттуда, где жил и учил Христос. Оттуда изыдет глас Божий, ученье Божье. В Сион вернется Израиль, и все человечество станет христианским, и евреи станут христианами, по вере и учению Бога — Иеговы.

Религиозных преследовали в лагере. Со скандалом, с борьбой снимали с них кресты. Они вытатуировали на груди большой крест, некоторые выстругивали себе деревянные и прятали их. Религиозные заключенные не ходили на работу в христианские праздники. Их сажали в лагерную тюрьму, на хлеб и воду. Был в амбулатории фельдшер, «субботник», человек в возрасте 40 лет. Отбывал десятилетний срок по 58-й статье за КРД (контрреволюционная деятельность). Долгое время ему удавалось сохранять бороду, потом ее с силой срезали, сбрили. Этот фельдшер по субботам не являлся на работу. Врач амбулатории, азербайджанец, мирился с этим, никому об этом не говорил. Но вот как раз в субботу пришел в амбулаторию начальник санчасти, ему нужен был этот фельдшер. Фельдшера нет, он сегодня не работает — суббота! Как так? Начальник пришел в ярость, стал кричать на врача, крыть «матерною» бранью фельдшера, Бога, религию, субботу — все и вся. Фельдшера посадили в тюрьму на десять суток. Отсидел положенный срок, и ему приказывают работать вновь в амбулатории. Он согласен, но... не по субботам. И его погнали на общие тяжелые работы.

С «субботниками», которых было немало в лагере, мне часто приходилось встречаться. Они придерживались законов Старого Завета и проживали главным образом в Сибири или в областях Центральной России. «Субботники» объявились там еще в 17—18 веке как «секта иудеиствующих» и сильно преследовались не только в царствование Александра I. Их преследовали и те, кто издавал декреты о свободе совести...

Как-то в моем больничном отделении в лагере ле-

жали два «субботника», они часто заходили ко мне в комнату поговорить о еврейской религии, они помнили наизусть некоторые еврейские субботние молитвы. Но о еврействе мало знали, да и не интересовались этим.

Тюрьма в лагере Спасск маленькая — обычный барак с шестью отдельными комнатами по четыре койки в каждой. А арестованных и кандидатов на тюремную койку немало. В 1954 г. выстроили специальную тюрьму — большое двухэтажное каменное здание с очень мрачными камерами. Заключенные называли эту новую тюрьму «Петропавловской». Как врачу мне часто приходилось посещать тюрьму. Со мною шел нач. санчасти или нач. больницы, а то и еще один вольный врач: я сам решать не могу, ведь я тоже заключенный и, несомненно, сочувствую несчастным жертвам насилия и произвола... Мое положение в данном случае тяжелое. Многие симулируют, притворяются больными, особенно, «блатные». Меня позвали к двум тяжелобольным и одному, объявившему голодовку. Мрачное каменное здание. Наружные ворота, внутренние ворота, повсюду вооруженные постовые. Узенькая дверь в здание тюрьмы. «Кабинет» начальника тюрьмы. В углу стоит стол с кое-какими медикаментами и перевязочным материалом. Десять заточенных в каземате объявились больными, требуют врача. Нач. тюрьмы разрешает привести только троих, остальные симулянты. Поднялся шум, стучат кулаками в дверь, ногами. К врачу! Болен! Я обращаюсь к нач. санчасти: надо посмотреть их, быть может, в самом деле больны. «Не либеральничай!» — прикрикнул на меня начальник (гуманное отношение к людям называется в Советском Союзе оскорбительным словом «либеральничать»...). Осматриваю больных. У одного инфекционная желтуха. (В Советском Союзе она называется «болезнью Боткина»), он уже 8—9 дней болен. Его и еще одного отправляют в больницу, в мое отделение. Лагерная тюрьма, поистине, ужасна. Каждый узник в «одиночке», крошечной кабинке. Низенькая клетка, дверь без оконца, тяжелая, массивная. Пища арестан-

ту подается через отверстие внизу, над полом. Это потому, якобы, что арестант через окошечко в двери выливал в лицо надзирателю суп, а то и кулаком в лицо его бил.

Прошло недели две, и начальники больницы и санчасти объявляют мне, что в моем отделении одна палата отводится под тюремную. Спрашивают, какую комнату я представляю для этой цели. Я стал возражать — у меня инфекционное отделение, остро-лихорадящие больные. Но вопрос уже решен: одну комнату превратили в тюрьму — двойная дверь с железной решеткой, железная решетка на окне, на дверях железный засов и два огромных замка. На завтра же привели из тюрьмы уголовника — убийцу П-ж, из лидеров украинцев в лагере, и заперли в эту комнату. Она находилась против моей, дверь против двери. Трижды в день надзиратель отпирал комнату для кормления больного и одновременно для осмотра его врачом и фельдшером. Арестанта П. перевели в больницу после требований его товарищей-украинцев, которые скандалили, бушевали, кричали, что он «умирает» в тюрьме, перевели больше от страха: боялись мести уголовных — долго ли быть подколотым?...

На второй день после помещения П. в больницу-тюрьму, нач. санчасти говорит:

— Ты его тут не задерживай, как спадет температура — выписывай, день-два и хватит.

А П. без конца стучит в дверь, в стену:

— Доктора давай, у меня температура 40, умираю.

Ему говорят в волчок, что дверь закрыта, ключей у нас нет, вот придет надзиратель, откроет. Но П. знать ничего не хочет — открывай дверь... Послали в комендатуру за дежурным надзирателем. Пришел надзиратель. Конечно, все это выдумки, у П. нормальная температура. Такие «концерты» П. устраивает несколько раз в день. Нач. санчасти каждый день «интересуется» состоянием здоровья П. и с упреком спрашивает:

— Почему не выписываешь?

Берет историю болезни. Я говорю ему:

— На днях, полагаю П. сможет выйти из больницы.

А ко мне тем временем явились двое из главарей уголовных, украинцы, вызвали из барака, усадили меня на скамейку в середине между ними. И один из них сказал мне:

— Мы к тебе, врач, вот по какому делу — не выпи-сывай так скоро П. Пусть еще пару недель побудет в больнице. Так надо. Понял?

Я объясняю, что П. фактически не болен, и началь-ство каждый день проверяет состояние его здоровья, требует выписать его. Что я могу сделать, я такой же за-ключенный, как вы. А они мне в ответ:

— Мы пришли к тебе не от себя лично, а от ста украинцев. Сделай все возможное, держи его подольше. Так надо...

Игра продолжается. Больной П. уверяет, что у него по ночам высокая температура, он «горит», и все у него болит. Нач. санчасти дает приказ выписать П. из больни-цы. Я говорю о жалобах больного и необходимости сде-лать еще два анализа. Надо подождать с выпиской пару дней. Нач. санчасти приказывает:

— Сегодня же выпиши!

На это я сказал ему:

— В таком случае, я прошу вас записать в историю болезни П., что он выписывается по вашему распоря-жению.

Нач. санчасти ни слова не сказал и, глядя на меня, удалился. Я продержал больного П. еще с неделю. Это нервировало меня, причиняло беспокойство. Но иначе нельзя в советском лагере...

Однажды прошел по лагерю слух, что все дела за-ключенных пересматриваются. Все стали чего-то ждать, надеяться. Ведь 90—95 процентов заключенных — ни в чем неповинные люди. Каждый думает, что его «дело» пересматривается, установят его невиновность и освобо-дят. Вызывают в эти дни и меня в МГБ. «Опер», дейст-

вительно, начинает почти с азов — где арестован, по какой статье, где жил, где работал, где учился, в каких политических партиях принимал участие. Короче, все с начала. Держал меня часа четыре. Что такое? Для чего? После того, как я уже отбываю наказание семь лет?! Вызывают меня еще и еще. Знаю ли я Б-ча? Какого? Где? В Харбине. А Б-чей там было много. И идет допрос о Б., одном, другом. Я их не знаю.

— Вы Б-ча И. хорошо знаете, это ваш друг, вместе работали.

— Этого знаю, очень приличный человек, коммерсант. Оперу надо знать об его «антисоветской работе». Но об этом мне ничего неизвестно, вероятно, таковой и не было, — говорю я.

Опер неудовлетворен, но допрос заканчивает. Записал в протокол, что мне об этом ничего неизвестно. В другой раз спрашивает о С. А. К., его контрреволюционной работе в Брит-Трумпельдор, «диверсионной», «шпионской» работе. И опять мне ничего неизвестно об этом, ибо таковой не было. Записал точно мой ответ — и допрос окончен. Почему вдруг через 6—7 лет вспомнили о Б., о К. и опять о Брит-Трумпельдоре? Неужели эти люди арестованы? А вот совсем какой-то странный, дикий допрос.

— Знаете Зубова?

— Какого Зубова?

— Зубова Константина. Помните по Харбину такого?

— Нет, среди моих знакомых такого не было, — отвечаю я.

— Артиста Зубова, который жил в Х-не? — настаивает «опер».

— Так это известный Зубов, который теперь в Москве, директор Малого театра? — удивленно спрашиваю я.

— Он самый, — кивает головой опер.

Не понимаю. Зубов Константин в Москве, он директор знаменитого Малого театра. Лишь на днях я читал в «Правде» о выступлении Зубова с приветствием

от имени Малого театра в адрес Большого Государственного театра, справлявшего свой, кажется, 75-летний юбилей.

— Что вы знаете о Зубове Константине? — спрашивает «опер».

— О Зубове? Я о нем ничего не знаю.

— Но ведь он жил в Харбине, и вы знали его там.

— Я неоднократно видел Зубова на сцене, восхищался его игрой, — сказал я. — Он большой артист, очень талантливый. Это было 25—30 лет тому назад. Приехал он из Советского Союза и уехал в Советский Союз.

— А в каких пьесах вы его видели?

— Во многих. Помню его в пьесе Л. Толстого «Живой труп», помню в роли гувернера в одноименной пьесе. Выступал он и в пьесах Островского.

Я умышленно не назвал пьесы Макса Нордау «Доктор Кон», в которой Зубов играл доктора Кона. Это было в 1923 г. на траурной ассамблее памяти Макса Нордау, устроенной Харбинской сионистской организацией в театре Данилова.

Следовательно не унимается:

— В каких антисоветских пьесах выступал Зубов?

— Я его не видел в антисоветских пьесах, и таких не ставили ни в театре Желсоба, ни Комсоба.

— А где вы с Зубовым встречались?

— Я с ним никогда не встречался, я видел его только на сцене, — ответил я. Так оно и в действительности было.

— Вы говорите неправду. Зубов бывал в эмигрантских домах, у буржуев.

— Мне это не известно. Я видел Зубова только в театре — он был на сцене, а я в зрительном зале, я восхищался его игрой, аплодировал ему — вот все мое знакомство с ним.

На этом допрос закончился. Я подписал протокол. Подумалось: дела Зубова неважные — он или арестован, или накануне ареста. В скором времени в «Изве-

ствиях» я прочел о смерти К. Зубова. Не знаю, что спасло его от тюрьмы и лагеря ИТЛ. Быть может, смерть?...

В Спасском лагере строгий режим стал еще строже. Каждые две недели обыски в бараках и в больнице. Роются, ищут. Особенно перед праздниками — Великого Октября (7 ноября) и 1-го Мая. Ищут оружие, ножи, железо. Ломом пробивали в нескольких местах пол в каждой комнате. Перед праздниками забирают каждое стеклышко, бутылку, самодельный перочинный нож и вилку, если найдут таковую. Ножей вообще нет в лагере, а в тюрьме и вилки нет — для всякого рода пищи есть только ложка — для супа, рыбы, мяса. Обыски по всякому поводу и без повода. При одном из обысков забрали у врачей книги, медицинские учебники. Почему? После конфликта с маршалом Тито стали пересматривать все книги и брошюры и замазали в них тушью имя Тито, а некоторые страницы, где упоминается Тито, просто вырывались. В библиотеке КВЧ (культурно-воспитательная часть), довольно бедной, зачеркивались, замазывались тушью фамилии авторов, если они были арестованы. Так в библиотеке КВЧ был труд проф. Плетнева о болезнях сердца. На первой странице, обложке, где стояло: «проф. Плетнев. Болезни сердца», осталось только слово «проф», а имя Плетнева густо замазано тушью. Плетнев — известный профессор, терапевт, кардиолог — был арестован и, следовательно, вычеркнут из жизни, и труд этот не его, и он, Плетнев, не существует, попав в мир отверженных. Профессоров, ученых было в тюрьмах и лагерях немало...

Я еще в лагере К. принимал вновь прибывший женский этап. У одной из женщин, лет сорока, высокая температура. Направляю ее в больницу. У нее воспаление легких. Она старшая медсестра московской хирургической клиники знаменитого профессора, выдающегося оператора Ю-на. Рассказывает, что профессор Ю. оперировал одного из высших чинов английского посольства в Мо-

ске. В знак благодарности был устроен в честь Ю. в здании английского посольства ужин-банкет. Была приглашена и старшая операционная медсестра. В 1949 г. проф. Ю. был арестован и получил 10 лет ИТЛ (за присутствие на банкете — связь с иностранцами...). А через три дня после ареста проф. Ю. была арестована и старшая медсестра. В 1954 г. (после смерти Сталина) проф. Ю. был освобожден, реабилитирован. Но он вскоре умер в Москве. Пять лет тюрьмы и лагеря, видимо, сказались на его здоровье.

Вновь кровавое событие. Зарезали старосту одного из барakov. Утром нашли его убитым в его кабинке. Отомстили ему за его отношение к заключенным. Говорили, что он «стукач». И в моем больничном отделении был случай убийства. Было это днем, в воскресный день. Начальства в лагере нет, кроме дежурного офицера и надзирателей в комендатуре. Мы отдыхали у себя в комнате, я и мой сосед, врач-ординатор, бывший министр здравоохранения Армянской ССР, С. М. Л., старый член ВКП(б), человек в возрасте 77 лет. Отбывает второй срок, в заключении уже 15 лет. Он министр здравоохранения, и зам. министра Дж., работавший тоже врачом в этом лагере, были арестованы и приговорены каждый к 10 годам лишения свободы. Отсидел Л. шесть лет и за неосторожное слово (контрреволюция!) был вновь предан суду и осужден на десять лет. Шесть «отсиженных» лет не считаются, и он начал свой новый десятилетний срок, который окончил в 1953 г. Лишь на «воле», через полгода, был полностью реабилитирован, восстановлен в правах, получил на руки бумагу, что он неправильно был осужден. Это — после 16-ти лет тюрьмы и лагеря...

Вот с этим С. М. мы в воскресенье после обеда отдыхали в своей комнате. И вдруг — неистовые, душевраздирающие крики за стеной, какая-то возня. Мы вскочили. Д-р Л. говорит:

— Это в моей палате.

Он ринулся в палату, отделенную маленьким коридорчиком и дверью. Д-р Л. пытается открыть дверь, но кто-то держит ее с другой стороны. Ему удалось все же слегка приоткрыть дверь — какой-то человек грозит ему большим окровавленным ножом:

— Уходи лучше, а не то...

А произошло следующее В два часа дня в больницу явились двое мужчин и направились из передней внутрь, в отделение. Дежурный, старичок-грек, находившийся в передней (отделение мое было инфекционное и посетители туда без разрешения врачей не допускались), обращается к ним:

— Куда вы?

Они его оттолкнули и пошли дальше. Дежурный пытался загородить им дорогу:

— В отделение нельзя!

В ответ на это у одного из них сверкнул нож в руке, и они свободно прошли в коридор, а оттуда в 8-ю палату. Адрес был им известен. Остановившись в дверях палаты, один из них спросил громко:

— А где тут Л.?

Сам Л. высунул голову из-под одеяла. К нему подошел один из «гостей» и стал, ни слова не говоря, наносить ему удары ножом, один за другим — в грудь, живот. А другой, товарищ его, тем временем стоял у двери в коридор, чтобы никого не впускать. Больной Л. кричал диким голосом. Они сбросили его с кровати, потащили по полу в коридорчик, и там продолжали наносить ему ножами удары. Окончив свое кровавое дело, они вышли в коридор, в руке у каждого из них было по обнаженному окровавленному ножу. Коридор был полон народу — больные, фельдшера, санитары. Все замерли от ужаса и страха. Они прошли мимо нас всех и вышли во двор. Во дворе повстречались им надзиратели, дежурный офицер, и все бежали от них, прятались. Кому охота получить удар ножом?! Один из убийц куда-то скрылся, а другой пошел в комендатуру и заявил, что

вот этим ножом он убил в больничном отделении №1 находящегося там Л.

На больных в моем отделении этот случай подействовал ужасно, многие реагировали на это почти сумасшествием. Когда убийцы ушли, мы зашли в коридорчик: на полу лежал Л. в луже крови. Он был еще жив, дышал. Его тотчас же на носилках унесли в хирургическое отделение. Попытались спасти, готовились к операции, но он через минут десять умер на столе в перевязочной. Началось следствие. Каждый день приходили к нам, допрашивали каждого из нас. Врача Л. и швейцара-грека таскали без конца к судебным властям, к прокурору. Они фигурировали и как свидетели на суде. Добивались, кто был второй, сообщник убийства. Так и не узнали. Арестовывали то одного, то другого — и все не тех. Убийца (один) был приговорен к 25 годам заключения. Этот молодой человек, лет 35, имел уже два срока — по 25 лет каждый. И теперь, в общей сумме, 75 лет. Но отсидеть он должен каждый раз по новому делу лишь 25 лет. Однако он не унывал. Убил он Л. по приговору, вынесенному группой или партией. Убитый был членом их украинской лагерной организации. Он мешал им, добиваясь верховодства. Главари организации все были украинцы из Западной Украины, а Л. якобы поляк. Главари вынесли постановление ликвидировать его. Жребий пал на этих двух. Они привели приговор в исполнение.

Из моего отделения однажды под вечер бежал больной. Бежал в одном белье, босиком. Успел пробраться через колючую проволоку (мой больничный барак стоял возле забора из колючей проволоки). Собака на длинной цепи по ту сторону проволоки бросилась на него, схватила, стала рвать на нем белье. Конвоир с ближайшей вышки (весь лагерь в вышках, каждые 10—15 шагов — вышка) забил тревогу. Больного привели ко мне в отделение удостоверять его личность. Его крепко держат два солдата, ведут в тюрьму. Тем временем заявилось человек пять начальников — офицеров. Я ска-

зал, что этот эстонец тяжелый легочный больной, у него все время высокая температура. Он лежит в отдельной палате в связи с его тяжелым состоянием. Несомненно, это не умышленный побег, а болезненное явление, быть может, в бреду. Я прошу не отправлять его в тюрьму. Он тяжелобольной, нуждается в лечении, уходе (побег из мест заключения карается очень тяжело — одна из самых суровых статей — кажется, 14-й пункт 58-й статьи — 25 лет заключения). Больного эстонца оставили пока у меня в отделении в отдельной комнате с отдельным санитаром. Он болел еще месяца 1,5-2. По выздоровлении был переведен в 3-ю зону, и, как мне передали, был немедленно отправлен якобы в этап.



Наш лагерь выделен в отдельное лаготделение — «Луглаг». Новый начальник лаготделения — генерал, новая начальница сано — врач-капитан и т. д. Нач. сано решила поднять квалификацию врачей. Заболеваемость в лагере большая, смертность тоже немалая. Много туберкулезных больных, много дистрофиков, хроников, немало случаев рака легких. Все смертные случаи подлежат патолого-анатомическому вскрытию. Каждый день 4—5 вскрытий. Все врачи обязаны присутствовать. И обнаруживается большое расхождение в диагнозах — амбулаторных, клинических и патолого-анатомических. Мне предложили сделать доклад о расхождении в диагнозах и их причинах. Я обследовал около тысячи историй болезней и около 300 протоколов патолого-анатомических вскрытий. Мой доклад-анализ на эту тему продолжался три часа. Раз в две недели, по субботам, читались лекции для врачей, заключенных и больных. На лекциях бывали 40—45 врачей. Главными и самыми частыми лекторами были профессор физиологии В. (заключенный), хирург (заключенный) и я. Первую лекцию читал я об инфекционной желтухе (у нас, и вообще в Советском

Союзе уже год-полтора была эпидемия инфекционной желтухи). Моя лекция была богата статистическими данными, которые изображались на диаграммах, специально начерченных к лекции. Лекция на эту «злободневную» тему вызвала большой интерес. Председательствовала на лекции нач. сано, капитан П-ва. Лекцией почему-то заинтересовалось и высшее начальство, не медицинское. Прошло месяца четыре после этой лекции, и в мое отделение явились четыре офицера — нач. лаготделения, нач. медчасти Караганды, нач. больницы и нач. санчасти, вызывают меня в отдельную комнату и спрашивают:

— У вас имеется ваша лекция о желтухе?

Я понял, что тут что-то неладное, чего-то испугались — видимо, цифр. Я сказал, что лекция не была у меня полностью написана, а лишь отдельные заметки, начерно набросанные.

— Вы не можете дать их мне? — спрашивает полковник Б.

— Если я найду их, — ответил я.

Пошел к себе в комнату, взял начерно набросанную лекцию, листов 14—15, и передал их начальникам.

— Это все? — спросил полковник.

— Все, что у меня сохранилось, — ответил я.

— А где диаграммы заболеваемости, смертности?

— Не знаю, куда девал их завхоз после лекции. У меня их нет.

Завхоз позаботился о диаграммах, раздобыл какого-то чертежника, который разрисовал их в красках, и после лекции снял их со стены и унес. Позднее зам. начальника санчасти, ст. лейтенант, еврей, которому чудом удалось вырваться из НКВД, рассказал мне, что начальство боялось, как бы цифры заболеваемости, смертности не проникли куда не следует. Пусть болеют, пусть мрут, но никто об этом не должен знать, не смеет знать... Тот же полковник, увидя на дверях надпись «III-е терапевтическое отделение. Дистрофическое», поднял шум. Кто сделал эту надпись «дистрофическое»? Что это за

выдумки! Снять! У нас нет алиментарной дистрофии... Нет ее...

В лагере много интересных людей, культурных, ученых. Немало и чудаков, поступки которых трудно понять. Вот еврей Т-р, бывший активный большевик, член РКП, в течение многих лет занимал видные посты в партии. Человек образованный, с большой эрудицией. Хорошо знаком и с еврейским учением. Ему лет 50. И этот человек вдруг становится религиозным, верующим христианином. Какой-то православный священник (поп), тоже заключенный, переводит Т-ра по его просьбе в христианскую веру, в православие. И Т-р молится, крестится, верит в сына Божьего Иесуса Христа, Новый завет, евангелие. Когда я впервые встретился в лагере К. с Т-ром, он был заведующим лагерной библиотекой КВЧ и к тому времени принял православие. Через полгода он увлекся католичеством и перешел в католическую веру. Это было уже в лагере Сп. Мои приятели, д-р М. и М. Д. К., жили в полустационаре, где жил и Т-р. И мне приходилось, невольно, встречаться с Т-ром. Он интересный собеседник, хорошо знает литературу, философию. И при этом — религиозный католик. Молится утром, вечером. Он заболел и лежал в больнице, и когда наступало время молитвы, он вставал в уголок и молился. И если другие больные в палате громко разговаривали в это время, шумели, он обращался к ним с криком:

— Не мешайте мне общаться с моим Богом, Иесусом Христом.

В 1955 году он был освобожден из лагеря, жил где-то под Москвой, нелегально. Хлопотал о реабилитации. Не знаю, возможно, он реабилитирован и вновь в рядах компартии, борется с религией, как он это делал до ареста. Таких искалеченных душ было в лагере немало. Вот в инвалидном бараке, в комнате для нервно-психических больных некий раввин Р. из Белостока. Сравнительно молодой человек, лет 35-ти. Бежал от Гитлера, попал в руки советских — шпион! 10 лет заключения

в лагерях. Молодой раввин называет себя Аарон бен Ципа, — Аарон сын Ципы (не по отцу, а по имени матери, Ципы). По-русски говорит плохо. Говорит со всеми на идиш. Каждый свой разговор, при прощании, или свою записку он обязательно кончает словом **תחת** (эхад, един), т. е. Бог един. Раввин этот почти всегда экзальтирован, в возбужденном состоянии. Говорит громко, горячо. Он не может спокойно видеть начальников — офицеров МВД. Как только видит проходящего мимо офицера, он кричит во весь голос:

— Сталин подлец, Сталин — мерзавец. Дайте свободу русский народа...

Потом, когда выстроили отдельный барак для нервно-психических больных, он был помещен туда в одну из общих палат. Молился он, конечно, три раза в день. Становился в углу барака и молился во весь голос, буквально кричал. Никакие уговоры не помогали. Раввин Р. заболел и был помещен в мое отделение. Он лежал в палате, где было еще несколько больных. Больные протестовали против его слишком громкой, экстатической молитвы, которая очень нарушала их покой. Он шел в коридор и молился там. Все стали протестовать, жаловались мне на него. Я предоставил ему мою комнату для молитвы. Убедить его молиться тихо мне не удалось — он не верил, видимо, что молитва **שכללש** доходит до небес, до Бога... С этим раввином мне пришлось быть 3—4 года в одном лагере, иметь от начальства немало неприятностей из-за него, как еврея, как религиозного еврея.

«Блатные», называющие себя «настоящими советскими человеками», творят в лагере невероятное. Ведет меня нач. больницы в тюрьму — там есть больные. Когда врач приходит, больных оказывается много, очень много — чуть ли не все арестанты больные. Никто не хочет находиться в этих ужасных тюремных условиях.

— У меня желтуха, — заявляет один и показывает мне на свои глаза.

Да, действительно, на соединительной оболочке склер окраска лимонно-желтого тона. Больше нигде желтушной окраски нет — ни на твердом небе, ни на коже. Вижу, что это не инфекционная желтуха, но принимаю этого «больного» в больницу. Пролёжал он у меня в больнице около двух недель, не хотел уходить, и не просил, а требовал, чтобы его держали в больнице. И он не один, за ним сотня его уголовных друзей, «блатных», которая то и дело угрожает лагерю террором. Откуда же у него была желтая окраска глаз? Перед уходом из больницы он рассказал, как они делают себе «желтуху». Они ловят в тюрьме мышей (а мышей там немало), и желчь мыши вкапывают себе в глаза. Так они делают каждый день, пока придет врач и начальство, и — пожалуйте: «у меня желтуха». А тогда была довольно большая эпидемия инфекционной желтухи.

У меня в отделении лежал больной с желудочным заболеванием, «блатной», уголовный преступник. Лежит неделю, другую, уходить из больницы не хочет. А он уже подлежит выписке. Он стал жаловаться на боли в животе, болезненное мочеиспускание и т. п. Назначаю анализы крови, мочи. Больной этот украл (а может быть и «сговорился») из желтушной палаты приготовленную для анализа мочу больного инфекционной желтухой и дал ее санитару, как свою. Анализ сделан — есть «желтуха». А болезни нет. Пока что он еще неделю пробыл в больнице. А потом решил заболеть желтухой по-настоящему, — выпил мочу желтушного больного (он слышал, видимо, об этом опыте) и заболел инфекционной желтухой. И еще 1,5 месяца лежал в больнице.

В лагере много заключенных немцев. Почти все они военнопленные, которым советские приписали преступления, уже совершенные якобы в лагере военнопленных в СССР. Разные обвинения и разные сроки, от 10 до 25 лет. Главным образом, офицеры. Был и врач-рентгенолог среди них. Лежит у меня в одной из «желтушных» палат немец, полковник. По секрету мне передает мой

санитар-поляк, что полковник этот был начальником газкамеры, в которой душили людей. Я не сомневался, что среди немцев-заключенных немало нацистов, и активных нацистов. Но что поделаешь И ты, и они в лагере, в заключении. Я не встречаюсь ни с кем из них, кроме врача-рентгенолога (д-р М-ц), и то по делам больничным. Между прочим, врач этот очень приличный человек и, быть может, сам жертва нацизма. Но знать, что вот тот душил в газкамере тысячи и тысячи евреев, твоих братьев... Боже мой! Как мне подходить к нему, как смотреть на него, видеть его, заботиться о его здоровье, лечить его!.. Это, поистине, трагедия. Но... я врач, и в советском заточении... Почти вся больница знала чуть не в тот же день, что вот этот немец — бывший начальник газкамеры, душитель, нацист. Но это мало кого волновало. Смотрели на него с любопытством, а, может быть, кое-кто и восхищался им — «герой»!

Сидел я вечером в своей комнатке и при тусклом свете керосиновой лампы читал медицинский журнал. Осторожный стук в дверь.

— Можно?

— Войдите.

Вошел больной и дрожащим голосом сказал:

— Я прошу вас, доктор, как еврей еврея. Сжальтесь надо мною...

И заплакал. Я усаживаю его, успокаиваю.

— В чем дело? Что случилось?

— Я измучился, доктор. Я ночи не сплю. Я сойду с ума. Я прошу вас, доктор, переведите меня. Я не могу быть с ним в одной палате, не могу дышать одним воздухом с ним, не могу видеть его, слышать его голос. Не могу, доктор! Он в газовой камере душил, мучил, убивал наших братьев. Пожалейте меня, доктор!

До поздней ночи мы сидели с ним при маленьком огоньке керосинки. Он поведал о страданиях его местечка в Белоруссии, о кровавом аде, о согнях наших братьев, заживо погребенных гитлеровцами. Ему удалось бе-

жать какими-то закоулками, скрываться в лесу. Он говорил и плакал. Плакал и я. И долго мы сидели оба, и молчали... Слезы стояли в глазах. Я перевел его в другую палату, где были еще два еврея, и где не было немцев. Я несколько раз приглашал его к себе в комнату, на чай. Мы беседовали. Он избегал вспоминать пережитое, выстраданное. Еще с год он был в этом лагере, в 3-й зоне. Я несколько раз встречался с ним. Он всегда был в одиночестве, словно, сторонился людей. И всегда какой-то мрачный, в состоянии депрессии.

Такие люди большей частью гибли в лагерях. Я видел не один случай, когда люди, впавшие в отчаяние, потерявшие надежду на свободу, считавшие свою жизнь законченной, гибли в лагере, умирали почти накануне окончания срока заключения, буквально накануне освобождения. Нервы были недостаточно крепки, чтобы перенести все ужасы. И с другой стороны, я смотрел на многих бодрых, живых, трудоспособных людей, и думал: как они могут переносить столько бед и страданий!... Словно, все эти муки и страдания, физические и нравственные, все эти лишения и беды закаляли их организм, их дух. Особенно отраднo мне было видеть это среди многих евреев-заключенных: терпение, силу духа, веру и надежду на лучшее, волю к жизни. Видимо, еврейские нервы крепче, они более выдерживают потрясения и испытания. Еврейский народный организм закален в горниле бед и страданий. Он иммунизирован против самых тяжелых переживаний.

В лагере немало тех, кто не только по принуждению, но и добровольно сотрудничал с Гитлером. Вот молодой врач советской формации. Ему лет под 30. Малокультурный, даже слабо грамотный д-р П-в, русский. Он осужден на 25 лет заключения. Обвинительный акт содержит много пунктов. Среди них: помогал немцам в г. Г. снести памятник Ленину. Давал немцам адреса скрывающихся евреев, которые были схвачены и расстреляны. Д-р П-в пришел к нам, собственно, к моему сосе-

ду по комнате старику д-ру Л-ву с просьбой помочь ему составить прошение Генеральному прокурору СССР об освобождении, о пересмотре его дела. Познакомившись с обвинительным актом, д-р Л-в, армянин, стал кричать на д-ра П.

— Мало тебе дали 25 лет, тебя убить надо, расстрелять. Ты выдавал евреев, давал фашистам их адреса, ты убивал евреев, уходи, сволочь, видеть тебя не хочу.

Вот другой, украинец. Он болен, хроник, находится в инвалидном полустационаре. Он вез на своей лошади трех гитлеровцев к месту расстрела евреев, которых он передал им. Как хронический больной, он представлен к активировке, т. е. к освобождению из места заключения. Но комиссия не признала возможным освободить его «ввиду тяжести преступления». По «тяжести преступления» было, правда, отказано и многим ни в чем невиновным...

В лагере нередки случаи голодовки. Вдруг кто-либо из заключенных начинает голодать, отказывается от всякой пищи, два—три дня, а то и больше. Начальство такие случаи не любит. «У нас» не может быть голодовок! Да и помимо того, голодовка — это протест. А какой может быть протест в СССР? При диктатуре и самодержавном Сталине! После трех—четырех дней голодовки, голодающих приводят в больницу, в мое отделение, чтобы искусственно кормить их по положенному рациону. Пока не образумятся. А после этого — в тюрьму. Редко кто из голодающих говорит о настоящей причине своей голодовки (боится?), а только скажет: надоело все... А, может быть, это и есть настоящая причина... Приходится кормить их искусственно. По первоначально каждый протестует против этого метода кормления, сопротивляется, называет это насилием, ругаясь. Со многими приходится бороться — чуть ли не шесть человек держат его во время кормления. В конце концов они сдают позиции в бессилии своем и начинают кушать.

В общем, это, действительно, люди, которым все

противно. Надоело жить. Но вот как-то привели ко мне в больницу из 3-й зоны заключенного И-ва, лет 60-ти. Сам начальник санчасти привел. Семь дней якобы голодает этот И-ов. Почетный старик с благообразной седой бородой. Говорю ему:

— Я вынужден кормить вас искусственно. Тягостная процедура и для вас и для меня. Может быть, вы будете кушать нормальным путем и избегнете неприятностей?

— Нет, не буду. И кормить себя искусственно не дам.

Я спрашиваю:

— Что за причина побудила вас начать голодовку?

— Очень важное обстоятельство, но не могу сказать, доктор, при всем моем уважении к вам, — ответил старик.

После первого искусственного питания, после усиленной борьбы с ним, он пожелал мне кое-что сообщить. Он готов прекратить сопротивление, если ему дадут возможность рассказать о причине голодовки коллегии начальствующих лиц в составе начальника лагеря, начальника лагпункта, на-ка санчасти, начальника спецчасти, нач-ка больницы и обязательно в моем присутствии. Что за наивность! — подумал я. Но в тот же день передал это дикое желание голодающего начальнику больницы. И на завтра в мое отделение явились пять начальников: четыре медицинских и оперуполномоченный (без этого чекиста нельзя...). Явились выслушать заявление И-ва о причине его голодовки. Но И-ов отказался говорить, если меня при этом не будет. Не знаю, зачем ему понадобился я — как заключенный, как врач, как свидетель? Меня вызвали, и я явился. И тогда голодающий И-в, встав, торжественно произнес:

— Умер величайший гений человечества вождь мирового пролетариата Иосиф Виссарионович Сталин (это было дней через 8—9 после смерти Сталина). Весь мир оплакивает этого гения. Чем я могу проявить свою печаль по Иосифу Виссарионовичу? Я в лагере, у меня ни-

чего нет. Я, бедный заключенный, уже 8 дней голодаю. И это мой траур в честь великого Сталина. Вот причина моей голодовки.

Один из начальников сказал:

— Весь Советский Союз в глубоком трауре, для всех и каждого эта смерть — горе, однако никто же не объявил голодовку в знак траура.

— А мой протест против смерти такого великого человека, как Иосиф Виссарионович, — это голод, лишить себя того, без чего человек жить не может, — сказал И-ов.

У всех на лицах была улыбка. Боялись смотреть друг на друга, чтобы не расхохотаться. И И-в произнес:

— Теперь, когда я рассказал вам, граждане начальники, причину моей голодовки и вы ее знаете, я кончаю голодать...

— Вы можете идти, И-ов! — сказал оперуполномоченный.

Каждый спешил выйти из комнаты. Когда помощник санчасти (еврей) зашел ко мне в комнату, то стал громко и крепко хохотать, словно разрядился.

— Он, должно быть, сумасшедший, — сказал он.

— Нет, гражданин начальник! Он не сумасшедший, этот заключенный И-ов. Он артист, который очень плохо сыграл свою роль...

Вся эта комедия ничуть не улучшила положение голодавшего И-ва. Смерть «великого» Сталина ни в чьих сердцах боли не вызвала...

Среди заключенных в лагере Сп. есть евреи, тщательно скрывающие свое еврейское происхождение. Один выдает себя за белоруса, другой за поляка. С такими типами мне и в других лагерях пришлось встречаться. Некоторые мне признавались в том, что они евреи, под строжайшим секретом. Почему? Еврею труднее жить, — говорили они, — труднее устроиться, получить работу. Даже в лагере еврею хуже. И мне много раз приходилось сталкиваться с этим явлением.

Меня назначили врачом больницы в женской зоне. 60 коек, всегда, конечно, занятых. Бывшая врач больницы, С-ва, закончила свои десять лет и ссылается куда-то в Киргизию. В жензоне осталась только одна врач в амбулатории. Я пробовал было отказаться, ничего не помогло. Работаю и тут, и там, я же главный терапевт центральной больницы и консультант. Встаю в 6 часов утра. Делаю до 8 ч. обход больных в своем отделении, а в 8 часов иду в жензону. Путь в два километра, через весь поселок. Иду, конечно, под конвоем. Около 5 ч. вечера за мной приходит конвоир и ведет меня обратно в мужскую зону. И опять обход больных моего отделения (вечерний), консультация. После ужина пишу истории болезни. Работаю часов 15—16 в день. Противно мне шагать в жензону и обратно в сопровождении конвоира с винтовкой. Часто ждешь конвоира — нет его. А без него не выпускают за вахту. Ни-ни...

В женской зоне до 2000 женщин и один гермафродит. Гермафродит одет по-мужски, в брюках, пиджаке, косоворотке. Начальство долго ломало голову: что делать с этим заключенным? Куда его девать — в мужскую зону? В женскую? Думали, гадали и решили. Изолировать нет возможности, и из двух зол выбрали меньшее — в жензону. А там, в жензоне, его перебрасывают из одного барака в другой, то без всякого повода в больницу положат. Срок у него 15 лет, сидит он всего три года. Напасть какая-то. Гермафродит героем разгуливает по жензоне, дружит с девушками, которые смотрят на него подчас жадными глазами — полумужчина, иллюзия...

Мой приятель д-р М., «гордый еврей», как его назвал начальник санчасти, назначен заведующим нервно-психическим отделением. Сломить упорство «гордого еврея» не удалось. В нужде обратились к нему. Но прошло полгода, и с ним приключилась беда. Он вдруг почувствовал слабость в правой руке: не может писать, ручка выпадает — пальцы не держат. Головокружение. На при-

еме в амбулатории д-р М. упал. Кровоизлияние, паралич правой половины тела, отнялась речь. В шестом часу я вернулся из жензоны и узнал про несчастье с моим другом. Я побежал к нему и застал его в бессознательном состоянии — мозговой инсульт. Лежит он один в своей комнате, без ухода. И как мне не хотелось тревожить его в таком состоянии, я, принимая во внимание условия в нервно-психическом отделении, доме умалишенных, наглухо закрываемом на ночь, велел осторожно уложить его на носилки, и мы перенесли его в мое больничное отделение. Я дал ему отдельную комнату и отдельного санитаря из выздоравливающих больных. Назавтра доложил обо всем этом начальнику больницы, чтобы получить санкцию на свои действия. Но не тут-то было. Вспомнили «гордого еврея». Начальник санчасти сказал:

— Почему вы поместили д-ра М. в свое отделение? Вы этот вопрос сами не могли решать, без начальника больницы.

— Нет, я не мог оставить д-ра М. в нервно-психическом отделении на ночь, когда все кругом закрывается на семь замков.

На этом кончилась наша беседа. Каждый день начальники спрашивали меня о здоровье д-ра М., «интересовались» его состоянием. Они хотели выбросить его из больницы в общий казарменный барак. И между мной и начальством началась борьба за М. Через две недели нач. санчасти спрашивает:

— Когда вы думаете выписать врача М.?

Я ответил:

— Полагаю, что через месяц.

Начальник санчасти аж побледнел. Ушел, ни слова не сказав. Состояние д-ра М. улучшалось. Речь вернулась, движения в правой руке восстанавливаются. Он бодр, ум его ясен, память крепкая. Я не хочу выписывать его, пока он не будет передвигаться без посторонней помощи. Но тут случилось нечто, что обострило вопрос о его пребывании в моем отделении. Заявился к д-ру М.

вольный врач, начальник терапевтического отделения. Якобы навестить пришел. Сидел в комнате д-ра М. 1,5 часа, беседовал на разные темы — о революции, коммунизме, советском быте. Д-р М., как всегда был слишком откровенным. (Он сидел в советских тюрьмах и лагерях пятый раз, 27 лет...). Вольный врач донес о содержании беседы с д-ром М. начальнику санчасти и больницы. И на завтра же меня вызывают в кабинет нач. больницы, где в это время находился нач. санчасти и еще какой-то офицер. Мне дается приказ сегодня же выписать д-ра М. из больницы.

— Куда перевести его? — спрашиваю.

— В инвалидный барак.

— Это невозможно, — заявляю я. — Д-р М. нуждается в лечении и уходе, сам себя еще обслуживать не может. Если его почему-то нельзя оставить в 1-м терапевтическом отделении, то надо перевести во 2-е. Там лежат больные с хроническими болезнями, но все же есть лечение и уход, — и не дав им подумать, я сказал, — я сейчас сообщу д-ру Т-му (завед. 2-м терапевтическим отделением, тоже заключенному) и переведу туда д-ра М.

Нач. санчасти зло посмотрел на меня (про себя, наверно, ругнул меня «жидом»). Днем я перевел д-ра М. во 2-е терапевтическое отделение. Но начальник санчасти не мог успокоиться и через дней десять все же отправил «гордого еврея» в инвалидный барак.

В январе 1953 года висевший в моей комнате на стене радиорепродуктор сообщил об аресте в Москве врачей-евреев, которые убивали государственных и политических советских деятелей. Убивали умышленно своим лечением, отравляя их. Перечислены многие врачи с еврейскими фамилиями, среди них проф. Вовси, проф. А. Гринштейн, проф. Коган и еще один проф. Коган, проф. Этингер и др. Они все — сообщает радио — признались в своем преступлении. Они были все иностранными агентами, агентами «сионистского Джойнта»...

Я был один в комнате, когда это передавали по

радио. Страх обуял меня, ужас. Гнетущие мысли одолевали. Утром я был в процедурной и готовился к обходу больных. Вошел начальник 1-го терапевтического отделения, вольный молодой врач Н. Н. и сразу заговорил со мной:

— Слышали по радио об аресте знаменитых врачей — профессоров в Москве, убийц советских деятелей — Жданова и других. Слышали?

— Нет, не слышал, — ответил я.

— Вчера вечером сообщили по радио, и в 7 ч. утра тоже. Вот подлецы. Врачи с крупным именем, а на что способны! Все они иностранные агенты.

— Я этому не верю, — сказал я. — Это ложный донос, клевета. Этого быть не может.

— Но ведь они сознались, что были агентами «Джойнта», американской еврейской организации — убежденно заявляет вольный врач.

— А вы знаете, что такое «Джойнт»? Чем эта организация занимается? — спросил я.

— Доктор! Ведь они все, профессор Вовси и другие, сознались, — говорит врач Н. Н.

— Я не хочу говорить о «сознании» и «признании», — сказал я. — Я вам покажу в лагере сотни заключенных, которые ни в чем не виноваты перед советской властью и советским народом и которые «сознались» в своей вине, во всем, что им приписали. Я три года был под следствием в тюрьме и знаю, как ведется следствие, допросы и как «сознаются», — сказал я зло.

Но врач Н. Н. уже обращался к фельдшерам:

— Подумайте, профессора, проф. Вовси — главный терапевт Красной Армии! И — предатели, убийцы, — сказал он возмущенно и ушел.

В лагере только об этом и говорят. «Врачи, евреи... профессора... убийцы». Особенно стараются разные лагерные начальники.

Они даже с заключенными об этом говорят, толкуют, от себя прибавляют. Уже уверенно утверждают,

что эти евреи-врачи убили того-то и того-то из советских деятелей, вождей коммунизма. Пришла пресса — газеты «Социалистическая Караганда», «Правда» и др. Люди, никогда газет не читавшие, хватают их, рвут из рук, читают вслух, заучивают наизусть имена врачей-убийц: Вовси, Гринштейн, Коган, Этингер... — все евреи, «палачи в белых халатах». В газетах появились фельетоны о «Рабиновичах», «Абрамовичах», «Циперовичах», тепло устроившихся и лакомящихся советским «общественным пирогом»... Требуют «чистки», кричат о «международной еврейской буржуазной организации «Джойнт», «сионистской, шпионской», которая является филиалом «американской тайной разведки»... «Иностранные агенты», «сионистский шпионаж», «империалистическое государство Израиль» и т. п. и т. п. Доходили слухи об увольнении евреев-врачей с работы в клиниках, даже видных профессоров, ученых. Передавали, что уволен известный ученый профессор-уролог Ш-о. За него якобы хлопотал Председатель Верховного Совета маршал Ворошилов, который был его пациентом. Профессора Ш. восстановили на прежней работе, но он якобы отказался от профессуры в университете — не хотел быть исключением, не хотел милости и личных привилегий. Антисемитизм с новой силой расцвел в Советском Союзе повсюду, мы ждали, что и в лагере начнется антиеврейский поход против врачей, и нас, «палачей в белых халатах», пошлют на общие работы. Евреев-врачей, нас было в лагере Спасск в ту пору четверо. За что-то придрались к врачу-фтизиатру, еврею Ш. (якобы обменял казенные брюки) и сняли его с работы, выселили из больничного отделения в зону, в казарму — общежитие. Затем произошло следующее. В одном из барачных корпусов ночью заболел заключенный. Побежали в амбулаторию, привели дежурного фельдшера. Он оказал помощь больному, сделал ему подкожное впрыскивание кофеина. Но лучше больному не стало. Побежали за врачом. Пришел амбулаторный врач, украинец из Западной Украины, но больной уже умер. Ут-

ром вызвали врача в комендатуру, и начальник строго спрашивает:

— Что, врач, было с С., отчего он умер?

И тот ответил:

— Я не застал больного в живых. Когда я пришел, он был уже мертвый. Но я знал больного, он страдал болезнью сердца и не раз обращался за помощью в амбулаторию.

— Ты убил больного! — крикнул комендант.

Врач в недоумении.

— Как так убил?

— А вот так, убил ты его! Ты еврей?

— Нет, я украинец, — говорит врач.

— Врешь! Ты — еврей! Снимай штаны! — приказывает начальник.

И заставили его раздеться, чтоб убедиться, что он иудейского происхождения.

На бедного врача это произвело такое тяжелое впечатление, что вызвало у него шок. Он с криком упал на пол. Его не могут привести в чувство. Принесли на носилках в мое больничное отделение. Недели две этот врач лежал у меня в больнице в состоянии глубокого отчаяния. Он все время плакал, кричал, вскакивал, не спал ночами. Слабый, не может ходить, падает. Полная адинамия. С трудом я поставил его на ноги. Целый месяц он лежал в больнице.

— Я же не еврей, — твердил он все время.

Этого украинца-врача больше всего огорчало и подавляло то, что его приняли за еврея, а не то, что его, врача, обвинили в убийстве людей, как врачей Гринштейна, Когана, Вовси и др. Бедная жертва.

Среди больных в моем отделении лежит некий немец — австриец. Он болен инфекционной желтухой. Когда этот немец Н. начал уже поправляться, он зашел в мою комнату и говорит по-немецки:

— Вам, господин доктор, как я вижу, нужны очки, ваши уже совсем сломаны.

Я смотрю на него с удивлением:

— Да, мне нужны очки, но достать их здесь я не могу. Нет в аптеке нужных стекол, и оправы нет. Приходится мучиться — тут завяжу нитками, там подклею липким пластырем.

— Господин доктор! — продолжал больной. — Один мой знакомый получил посылку и в ней очки. Он в них не нуждается и хочет продать их. (Немцы получали посылки из Германии, хорошие посылки — вещевые и продуктовые. В них были свитера, сапоги, белье, авто-ручки. Все это немцы продавали другим заключенным).

— Спасибо, — сказал я. — Охотно куплю, если стекла подойдут.

И тут этот немец вдруг открывается:

— Знаете, господин доктор, я ведь тоже еврей.

Я был поражен. Оказывается, он еврей-австриец из Вены. И весь гитлеровский период пробыл в Германии как христианин, нееврей. Подложные документы не так-то трудно было сделать. Но ведь есть «вещественное доказательство» — знак **ברית**, который каждому еврею делают на 8-й день после его рождения. Этот «знак» прежде всего искали нацисты, подозревая кого-либо в еврействе. И Н. рассказал мне о пластической операции, которую ему сделал хирург, замечая тем самым следы той ритуальной операции на коже полового органа, которая на 8-й день от рождения приобщила его к еврейской вере и еврейскому народу. И Н. продемонстрировал мне результат пластической операции, стершей следы **ברית מילה**. Несчастный украинец и счастливый «немец» — трудно удержаться от аналогии.

★★

Сидит в лагере артист еврейской оперетты Л-н, обладающий очень хорошим голосом (тенор). Раз в месяц устраиваются в большом и широком коридоре хирургического отделения концерты, на которых выступают скрипачи, певцы, декламаторы, рассказчики и даже фокусники. Еврейский опереточный артист Л. выступает в

каждом концерте и имеет большой успех. Он исполняет русские песни, арии из разных опереток, поет русскую «Березоньку» с типично еврейским надрывом, задушевно. Певец Л. часто бывает у меня, рассказывает о своей жизни и напевает в моей комнате еврейские песни, народные и из еврейских опереток. Я с удовольствием слушаю его. Как-то он спел мне песенку **בעל עגלה**, еврейского ямщика **בין איך מיר א בעל-עגלה**. Я его спрашиваю:

— Почему вы никогда не споете на еврейском языке?

— Не разрешат, — сказал Л.

— Но поют же по-украински, по-эстонски, по-итальянски.

— Верьте мне, — сказал он, — я уже девятый год сижу в лагере, и все годы пою. (У него был десятилетний срок).

Но все же когда составили программу ближайшего концерта, артист Л. назвал в числе своих номеров еврейскую песенку ямщика **בין איך מיר א בעל-עגלה**.

На него с удивлением посмотрело начальство да и все другие:

— По-еврейски?

— А по-эстонски можно? — спросил Л. — В прошлый раз М. пел финскую песенку по-фински.

— Но по-еврейски же никто не понимает, — сказал начальник КВЧ.

— А кто понимает по-фински? — спросил Л.

Не разрешили. Как-то неудобно по-еврейски... Л. просил меня перевести эту песенку на русский язык, он ее споет по-русски. Перевел. Прорепетировали пару раз, выходит хорошо. И артист Л. включил в программу своих номеров «песенку еврейского ямщика». Но и это оказалось слишком для КВЧ. В программе, напечатанной на машинке, значилось: «Песня ямщика». Конферансье так и объявил: «Песня ямщика». Слово «еврейского» где-то затерялось... Это слово плохо звучит в Союзе Советских Социалистических Республик...

Это было в первых числах марта 1953 года. Ко мне в комнату вбегает мой старший фельдшер, литовец (заключенный). Вид у него радостный и в то же время взволнованный.

— Сталин умер, — крикнул он. — По радио передавали.

Я растерялся от этой вести, ошеломлен был. Ни словом не реагирую, молчу. Фельдшер нарушил молчание, тихо сказал:

— Жаль, что давно эта сволочь не сдохла...

Все рады этой вести, но боятся высказать свою радость. У всех довольные, веселые лица. Не верится, хочется самому своими ушами услышать эту радостную весть. А московское радио не перестает вещать об этом «великом несчастье», горе, печали всех народов СССР. Главный диктор Левитан особенно старается. Говорит со страшной дрожью в голосе, плачет. И сам, только сам говорит. Не дает никому другому говорить об этом... Через день в лагерном дворе под открытым небом митинг памяти Сталина. Всем заключенным приказано явиться, всем. Налицо все начальство. Пришли и все заключенные, жертвы Сталина и сталинизма. До этого ни в день Октябрьской революции, ни 1-го мая в лагерях ничего для заключенных не устраивалось: с «врагами народа» нечего разговаривать... А тут обязали явиться. Для этого, видно, надо было Сталину умереть... Опытные «арестанты» увидели какой-то сдвиг.

И действительно, сдвиг произошел. Через месяц-другой перестали запирают бараки на ночь. С окон сняли железные решетки. В каждом лагпункте объявили, что отныне можно писать письма не один раз в шесть месяцев, как это было до сих пор, а два раза в месяц. «Номера» с одежды спорили. Разрешили носить свою одежду, личную.

Вот так реформы! Слово сказали: Сталина нет, дышите легче... Новая власть — Маленков. Процесс евреев-врачей, этих «палачей в белых халатах», обвинение

их в умышленном убийстве ряда государственных и политических советских деятелей объявлены «необоснованными», в ходе следствия применялись «недопустимые, запрещенные законом» методы насилия... Все арестованные освобождены за исключением двух, которые умерли в тюрьме от пыток.

Наше лагерное начальство и господа из МГБ — оперуполномоченные — обескуражены. Ведь так торжествовали, что евреи-врачи оказались «убийцами», «шпионами», наемными агентами империализма. Молодой начальник терапевтического отделения избегает встреч со мною, не показывается в больнице. Я все же спросил его:

— Вы читали про процесс врачей, «палачей в белых халатах?» А вы помните, что я сказал вам: я не верю этому.

Он только промямлил:

— Да, бывают ошибки, — и стал быстро удаляться.

Я успел сказать ему вслед:

— Миллионы нас томятся в лагерях по этой самой «ошибке»...

А не «ошибкой» было аналогичное обвинение евреев-рабочих и служащих на заводе «ЗИС» (завод имени Сталина. После смерти Сталина стал называться «ЗИЛ» — завод имени умершего директора завода Лихачева)? О процессе врачей шумели, писали, а о том, что произошло на заводе «ЗИС», молчали, как вообще молчали об арестах миллионов людей... У меня в больнице лежали два инженера с завода «ЗИС». Они оба, как и многие инженеры, техники, врачи, служащие завода — около 70 евреев — были уволены, арестованы как агенты иностранной державы за якобы умышленное вредительство. У этих инженеров был срок 20 лет ИТЛ.

Всему этому было потом дано одно название — «сталлинизм», все это валилось в одну кучу — «культ личности»...

С 1954 года вновь стали платить за труд и в специа-

герях. Было введено сокращение срока заключения для работающих. Тем, кто работал, считали день за два, а то и за три — в зависимости от рода работы. И «малолетним», тем, которые были арестованы в возрасте до 18-ти лет (таких было немало), снималось 2/3 срока: Большинство этих «малолеток» были осуждены на 20—25 лет.

Началась так называемая «активировка», т. е. освобождение таких больных, которых невозможно лечить в лагерных условиях. Активирует специальная комиссия из 4—5 врачей, конечно, вольных. И все эти «вольные» врачи по-своему отбывают «срок» в лагерях.

По окончании медицинских вузов нужно отработать врачом три года. Большинство посылаются в лагерь заключенных, в распоряжение МВД. А лагерей многие тысячи на великих просторах СССР. Редко кому удастся вырваться из лап МВД через три года. Вольные врачи годами хлопочут об освобождении из лагерных больниц, но МВД держит их цепко. Моя знакомая, окулист, уже шесть лет в лагерных больницах (вместо трех), без конца хлопочет, обивает все доступные ей пороги, — нет, не отпускают. Обещают, правда... но не выпускают. Она уже седьмой год отбывает «срок» в лагерях МВД. Работа в лагере большинству вольных врачей противна, не интересна. Неприятно быть свидетелем всей мерзости, которая царит там. Одна «активирующая» врач, еврейка, поделилась со мною, как ей мучительно работать в лагере. Она просто не может уже больше. Но ее не выпускают. И вот она решила выйти замуж — фиктивный брак. Противно, да и не совсем безопасно в советских условиях, неизвестно на кого наскочишь... Но выхода у нее нет.

На меня возложили заведование нервно-психическим отделением. Больные главным образом психические. Отделение заполнено до отказа. Две палаты буйных больных. Отделение помещается в специально выстроенном бараке, огороженном стенами со всех сторон. Узенькая

калитка всегда закрыта на ключ. У калитки сторож круглосуточно. И больные в палатах-камерах всегда под замком. Обслуживающий персонал — фельдшер (болгарин) и пять санитаров. Завхоз, латыш (сидит в лагере за активное сотрудничество с немцами в годы войны), — человек жестокий и закоренелый юдофоб. Жалуются, что он бьет больных, надевает на них «смирительные рубашки», бросает их в карцер. Я принял отделение. Вызвал к себе завхоза, фельдшера и санитаров. Объявил им, что мы избегаем надевать «смирительную рубашку». Это теперь не практикуется, такая мера может быть применена лишь по усмотрению врача, а не завхоза или кого-либо другого. Я категорически запрещаю трогать пальцем больных. Завхозу я сказал, что мне известно, как он оскорбляет больных, называет евреев «жидами».

— Я этого не потерплю, — сказал я. — За отделение, за благополучие больных, уход за ними несу ответственность я, и я не позволю никакого издевательства и насилия над этими несчастными людьми.

Завхоз ни слова не сказал, вышел из кабинета и, видимо, затаил злобу против нового начальника отделения, еврея. Ключ от изолятора я забрал у завхоза, передал его фельдшеру, заявив, что без моего ведома не смею никого запирать в изолятор.

Евреев в нервно-психическом отделении было всего трое — раввин из Польши, бывший еврейский учитель — очень интеллигентный человек и третий — экономист с высшим образованием, страдавший тяжелой формой эпилептической хореи с психической деградацией. Завхоз их всячески преследовал. Они рассказали мне об этом в первый же день. Завхоза все не любили — и больные и санитары, но его боялись. Он, бывший гитлеровец, теперь служил новой власти, был «стукачом». У этого нациста был срок всего десять лет.

Однажды на стене здания, выбеленной известкой, появились надписи: «Смерть завхозу! Завхоз, если не

уйдешь — смерть тебе!» В одном месте над надписью нарисован череп. Кто это сделал? Завхоз поднял шум, скандалит, ищет виновных, и в первую очередь обвиняет раввина из Польши. Это-де дело его рук. Санитары хотели стереть надписи, но завхоз не дает. Послали за мной. Пришел, вижу, больные возбуждены, волнуются, с прогулки их нельзя загнать в палаты. Я велел стереть надписи. Завхоз зашел ко мне в кабинет и заявляет, что надписи сделали трое таких-то во главе с Р. (раввином). Я его спрашиваю, на каком основании он так думает? Ему это известно досконально, ему сказали очевидцы.

— Давайте сюда очевидцев, — потребовал я.

Но он отказывается назвать их имена. У ворот караулит больной, так сказать, «легкий» больной, неполноценный человек, но более или менее уравновешенный. Я его спрашиваю:

— Как это ты не досмотрел, ведь у калитки стоишь, тебе все видно вокруг. Кто это сделал?

Нет, он не видел и не слышал. Я вызвал в свой кабинет раввина и говорю ему, что почему-то его подозревают в этом деле. Разговариваю с ним на идиш. Он категорически отрицает свое участие. Верю ему, он честный человек и неправды не скажет. Я заподозрил, что тут налицо какая-то провокация... Через два дня ко мне в мое терапевтическое отделение пришли четыре лагерных начальника, среди них, конечно, и «оперуполномоченный» (МГБ). «Интересуются», кто сделал эти надписи? Я высказал свое мнение и почти уверенность, что это сделали не душевнобольные. Правда, завхоза все не любят, даже ненавидят. Опер-чекист спрашивает: а не сделал ли это Р. (раввин). Я ответил:

— Не сомневаюсь, что он этого не делал. Да он и писать по-русски не умеет. Он раввин, богобоязненный человек, честный, праведный. Я говорил с ним об этом, и я ему верю.

— А почему вы с ним говорили по-еврейски? — спрашивает «опер».

— Я не понимаю вашего вопроса, гражданин начальник, — сказал я. — Какое это имеет отношение к происшествию в психбольнице?

— Но вы с ним говорили по-еврейски? — настаивает «опер».

— Говорил, я с ним всегда говорю по-еврейски, — ответил я.

— Почему? — удивляется опер.

— То есть как почему? — говорю я протестующе. — Он еврей, и я еврей. Почему эстонцы меж собою говорят по-эстонски, латыши — по-латышски. А по-еврейски разве нельзя говорить в Советском Союзе? — зло спросил я.

— Что вы, что вы! У нас все национальности равны и могут пользоваться своим родным языком. Но, знаете, еврейский язык никому непонятен. Кто знает, что Р. сказал вам. Завхоз говорит, что он признался вам, — заявляет чекист.

— Это ложь — крикнул я. — Он отрицает какое-либо участие в этом деле, и я уверен, что он сказал правду. Вы верите завхозу — нацисту, юдофобу, преследующему евреев и тут, в нервно-психической больнице. Да, я говорил с Р. по-еврейски, и буду говорить по-еврейски. И я заявляю вам, гражданин начальник, — сказал я, обращаясь к начальнику больницы: — что я ни одного дня не буду работать в нервно-психическом отделении, пока там будет этот завхоз.

Начальник больницы (майор медицинской службы) стал меня успокаивать, уверять, что я «не так понял» капитана («опера»). Но я категорически потребовал убрать завхоза, или я слагаю с себя обязанности заведующего и врача нервно-психической больницы. На завтра, после «пятиминутки», я заявил начальнику больницы, что я не могу и не буду работать врачом в нервно-психическом отделении. Начальник больницы заверил меня, что завхоза убирают, есть уже такое распоряжение. И действительно, в тот же день завхоза-нациста убрали

из нервно-психического отделения, он был назначен старостой общего барака — казармы в 3-й зоне. Но мне моего разговора на еврейском языке не простили. Как врачу инфекционного отделения, мне полагается зачет работы 1:3, т. е. три дня за день. Когда за первый месяц объявили зачеты, я получил два дня за день. Хотя меня, при моем 25-летнем сроке, это мало интересовало, я все же спросил начальника больницы, почему моему врачу-ординатору считают три дня за день, а мне два. Он замялся и ответил, что это не его вина.

— А чья?

— Обратитесь к нач. санчасти.

Тот мне сказал:

— Не мы одни определяем зачет, тут решающее слово за оперуполномоченным.

— Но мне как врачу инфекционного и нервно-психического отделений полагается зачет три дня за день, — говорю я.

— Полагается, но «опер» не утвердил, — сказал нач. санчасти. — И добавил смущенно: — Из-за истории в нервно-психическом отделении...

— Все понятно, — сказал я. — Оперуполномоченный хочет напомнить мне, что я еврей... Но я и без него не забываю этого...



В лагере С. я встретил моих земляков, харбинцев и из Китая. Человек 5—6. Секретарь еврейской общины Дайрена Шм. прибежал ко мне, лишь только узнал, что я прибыл в лагерь. Я его знал по Харбину и Дайрену, встречался с ним на еврейской общественной почве. Он болел в лагере туберкулезом легких, и состояние его все ухудшалось. Но он, как все туберкулезные больные, был очень оптимистичен, полон надежды, верил в выздоровление, освобождение из лагеря. Он жил долгие годы в Дюссельдорфе (Германия), работал там на заводе инже-

нером. С приходом Гитлера он должен был покинуть Германию. Попал на Дальний Восток, поселился в Дайрене. Был избран секретарем еврейской общины. Пришла в 1945 году Красная армия в Дайрен, с ее разведкой и «Смершем» (смерть шпионам), и Шм. был арестован, вывезен в СССР, получил «срок» 25 лет ИТЛ. Кочевал по тюрьмам и лагерям и в 1950 г. прибыл с этапом в лагерь Сп. Тут у него обнаружился туберкулез легких, который в лагерных условиях быстро прогрессировал. В 1952 г. Шм. умер от туберкулеза легких. В этой же больнице умер от туберкулеза легких харбинец Степ. П. К. (русский). Богатый лесопромышленник, домовладелец, был арестован советскими вандалами, получил «срок», кажется, 15 лет заключения (за что? — он понятия не имеет). Он часто приглашал меня (через фтизиатра, еврея Ш.) на консилиум. Я не отказывал, конечно, но помочь ему было трудно, в 1953 г. он умер. Человек всегда здоровый, крепкого телосложения, никогда в Харбине не болевший. Умер в лагере Сп. еще один харбинец А. И. О. Он находился в 3-ем терапевтическом отделении (для хроников). Я часто навещал его, бывая там на консилиумах несколько раз в неделю. И он, бедный, грезил о свободе, воле. И верил в нее. Бывший городской голова г. Б., пароходовладелец, директор банка в Харбине, он был арестован, схвачен и отправлен в СССР. «Срок» получил небольшой, «детский» (лет 10—12), но и его не вынес. В 1952 г. скончался в лагерьной больнице Сп. Положили его, как и всех других, в общий гроб и как «спецгруз» увезли и зарыли в общей могиле «врагов народа»...



В августе 1954 г. по лагерю прошел слух, что в «спецчасти» составляются списки всех иностранцев (иностранцев подданных и лиц без гражданства). Каждый из нас, лиц без гражданства, стал интересоваться, имеется

ли в списке его фамилия. Но для чего это делается? Якобы всех «иностранцев», т. е. не граждан СССР, отправляют. Куда? Домой, конечно, на родину свою. Волнение в лагере. Иностранцы, лица без гражданства, бегают, суетятся, ловят служащих спецчасти. Включены ли они в список? А вдруг его нет в списке?! Всех, всех отправляют, всех до одного. Есть такой приказ из Москвы. И все уверены, что домой везут их. Только домой! А то куда же! Через неделю отправляют, через три дня, завтра... И... настал день отправки. Все должны явиться с утра в спецчасть, потом на склад, — сдать все казенные вещи — одеяло, подушку, простыню. И я готовлюсь. Пришел мой санитар-раздатчик (земляк, сын священника с восточной линии КВЖД) и говорит, что в списке этапа меня нет. И, действительно, всех вызвали в спецчасть, а меня нет. Что же это означает? Бегу в спецчасть. А там показывают список отправляемых в этап, полученный от нач. лагпункта, и моего имени там нет. Бегу к нач-ку лагпункта. Спрашиваю, почему он не включил меня в список, на каком основании это сделано. Я был в списке, и почему-то исключен. Нач. лагпункта, капитан, чистосердечно мне заявляет, что я исключен из этапа по требованию медицинского начальства.

— При чем тут медицинское начальство? — спрашиваю я. — Распоряжение Москвы касается меня, как «иностранца», и вы не могли допустить нарушения. Ведь я же числился в списке.

— Вопрос был, по-видимому, согласован с нач. лагеря, — говорит нач. лагпункта.

Я побежал к медицинскому начальству. По дороге встретился с врачом, вольной, из 2-го лаготделения, прибывшей на «активировку» больных. Я ей рассказал о моей беде. Она говорит:

— Не волнуйтесь. Иностранцев не освобождают, а переводят в другой лагпункт, изолируют в отдельном лагере.

Сказала она мне это по секрету и не хотела назвать

места, куда нас отправляют. Я, признаться, не верил ей, не верил ее информации. Все твердили, что иностранцев освобождают, и мне хотелось надеяться, что это так... Я пошел к своему медицинскому начальству. В кабинете нач. больницы я застал и нач. санчасти. Я был взволнован и громким голосом сказал:

— На каком основании вы вычеркнули меня из списка отправляемых в этап иностранцев?

Нач. санчасти ответил:

— Не волнуйтесь, К., мы просили оставить вас на время здесь в больнице.

Я перебил его:

— Какое право вы имели сделать это? Я осужден на 25 лет незаконно, ни в чем невиновный, и теперь, когда у меня есть надежда, по приказу Москвы быть освобожденным, вы оставляете меня здесь потому, что я нужен вам как врач. А со мной, моими страданиями вы не считаетесь.

Нач. больницы стал уверять меня, что через месяц я поеду туда, куда сейчас отправляют всех, и буду вместе с ними. Но я, взволнованный и возмущенный, сказал:

— Я вам не верю. Если вы не отмените вашего незаконного решения, я с сегодняшнего дня отказываюсь от работы в больнице. Конечно, — сказал я, — сила у вас есть, вы можете меня задержать насильно, но работать врачом я ни одной минуты здесь не буду. Делайте со мной, что хотите.

И после этого начальник санчасти сказал:

— Ладно, К., поезжайте.

Когда я пришел в спецчасть, там уже было известно решение, и я был оформлен в этап. Нач. спецчасти, казах, капитан, сказал мне по секрету, что я считался не уехавшим «по болезни»... Советские начальники распоряжаются заключенными, как вещью, им принадлежащей, как их рабом...

ГЛАВА 12.

Несколько сот «иностранцев» отправили на грузовиках (жел. дор. линии нет в Сп.). Через часа 1,5-2 привезли в г. К. У ворот лагеря обыск — и мы во дворе. Разводят по баракам и на завтра с утра гонят на работы.

В лагере только иностранцы — венгры, болгары, румыны, поляки, чехи, немцы, персы, лица без гражданства. Меня с первого же дня назначили врачом терапевтического отделения больницы. Больница небольшая, всего семь палат, из них две для хирургических больных и пять для терапевтических. Всего два врача — хирург и я (оба заключенные). Но есть, конечно, начальник больницы — вольный врач, который бывает в больнице ежедневно один-два часа до обеда. Есть и так называемая начальница терапевтического отделения, вольная, жена одного из начальников лагеря, — она бывает в больнице один раз в неделю, по вторникам. Есть при больнице рентгенкабинет с заведующим, вольным врачом, вольным техником. Есть и лаборатория, но нет лаборанта: он освободился, окончил срок заключения, а заменить его некем. Мы с хирургом сами делаем анализы больным. Каждый день часа три занимаемся лабораторной работой. Живем мы, врачи, в общем для всего лагерного обслуживания бараке — в отдельном уголке. С 7—7,5 часов вечера забираемся в свой уголок, читаем, слушаем радио (у хирурга был маленький радиорепродуктор). Слушаем последние известия из Москвы, музыку. Иногда в лагере бывают развлечения. Ставят пьесу в лагерном клубе. Бывают изредка вечера «вопросов и ответов». На сцене клуба за длинным столом сидят человек 10—12 разных

начальников (тут и санчасть, и бухгалтерия, и снабжение, и КВЧ, и спецчасть и др.). Заключенные могут задавать вопросы, на которые начальники отвечают, каждый по своей специальности. После смерти Сталина, когда, казалось, стало свободнее дышать или, как говорилось, наступила «оттепель», заключенные стали смелее в своих выражениях, смелее говорить о безобразиях и непорядках в лагерях. Начальники были очень недовольны смелыми речами заключенных и подчас, не зная как выйти из положения, как оправдать свои незаконные действия, злились, и председатель объявлял прения законченными.

Однажды разыгрался на таком «вечере вопросов и ответов» спор о Боге (страшно сказать!!!). Заключенный чех поставил в очень затруднительное положение начальника КВЧ. Собрание было закрыто, а чеха назавтра сняли с работы в конторе лагеря и послали на общие тяжелые работы. «Оттепель» с прежними сталинскими приемами...

Лагерь наш ничем не отличается от других лагерей. Только то, что в нем одни «иностранцы». Всех отправляют на тяжелые работы — строительные, мостить улицы города, на шахты. И даже врача, венгра, гонят на общие работы. Возят на грузовике под усиленной охраной. С утра начинается погоня за людьми. Многие прячутся, чтобы «опоздать» к моменту отправки, объявляют себя больными. Опоздавших и «больных» запирают в тюрьму на 3—5 суток. Тюрьма всегда переполнена.

Начальник больницы, врач, часто приходит крепко выпившим. Заходит в лабораторию, где мы (хирург и я) либо пишем истории болезни, либо делаем анализы, либо читаем медицинские журналы. Однажды этот врач-начальник говорит нам:

— Завидую вам, вы можете и работать как врачи, и читать книги, журналы медицинские, учиться, пополнять свои знания.

Я ему говорю:

— Вы молодой врач, вы вольный, вы можете в боль-

шей мере использовать свое время в медицинской области, чем мы в лагере.

— Это вы так думаете. А попробуйте жить, как я. У меня жена недавно родила, грудной ребенок. Я утром иду за хлебом, стою в очереди, иду потом за мясом и другими продуктами — снова стою в очереди. Часы трачу на это. Да попробуйте достать нужное — пробегаешь полдня, пока что-нибудь раздобудешь. Приду сюда часов в 11—12, уже усталый, почти без сил от беготни и очередей. Пробуду здесь часок-другой, и надо бежать в больницу — я работаю там на полставки в дизентерийном отделении. Не могу же я жить с семьей на одной ставке (72 рубля новыми). Где же тут до занятий, до чтения. Дома почти всю работу делаю я. Вот и живи.

Мы оба, я и д-р Ш. молчали. А когда он ушел, д-р Ш. (хирург) грустно сказал:

— От такой жизни, действительно, можно запить.

Мы отправились в свой барак, и д-р Ш. включил радио. Пел бас Рейзен: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек»... Поистине! Мы оба тяжело, тяжело вздохнули.

Часов в 12 ночи в один из таких серых лагерных дней хирурга и меня будят. Живо в больницу! — Что случилось? — Начальник лагпункта приказал. Оделись, побежали. Недалеко, шагов 30—40. Лагерь маленький, все, можно сказать, рядом. Пришли в больницу. А там почти все начальство — человек 6 офицеров.

— Сейчас привезут раненых. Готовьте все, что надо для перевязок, шить, операций. Раненых много.

Что за раненые? Откуда? Спросить не смели, раз не говорят. Минут через 20—25 прибыл грузовик с ранеными, человек двадцать с тяжелыми и легкими ранениями в голову, грудь, спину, живот, руки. Все заключенные, из лагеря. Класть больных некуда, лежат на полу. В операционной и процедурной перевязываем, шьем. Четырех хирург оперирует. До самого утра провозились с ранеными. Узнали от них всю правду. Недалеко от нашего ла-

геря, в 25-ти километрах, в лагере было кровавое столкновение между заключенными украинцами и русскими. Борьба велась несколько дней. Обе стороны готовились к бою. Начальство было предупреждено, что у украинцев есть оружие и они готовятся напасть на русских. Но начальство мер не приняло. Русские заперлись на ночь в бараке, забаррикадировались. Украинцы ночью ворвались в барак русских и устроили резню. Было много раненых с обеих сторон — человек 60. Раненых украинцев отправили в одну больницу лагерную, а русских — в другую. К нам попали украинцы и среди них было два литовца. Кровавое столкновение произошло на национальной почве... Даже в лагере, где все уравнивается в беспорядке, где все одинаковые подневольные, рабы... Позднее, когда я был «на воле», я видел эту вражду и там...



Осенью 1954 г. разрешили «иностранцам» свидания с родными. В это время приехали из Маньчжурии многие русские жители. Ехали они по призыву советской власти «на целину». Проезд и провоз вещей бесплатный. Каждой семье давали подъемные. Большинство из них ехали в Казахстан, в Акмолинскую, Карагандинскую области. Но почти никто не остался на целине — все сбежали, как несколько лет тому назад сбежали с целины все направленные туда комсомольцы. Я, живя на воле, встретился с этими людьми, земляками. Люди, не приспособленные к земледельческому труду. Условия жизни и работы тяжелые, несносные — жилищ нет, с питанием дело обстоит плохо. И все сбежали, поселились в городах этих областей. Семьи, прибывшие из Харбина, Маньчжурии, первым делом стали хлопотать о свидании с мужьями, отцами, которые были в годы 1945—1948 арестованы советскими органами МВД, «Смершем», вывезены в Советский Союз, осуждены как «контрреволюционеры», «изменники родины» и «шпионы» и находились в

советских лагерях, в заключении. Многие семьи и согласились ехать «на целину», чтобы встретиться с мужем, отцом. В нашем лагере «иностранцев» было немало моих земляков из Харбина, Маньчжурии, лиц без гражданства. К ним были допущены семьи на свидание, которое происходило в комнатке возле лагерной вахты. От некоторых из них я услышал вести о судьбе моей семьи. Это была первая весточка после многих лет безывестности.

Пришел ко мне в больницу некий харбинец С-в и говорит:

— Могу вам передать привет от вашей семьи. Сегодня у меня была на свидании жена и дочь, прибывшие на целинные земли. Она спросила у меня, кто из земляков со мною в лагере. Я назвал вас. Она обрадовалась, узнав, что вы живы — в Харбине были слухи о вашей смерти. Она просила передать вам привет и что ваша семья уехала несколько лет тому назад в Израиль.

Я был счастлив, не сдержал слез от радости. Моя семья, мои дети живут в нашей стране. Пусть я в неволе, в плену, но семья моя, дети мои там, на родной земле. Какое счастье дожить до этого! Я плакал от счастья. Прослезился вместе со мною и чисто русский, малознакомый мне С-в.

В лагере было человек 10 евреев — «иностранцы» из Румынии, Австрии, Польши. Но лежал у меня еврей из Литвы (Ковно), привезенный из соседнего лагпункта, где не было больницы. Сионист, активный деятель партии ревизионистов. Говорил свободно на иврите (окончил гимназию «Тарбут»). Я поделился с ним своей радостной весточкой — моя семья в Израиле. И он вместе со мной радовался. К нему из далекой Сибири, откуда-то из Благовещенска, куда его семья была сослана, приехала жена с пятилетней дочкой, на свидание. Товарищ, сионист, говорит мне:

— Пойдемте, доктор, я хочу познакомить вас с моей семьей, я рассказал жене о вас. Повидаете мою дочурку.

Я подошел к проволочному ограждению: по ту сторо-

ну, за проволокой, на «воле», стояла жена товарища-сиониста и очаровательная дочурка его. Я поздоровался с ней. Девочка подошла к проволоке и, сквозь железные колючки протянув мне свою ручку, сказала: «Шалом!» Как тепло мне стало от этого «шалом» маленькой еврейской девочки, заброшенной в далекую Сибирь за сионистские «грехи» ее отца. «Шалом! Шалом!» — ответил я, поцеловав мягкую, шелковистую ручонку маленькой дочери нашего народа. В глазах у меня стояли слезы. Плакал отец, прощаясь с женой и дочкой...

Об отправке домой ни речи нет, ни намек. Гонят всех на работу, наказывают тюрьмой за уклонение. Лагерь «иностранцев» — обычный лагерь, как все советские лагеря: казармы-общежития с трехъярусными вагонками, поверка, скудное питание. Унылая, грустная жизнь в неволе. Начальство грубое, некоторые из них на службу являются в пьяном виде. Нач. санчасти редко бывает трезвым. Уже зима, декабрь. Но многие, очень многие из заключенных верят, что их скоро освободят — иначе для чего же вдруг после стольких лет иностранцев в отдельные лагеря перевели! Конечно, для освобождения. Иначе где же тут логика?! И невольники строят планы, мечтают, верят...

В средних числах декабря днем, часа в 3-4, был я в больнице. Заходит нач. больницы и обращается ко мне:

— Собирайтесь, за вами приехали. Поедете в Спасск обратно. Очень жалею, но приказ начальника управления. Вас ждет врач с машиной.

— Как уже сейчас?

— Да, да, врач ждет за воротами.

Я собрался, вышел за ворота, где меня ждал конвоир и вольный врач, знакомый мне по лагерю в Спасске.

— В чем дело? Почему так спешно? — спрашиваю я.

— Майор (нач. больницы) уже несколько месяцев хлопочет о переводе вас обратно в Сп. И только вчера получили согласие нач. управления. Вы нужны в Сп.

— Отомстили мне, выходит, за мой отъезд против их воли, — сказал я.

— Что вы, что вы!

У ворот стоял грузовик с плоской крышей, на которой по обеим сторонам скамьи. Вольный врач сел рядом с шофером в кабине, а я с моим конвоиром наверху, на крыше. Сильный мороз. Я в своем бушлате, в валенках. Холодно. Ветер. Конвоир в широком тулупе. Смотрит сочувственно на меня.

— Холодно будет тебе, замерзнешь, — говорит он, качая головой. Положил винтовку на скамью, распахнул свой широкий и длинный тулуп и, обняв меня, закутал меня в половину тулупа. Мы вдвоем в тулупе, тепло стало. Спасибо, товарищ! Едем минут 20, остановились у какого-то здания в городе К. Солдат вскочил, схватил винтовку и стоит возле меня. Я вновь мерзну в своем бушлате. Стоим, чего-то ждем. Минут через десять на наш грузовик поднялся солдат с большим, длинным, широким тулупом.

— Одевай, врач! Это тебе! (Это устроил вольный врач, сопровождавший меня).

И я в теплом тулупе. Воротник меховой, огромный, в который можно с головой завернуться. Закутался я в тулуп весь, кругом, со всех сторон. А мороз к вечеру разыгрался крепкий, лютый. Снежный ветер дует. Но я ушел весь в тулуп, ничего не вижу, не слышу. Ноги мерзнут, даже в валенках, — «пол» железный. Мой конвоир подкладывает мне под ноги две пары валенок, лежавших на грузовике. Ноги стали согреваться. Едем с полчаса. Опять остановились. Какая-то девушка и пожилая женщина просят довести их — они тоже едут в Сп. Девушка служит в Сп., в лагерной конторе, а женщина говорит, что сын ее в лагере, освобожден, и она едет за ним. Он душевнобольной. Она его забирает к себе. Вот у нее на руках удостоверение о его освобождении, выдан ей на попечение. Достать машину в С. невозможно. Умоляет довести ее. Какой-то начальник про-

верил ее бумаги — документы и милостиво разрешил ехать в Сп. на этом, специально для меня предназначенном грузовике. Пожилая женщина уселась на скамье рядом со мною. Стала спрашивать, куда я еду. Я ей шепотом сказал, что я такой же заключенный, как ее сын, и еду в тот же лагерь. Она взглянула на моего конвоира и поняла его присутствие... Я сказал ей, что я был врачом нервного отделения и, наверно, знаю ее сына. Она спросила мою фамилию. Я назвал. Она обрадовалась и сказала, что она знает меня — два дня тому назад она была в Сп., имела свидание с сыном, и он ей говорил про меня.

— Он на вас молится, — сказала она.

— А кто ваш сын? — спрашиваю.

Она называет фамилию Р. Этот самый Р., раввин из Польши.

— Да, я его хорошо знаю, — сказал я.

Вспомнил, сколько у меня возни и хлопот с этим Р. Он много чудил в лагере. Мне удалось провести его через специальную комиссию врачей и активировать, т. е. освободить из лагеря как больного. Я ведал нервно-психическим отделением, когда прибыла из города К. комиссия из двух врачей — невропатолога и психиатра — свидетельствовать нервно-психических больных. Я был докладчиком в комиссии. Дошла очередь до Р. Чего он только не вытворял во время освидетельствования. В последнее время он стал совершенно неуравновешенным, всегда в состоянии экзальтации, возбуждения. Метался, бросался. Я его всячески уговаривал, и мне удавалось на некоторое время его успокоить. Он мне верил и очень глубоко уважал. Особенно поднимало меня в его глазах то обстоятельство, что я происхожу из рода Старого Равви, основателя «Хабад», правнук его. Накануне освидетельствования я убеждал Р. не нервничать, не кричать, не выкидывать номеров, не дичить. И, казалось, убедил его. Но... не совсем. Как только он вошел в кабинет, где заседала комиссия, и председатель невропатолог, спро-

сила его фамилию, имя, отчество, Р. стал отвечать по-еврейски и произносить целую речь. Я начал переводить его речь на русский язык, но председатель сказала:

— Не надо, я все поняла.

Она была еврейкой. Р. стал вдруг раздеваться, догола.

— Не надо раздеваться, — говорят ему, — не надо! Но он раздевается и кричит:

— Смотрите на мое тело, он чистое, святое. Я послан Богом!

Он буквально вошел в транс. Стоящий у двери надзиратель подбежал к нему (при освидетельствовании душевнобольных в комнате, внутри, все время находится стражник). Я боялся каких-либо неприятностей, боялся за Р., за его судьбу. Я подошел к Р. и строго сказал ему на идиш, чтобы он успокоился и усмирился, ибо он может все испортить, его не освободят и запрут на долгие месяцы в сумасшедшем доме. Я ему приказываю одеться и замолчать и лишь отвечать на вопросы врачей. И Р. стих, замолчал, стал едва слышно отвечать на задаваемые ему вопросы, подчас давая очень странные ответы. Врач-психиатр уверял, что Р. симулянт, что он не душевнобольной. Я доказывал на основании моего наблюдения в течение более полугода и истории болезни врача-невропатолога, что Р. — психопатическая личность. Еще ряд вопросов больному Р., обмен мнений и даже спора между врачами, и председательница комиссии д-р Д. записала в протокол диагноз: «глубокая психопатия». Р. был активирован, т. е. признан «не подлежащим лечению в условиях лагеря».

Психических больных по освобождении из лагеря выдавали близким родным, если они были согласны взять больного на свое попечение, или же отправляли в психбольницы на воле. Семья Р. (жена и мать ее) согласились взять его на попечение, и вот мать жены приехала (как якобы родная мать) за сыном. Жена Р., двое

детей и мать жены жили тогда в Казахстане, в г. Кызыл-Орда, будучи, кажется, сосланными туда. Женщины занимались шитьем. Вот кто была моя соседка на грузовике в тот зимний морозный вечер.

Уже было часов девять, когда мы прибыли в Сп. Меня водворили на мое прежнее место, в 1-е терапевтическое отделение.

Утром Р. отказался ехать домой — он не поедет в субботу. Мать пропустили в лагерь, она его слезно умоляет поехать: автомобиль ждет у ворот.

— Нет, я в субботу не поеду!

Прибежала за мной, прося повлиять на Р., — «он так вас уважает». Раввин Р. был, конечно, строго религиозным человеком, и даже в лагере, в этих тяжелых, кошмарных условиях, соблюдал все предписания закона. Он не дотрагивался до лагерной пищи, абсолютно ничего не ел. Даже хлебный паек, выдаваемый ежедневно, не ел. Он получал раза два в месяц посылки от семьи, в которых был рис, сухари, рыба, чай — этим он питался. Причем, будучи добрым, отзывчивым человеком, он более половины посылки раздавал другим больным. А сам недоедал. И теперь, освобожденный, он не нарушит святости субботы. Я стал спокойно доказывать Р., что освобождение из лагеря, из тюрьмы — это больше чем **פיקוק נפש** — ради чего можно нарушить субботу. Это спасение жизни, спасение души еврейской. Он, раввин, лишен здесь возможности жить, как еврей, соблюдать законы нашей веры, нашего учения. Если он сейчас не уедет, то останется здесь до нового приказа, а это значит надолго, может быть, и навсегда. Он молча выслушал меня и сказал:

— Вы говорите, что я могу ехать сегодня, нарушить святость субботы? Вы так говорите?

— Да, я так говорю и советую вам, и даже настаиваю, во имя вашей жизни.

Раввин вскочил и в возбуждении произнес:

— Если вы, внук Старого Равви, говорите так, я поеду!

Он обнял меня, поцеловал и поспешил к себе в больницу. Взял свою котомку и в сопровождении матери, меня и еще двух евреев, больных нервно-психического отделения, отправился к вахте. Там, за вахтой, ждал его автомобиль. И он уехал. Нарушил святость субботы и... спасся. Через несколько месяцев Р. прислал в мой адрес мацу на Песах для нас, заключенных в Сп. лагере евреев. А года через три раввин Р. с семьей, как польский гражданин, выбрался из Советского Союза, и с 1957 г. живет в Израиле.

★★

Был конец 1954 г. Двух моих самых близких друзей я уже не застал в лагере Сп. Один освободился по активровке, другой был освобожден из заключения и реабилитирован (после того, как отсидел два срока, 19 лет, в заключении). Настроение скверное. Тяжко. Безнадежно. Моментами меня тревожило то, что меня увезли из лагеря, где все иностранцы, — а вдруг, мнилось мне, их будут отправлять по домам, а меня там нет. Меня тут «заморозят»... В лагере всего человек 9 иностранных подданных и лиц без гражданства. Это больные, привезенные в центральную больницу из других отделений.. Все они волнуются — почему их не отправляют в лагерь, где все иностранцы. И им верится, что иностранцев отправят домой, а о них забудут в мрачной советской неволе. Прошло несколько месяцев, и вновь слухи, что всех иностранцев переводят в другой лагерь, куда стягивают абсолютно всех несоветских граждан, и оттуда их будут отправлять на родину. А что с нами будет? Со мною?

Ко мне пришел в качестве пациента нач. спецчасти, а он ведает всеми этапами. Я воспользовался встречей и спросил его, правда ли это. Он мне уклончиво ответил, что есть распоряжение заготовить списки всех иностранцев. И все. Но с улыбкой добавил: «На сей раз вас уже не

вычеркнут из списка». И опять чего-то ждешь. Веришь, веришь... Я уже девять лет в советских тюрьмах и лагерях. Девять лет. А впереди что? Срок мой — 25. На что надеяться, как верить?

В конце 1954 г., когда, казалось, стало легче дышать, я решился разыскать своих братьев и сестру в Советском Союзе. Через центральный адресный стол запросил адреса братьев и сестры. Сделал это не без страха за них. До сих пор нельзя было заключенным делать такие запросы из лагеря. Да и небезопасно для родных заключенного. Я не знал, что со старшим братом в Ленинграде, жив ли он, не находится ли так же, как и я, в «местах, не столь отдаленных» (в 20-х годах он был пять лет в ссылке за сионизм).

От центрального адресного стола в Москве я получил ответ — старый адрес сестры, который я знал с 1918 года. Про младшего брата сообщают: «Таковой не значится в Москве и Московской области». Первая мысль у меня была: ну, значит, он в лагерях томится... И я вспоминаю, что однажды в тюрьме на Лубянке меня вызвали на допрос. Крикнули в волчок: «На букву К.» Я отзываюсь. «Выходи!» Вышел, меня ждет старшина и конвоир. В руке у старшины записки. Смотрит в записку и спрашивает: фамилия? Отвечаю. Имя? Отвечаю. «Как, как?» Повторяю. «В камеру! — приказывает начальник. — Не тот»... Меня в дрожь бросило. Неужели и брат мой тут? — мелькнула у меня мысль. Слезы потекли из глаз, защемило сердце. Бедный, дорогой мой мальчик. Наверно, из-за меня пострадал. (Мы расстались много лет тому назад, когда ему было 18 лет, и он был студентом Казанского университета). Я долго не мог успокоиться. И мучила меня мысль: под одной крышей сидим, быть может, рядом... А теперь вот ответ адресного стола: не значится по Москве и Московской области. Я написал сестре в Москву — получил от нее ответ. Письмо ее было окрашено слезами, и я немало слез пролил, читая его. Сестра сообщила мне о смерти старшего брата в

год блокады Ленинграда, о смерти жены его от рака и о том, что младший брат был убит вражеской пулей на фронте под Москвой в январе 1942 г. Из всей семьи остались мы двое. Она и я, томящийся в мрачном советском лагере. Тяжело, больно. А что впереди?

«Ни зари, ни пути,
ни луча впереди...»

Письменная связь с сестрой у меня все же наладилась. Она боялась получать письма из лагеря, от «преступника»-брата. И я писал на адрес нашей дальней родственницы, 80-летней, больной, врача на пенсии. И от ее имени получал все письма и посылки на мой лагерьный адрес — «почтовый ящик №...» Сестра ошутимо поддерживала меня посылками продуктов, вещей. Посылала мне и медицинские книги, которых я в лагере, конечно, достать не мог, очень нуждаясь в них.

Посылки получали многие заключенные. Особенно религиозными людьми на имя главы религиозной секты (субботников, адвентистов, последователей Иеговы и др.). Свыше двух месяцев у меня в отделении лежал глава субботников. Он получал каждые две недели по 6—7 посылок, которые раздавал членам своей секты. Это верующие в Советском Союзе посылали страдальцам за веру, поддерживали их. После того, как не стало Сталина, многие заключенные, не получавшие долгими годами посылок, писем, стали получать их от родных. Даже те из заключенных, которым жены, сестры, братья раньше присылали письма: «Не пиши нам больше, мы тебя знать не хотим, ты «изменник родины», ты «враг нашего советского народа», «ты мне не муж, ты мне не брат, не отец» и т. п. Сколько таких случаев было! Муж, брат, конечно, понимал, что жену, детей заставили «отказаться» от него. Иначе их уволят с работы, а то и больше: им грозило очутиться там же, где он, муж, отец, — за решеткой, за колючей проволокой... После смерти Сталина многие жены «вернулись» (письменно) к своим мужьям, сестры к братьям. Но многие еще не делали

этого, опасаясь, — а вдруг все по-старому будет... Кто знает всех этих Маленковых, Хрущевых... Многие писали письма родным в лагерь, посылали посылки, скрываясь под чужими именами и фамилиями... Страх и террор всегда царили в СССР, во все времена. Даже когда стало немного легче дышать...

Обыски продолжаются, в особенности строгие перед 7—8 ноября, 1 мая. Чтоб, упаси Боже, не случилось чего в день «Великого Октября», не омрачило бы праздника. И, как назло, — было это в 1953 году, — в лагере С. случай самоубийства заключенного. Как раз в день «Великого Октября» он покончил с собой. В дни больших праздников заключенных не допускают к дежурствам — офицеры дежурят, а в больнице и на кухне — вольные врачи. Как можно в эти великие дни доверить заключенным наблюдение, пробу пищи. Они еще понадеются «делов»... И вот один такой «контрреволюционер» «отомстил» — покончил с жизнью своей в день праздника 7 ноября. Начальство распорядилось записать этот несчастный случай 9 ноября. А праздничные дни, 7 и 8 ноября, прошли «в полном порядке». Администрация лагеря была на должной высоте, сознавая величие дня «Великого Октября»... Так пишется советская история...

В июле 1955 года всем иностранцам приказано «собираться с вещами» — куда-то нас отправляют. Не говорят куда, но мы узнаем, что в лагерь в г. Чарбан-Нура, в 50—60 километрах от Спасска. Среди заключенных упорный слух, что из лагеря в Ч.-Н. всех освободят и отправят «по домам».

Приехали в Чарбан-Нура. Маленький лагерный двор в центре нового, строящегося, растущего города в Казахстане. В этом лагере сконцентрировали до 200 заключенных иностранцев Карлага. Было еще два таких лагеря для иностранцев в других частях Карлага. Каких только национальностей не было в нашем лагере — немцы, поляки, румыны, венгры, чехи, болгары, китайцы, корейцы, японцы, персы, лица без гражданства. Я был сразу вод-

ворен в больницу. Больничка на 60 коек, довольно благоустроенная, неплохо обставленная. Хорошие, солидные кровати. Этого я до сих пор нигде в лагерях не видал. Да и здание больницы вновь построено, специально для нее, а не как обычно — приспособленный барак — сарай. В больнице всего 30 больных. Хорошая операционная комната, предоперационная, полный инструментарий. У меня отдельный кабинет для приема. Меня удивляет все это — что это за больница необычная? Начальник — молодой старший лейтенант, фельдшер. Симпатичный, без начальствующих претензий. В помощь мне медсестра, вольная, и фельдшер (заключенный). Рядом с больницей барак, в котором помещается амбулатория. Ею ведет мой фельдшер (русский из Китая). Санитары в больнице русские из лиц без гражданства. Кухня вся китайская, т. е. повар, его помощник и судомой — китайцы. Лишь только я расположился в своей комнате, ко мне пришел повар, представился по-китайски с низким до земли поклоном. Он харбинец и знает меня давно:

— Кто же в X-не не знает д-ра К.! — заявил он.

Обещал кормить меня всюю, делать самые вкусные китайские и русские блюда. И, действительно, кормил меня отлично.

В лагере раз в неделю кино, бесплатно, и раз в две недели показывают фильмы за плату, только за плату. Довольно хорошая библиотека (книги из конфискованных у «буржуев» личных библиотек). Русские и иностранные классики. Это было для меня большой радостью, единственным светом в моей тяжелой, гнетущей жизни. Книг для чтения я брал когда хотел и сколько хотел. Заведовал библиотекой знакомый мне бывший редактор русской газеты в X-не — М. А. Т., человек очень культурный, с высшим образованием. В лагере ни одного советского гражданина, кроме начальников, надзирателей и стражи. Все заключенные полны надежды на свободу. Непроста же, — думает каждый, — собрали всех иностранцев в один лагерь. Несомненно, будут отправлять

домой... И все верят, ждут, мечтают о близкой свободе, воле...

Одноэтажное здание больницы стоит позади барачков-казарм, в глубине небольшого сада. В саду у входа в больницу полуразрушенная беседка, скамеечка в ней. Я часто сижу один в беседке со своими мыслями, со своей тоской. Собачка где-то возле беседки приютилась, потягивается, зевает, оглядывается по сторонам, и опять дремлет. А у маленькой калитки у входа в садик собачья конура. Но в ней обитает не кто иной, как орел, царь птиц... Я заинтересовался его судьбой. Начальник санчасти частенько охотится. Однажды в одну из таких «охот» он увидел лежащего на лесной тропинке молодого орла. Подошел к орлу, наклонился над ним — орел взмахнул одним крылом и остался на месте, на грешной земле. Видит начальник — другое крыло у орла подбито. Пожалел лейтенант орла, а может, чтобы хвастнуть по-охотничьи — орла подстрелил... Положил его в свой ягдташ и принес к себе в Ч.-Н. Поместили его в собачью будку. И орел молодой вместе с другими пленными, с другими невольниками, — в советском лагере в Казахстане. В будке он почти не сидит, лишь в ненастье залезает туда, а то больше всего на улице, возле будки, по саду понемногу ползает. Я часто смотрю на молодого орла и думаю об его участи. Свои хищнические инстинкты он не оставил. Как-то подобралась к нему кошка, заинтересовалась: что это за зверь — не видала такого за всю свою жизнь на земле. Подобралась близко к нему, а орел схватил ее, заклевал. Изо дня в день я слежу за орлом. Он неустанно делает попытки взлететь ввысь. Поднимается — нет не может... И опять опускается, падает. И все смотрит вверх, в голубое небо. Тоскует. И все рвется, рвется вверх.

«Порывы мощные
и связанные крылья...»

Однажды не стало орла. Санитары бегают, ищут его повсюду. И нашли его в конце лагерного двора, лежа-

щим на земле. Долетел ли он туда и в бессилии упал или дополз совсем не по-орлиному?! Принесли орла обратно, водворили на место, в собачью конуру. Но орел не мирится со своим положением. И все бьется, бьется, мечется, взмахивая одним крылом. Замечаю, что он стал выше подниматься. Сидит на крыше своей будки, однажды даже на больничном крыльце очутился. Однажды утром — нет орла. И нигде найти его не можем. Осмотрели все в лагере, кругом — нет орла. Исчез. Быть может, витает теперь где-то высоко в небесах. И вещает о своей жизни в советском лагере... Я радовался за орла... Я завидовал ему... Он на свободе. А я? «Дайте мне крылья свободной орлицы»...

Питание в лагере обычное: «достаточно, чтобы не умереть, недостаточно, чтобы жить»... Есть ларек «Горторга» — в нем только хлеб. А денег почти ни у кого нет. Посылки получают только немцы.

Стали у нас пропадать собаки. Неужели сбежали? Так привыкли к месту, к людям. И никогда собаки лагерь не покидали, хотя им, собакам, можно было свободно выходить за вахту, за колючую проволоку, совершенно свободно, без конвоя... И поймали воров. С наступлением сумерек, корейцы-заключенные (их было в лагере человек 8) ловили собак, сдирали с них шкуру и... ели.

Однажды под вечер в мой кабинет зашел заключенный, назвал свою фамилию и добавил: «Я ваш земляк, харбинец». И он показывает мне письмо, полученное им от своей жены из Сибири. В письме жена пишет ему, что она тут (в сибирском городе) с драматической трупой. Режиссер труппы и его жена мои хорошие знакомые, я их знал еще детьми. Они просят передать мне, что знают адрес моей семьи и могут переслать ей мои письма. Таким образом я связался с моей семьей в Израиле. Я писал через моих знакомых в Сибири, и через них получал от семьи письма. И еще через одного знакомого на Урале я поддерживал связь с семьей таким же путем. Это бывший редактор ежедневной газеты в Х-не,

отсидел десять лет в заключении и теперь работал медбратом в туббольнице на Урале. Он «с воли» пересылал мои письма в Израиль. Я был счастлив до слез.

Наконец-то начались отправки заключенных иностранцев. Всех венгерских граждан вызвали в спецчасть, проверили, отправляют. Куда? В этап. Домой, на родину. Почему только венгров? В лагере волнение. Немцы, поляки, японцы бегут к одному начальнику, другому. Спрашивают, требуют. «Скоро, скоро и вас отправят». Смотрят с недоверием. Мои больные в панике. Человек шесть больны инфекционной желтухой, у двух воспаление легких, один немец-полковник с тяжелым заболеванием мочевых путей. Все волнуются: а вдруг их не увезут из-за болезни? Тогда пропало дело, они навсегда тут останутся, сгниют в «проклятом советском заточении». Они с мольбой смотрят на меня, их врача: помоги!

Одного за другим отправляли из лагеря румын, поляков. Остальные все время в тревожном, волнующем ожидании. Идет неделя за неделей. Дошла очередь и до немцев. Трех немцев вычеркнули из списка. У одного оказалось семь паспортов разных государств (по протоколу следствия). И неизвестно якобы, кто он? Немец? Венгр? Чех? У другого в документах значится, что он родился в Кракове. Кто же он? Поляк? Немец? Оставили их до выяснения. Что эти немцы вытворяли! Ругались, скандалили. Всех немцев отправили, даже того, кто был начальником газкамеры... Всех на свободу.

Ну, а что с нами будет? Когда наша очередь? Ведь и мы были арестованы за границей, мы не советские граждане. Начали отправлять китайцев, корейцев, японцев. Китайцы и корейцы в отчаянии. Их отправляют в коммунистический Китай, Корею, там их ждет такая же участь, а то и просто ликвидируют, по-большевистски. Не пошлют же их в чанкайшистский Китай, на Формозу, или в Южную Корею. Они в большой тревоге. «Нас ждет тюрьма», — говорили они. Предчувствие их не обмануло. Месяцев через пять я видел их — на пересылке в

К-се стоял эшалон, целый поезд с китайцами. Они все еще были в пути на родину. Потом до нас дошли вести, что на границе советские передали их военным властям коммунистического Китая.

В лагере Чарбай-Нура остались одни лица без гражданства и человек пять иностранцев, задержанных временно, до выяснения их личности и гражданства. Нас, лиц без гражданства, не отправляют, но обещают — «вот-вот вас отправят». Когда? Куда? Ждем, волнуемся. Наконец выяснилось: лагерь в Чарбай-Нура совершенно ликвидируется. Людей стали отправлять в разные лагеря-отделения Карлага. Остались только больные, человек 15, я — врач и медобслуга. Больные лежат на одной половине больницы, а другую половину будут завтра освобождать начисто. И что тут творилось...

Въехал во двор один из многих начальников, не обращая ни на кого внимания, велит вынести две кровати. Их кладут на телегу, на которую сел сам начальник, и увозят. В тот же вечер еще один начальник взял две кровати, два надзирателя увезли по одной. Уже ночью, часов в 11, появился еще один начальник. Он забрал радиоприемник и стал ломиться в дверь комнаты начальника санчасти. Дверь закрыта на ключ. Вызвал меня и спрашивает:

— А где у вас тут диван с высокой стенкой и полкой зеркальной?

— Не знаю, — ответил я.

— Откройте эту комнату, — говорит офицер, указывая на дверь кабинета начальника санчасти.

— У меня нет ключа.

— А где ключ?

--- Наверно у начальника санчасти.

И начальник ушел без дивана. Ушел разочарованный, с одним радиоприемником. Назавтра начальник санчасти, узнав, что господа офицеры всю таскали кровати, радио, стулья и даже кое-что из кухни, крепко выругался, но был счастлив, что диван с высокой спинкой и зер-

кальной полкой цел и невредим. Диван этот и одна кровать перешли в его собственность. Что это? Воровство? Хищение? Нет, это в порядке вещей... Ведь это государственное добро, общественное, оно принадлежит всем и... каждому. Сам народ — «хозяин страны»... Офицеры, разные лагерные начальники, служащие МВД очень огорчены ликвидацией лагеря. Начальников сокращают. Они обеспокоены. Их очень волнует ожидаемое. У них, в значительном большинстве, нет никакой специальности, никакого ремесла. Ведь для того, чтобы стать начальником лагпункта, КВЧ, спецчасти и других, никакой специальности не требовалось. Требовались совсем другие данные... И, естественно, их, «начальников», очень тревожила будущая судьба. Шутка ли, лишиться такой хорошей, доходной службы... Они очень мало работали, все брали из лагеря, жили за счет заключенных. Добрая половина рациона питания заключенных «принадлежала» им. Один офицер решил стать шофером, будет учиться этому делу. Другой сказал:

— И не придумаю, чем заняться. Хотя в колхоз иди на нищенскую жизнь...

Одному из них удалось устроиться в торговой сети продавцом. Бедные «начальники» лишались теплого местечка и неограниченной власти над невольниками...

ГЛАВА 13

Из Ч.-Н. меня отправили в лагерь в Долинку. Ехать до Долинки всего минут 40 автомобилем. Я в новом лагере — 6-ом? 7-ом? Восьмом? И счет потерял. Принял 3-е терапевтическое отделение, и там имел маленькую комнатку — кабинку для жилья. Неприглядная, тесная, повернуться негде, но отдельная. Рядом со мною в такой же комнатухе живет врач-невропатолог, тоже заключенный. В нашей центральной больнице много врачей — все они вольные (четверо из них бывшие заключенные). Только мы двое — невропатолог и я — заключенные. Меня еще более нагрузили работой, передали и терапевтическое отделение главного корпуса центральной больницы. Зато дали и лучшую комнату. Работы много, а беспокойства еще больше. Привозят в центральную больницу больных из всех лаготделений. Привозят ежедневно каких угодно больных. Вольные врачи работают 5,5 часа в день и уходят, а ты и за них работаешь целый день и ночь.

Территорию лагерь занимает маленькую. Все здания барачного типа, низенькие, убогие. Лишь главный корпус больницы имеет «современный» вид. Большое одноэтажное каменное здание. Просторные палаты, широкие коридоры, удобства. Хорошая операционная, современно оборудованный светолечебный кабинет. Во дворе строится новое здание для душевнобольных. Их много, число их растет. В лагере, который является только больничным городком, живут в двух бараках двести заключенных, почти сплошь уголовный элемент. Уголовники управляют жизнью. Постоянные скандалы, драки, побоища.

Начальство хлопочет годами, чтобы этих «блатных» убрали из больничной зоны. Но все безуспешно. В двух населенных уголовниками бараках всю ночь напролет отчаянная, карточная игра. Играют на деньги, на одежду: на бушлат, куртку, штаны — на все, что имеется при тебе. Одного, в пух и прах проигравшегося, за то, что и платить нечем, раздели догола и выбросили на улицу. Ночь декабрьская, морозная. Полузамерзший доплелся он до больницы, зашел в 3-е терапевтическое отделение. Дежурная сестра прибежала за мной. Что поделаешь?! Человек ведь, живой человек. Уложили его на койку, стали отогревать, накрыли тепло — лежи. Среди некоторой части больных пришелец встретил сочувствие, его жалели. А часть больных кричала:

— Гоните его вон, суку! Пусть пропадает, гад этакий!

Играли «блатные» в карты и на «жизнь» кого-либо. Проигрался, платить нечем — выносят решение: должен убить того-то и того-то. А то просто ставят на карту жизнь коменданта лагеря или кого-либо из его людей. Или кого-либо из своих, «ссучившихся»... Через несколько месяцев, когда я был в другом лагере, один «блатной», сильно проигравшийся в карты, мог искупить свой грех и уплатить «долг чести» только убийством. Выйдя из барака после проигрыша, он увидел в окне одного из барачников свет — сидит человек и пишет. Он зашел к нему и ножом нанес ему несколько смертельных ран. Это был бухгалтер лагеря. Он окончился от ран. Но блатной-убийца свой «долг чести» заплатил...

И вот ты живешь в этой обстановке вместе с этими людьми, в одном доме, под одной крышей, но не как равный с равными... Они «привилегированные», они ведь не «контрреволюционеры», не СОЭ (социально-опасный элемент), они — «советские человеки»...

В больнице каждый день скандалы, часто драки между больными. Вдруг 7-я палата забастовала — не ест, не пьет, не принимает лекарств. Что случилось? «Почему де-

журный у выходных дверей никого на выпускает из здания, а на ночь дверь закрывается?».

В 3-й палате один больной зашил себе... губы. Наложил на губы два шва, оставив лишь слева маленький уголок между губами, чтобы из ложечки пропускать в рот воду. Кто это ему сделал? Сам себе. Почему? Молчит. Принесли ножницы и пинцет, чтобы снять швы. Не дает, спрятался под одеяло, стучит ногами, кулаками по кровати, столу. Так и не дал. Я не стал бороться с ним. Пришло начальство, человека три. Больной с зашитыми губами и не хочет смотреть на них. Показал им демонстративно свои швы на губах и кулаком угрожает... Начальство решило оставить его в таком виде, с зашитыми губами. Но стали допытываться, откуда у него шелк. Где он взял его? Одна вольная сестра ответила: «Что вас удивляет? Разве для вора это проблема!»

Через два дня в 5-й палате аналогичный случай. Почему эти два больных сделали это — так и осталось их тайной. По три дня они были с зашитыми губами...

Среди больных были еврейский поэт А. К-н и еврей — режиссер из Москвы. Они меня часто посещали, рассказывали мне о еврейском житье-бытье, о евреях-писателях. В этом лагере мне пришлось заниматься и педагогической деятельностью. При центральной больнице были организованы курсы для медбратьев — восьмимесячные и фельдшеров — двухгодичные. Читались все медицинские дисциплины. Преподавали шесть вольных врачей и два заключенных (невропатолог и я). Я вел занятия по трем дисциплинам: внутренние болезни, детские и инфекционные. Читал я четырнадцать часов в неделю. Труд этот оплачивался по шесть рублей за час (тогда еще были старые деньги). Меня эта работа даже увлекала, хотя была нелегкой. Большинство курсантов малокультурные люди, и не легко было объяснить им патологический процесс болезни. Эта работа давала приличный по лагерным условиям заработок, плюс небольшая зарплата врача. Но тратить деньги негде было: в ла-

герном ларьке лишь серый хлеб и изредка колбаса, папиросы, мыло. И это все.

В январе 1956 г., под вечер, ко мне пришел надзиратель и сказал:

— Собирайтесь, живо, вас отправляют. С вещами к вахте!

— Позвольте, что случилось, что за срочность? Вечером. У меня ведь два терапевтических отделения, надо же их сдать.

— Сейчас же к вахте, приказано прибыть с вещами. Начальник лагпункта ждет вас там.

Я начал быстро собираться, помогали мне санитары и больные. Передал я все истории болезни сестре. Тем временем за мной вторично пришел надзиратель:

— Скорее к вахте, надо попасть к поезду.

— Куда это везут? — спрашиваю я.

— А кто его знает! Торопись, врач.

Кое-как уложился, кое-что роздал больным и санитарам и поплелся к вахте. Тревожит мысль: почему так спешно? Куда везут? Зашел в маленькую хатку возле вахты, а там еще два земляка: студент-медик пекинской медицинской школы, работавший фельдшером в лагере, и наш больничный статистик, житель Мукдена. Он юрист по образованию, работал в Мукдене бухгалтером в еврейской (американской) пушной фирме. Мы с ним встречались, беседовали. Везут, стало быть, нас троих — все трое лица без гражданства. В хате за столом сидит начальник лагпункта с бухгалтерской книгой и шкатулкой.

— Получайте расчет, — обращается он ко мне и дает мне сто с чем-то рублей.

Я говорю ему, что тут ошибка — мне причитается много больше этой суммы. Мне не уплатили за лекции с декабря месяца. Начальник роется в книге, не может разобраться. Посылает надзирателя за кем-либо из бухгалтерии. Но там никого нет, контора закрыта. Нач. лагпункта предлагает мне:

— Получайте, сколько тут записано, а завтра разберемся.

— Нет, гражданин начальник, так не пойдет. Ни вы, ни я не знаем, куда меня везут. Я денег не приму, платите все, как следует.

Известные махинации.

— Как же быть? — спрашивает начальник

— А почему я должен страдать? Я работал, а где же зарплата?

— Но надо ехать, понимаете? По телефону передали, чтоб немедленно отправить вас, чтобы поспеть к поезду.

Сошлись мы на том, что я распишусь в получении денег не в табеле, а на отдельной записке, где укажу, что не получил следуемые деньги за лекции с декабря месяца. (Долг этот, 350 рублей, я получил лишь через полгода после трехкратного обращения к начальству в Долинке. На мои обращения не отвечали. И я тогда пожаловался районному прокурору. Ему пришлось дважды писать, требовать. Я все же добился денег).

Нас троих вывели за вахту, посадили на грузовик. Был восьмой час вечера, трещал мороз. Ноги в валенках, на голове — шапка-ушанка, да только ватный бушлат, да ватные китайские брюки. Что поделать? Мерзну. Одно утешение — ехать недолго, всего минут 40. А там в железнодорожный вагон... Ночь звездная. Сидим на своих вещах. Возле нас конвоир с винтовкой, в теплом овечьем тулупе. Едем до пересыльного пункта К. А там? А там — опять в неизвестность. Что ждет меня? Вновь тюрьма, новый лагерь и — и те же страдания...

Пересыльный лагерь в Карабасе. Знакомое место. Восемь лет тому назад я жил тут больше полугода. Встретивший нас офицер забежал в дом и вышел оттуда с командой: в лагерь! Спецчасть уже заключила список этапа, и хотя поезд еще не ушел, но список закрыт, подписан, печати приложены. Мы, выходит, опоздали.. Ввели в какой-то барак, в котором уже находились на нарах 35 человек заключенных, все лица без гражданства.

Я занял свободную нижнюю нару. Некоторые валяются здесь уже 3 — 4 месяца. Почему их не отправляют — никто не знает. Видимо, такова и моя участь. Утром ко мне в барак пришел врач больницы:

— Собирайтесь. Начальник санчасти распорядился перевести вас в больницу, в мою комнату, вместе со мною будете.

Я поинтересовался, кто это проявил ко мне внимание. Оказывается, это врач Ю., который был в лагере К. врачом в моем терапевтическом отделении. Он с год тому назад закончил свой десятилетний срок заключения, и теперь работает в пересыльном лагере К. начальником санчасти. И вот я в большой комнате, на хорошей кровати, вдвоем с врачом — заведующим больницей. Он, впрочем, единственный врач в больнице. Он родом из Бессарабии, еврей, но чувствует себя «свободнее», т. к. он не «политический» преступник, а «уголовный». Был железнодорожным врачом в Кишиневе и провинился по службе, получил семь лет исправительно-трудового лагеря. Сидит уже последний год. Мы живем с этим врачом в одной комнате. Кормят нас сравнительно хорошо — все же больничный стол. Мы часто беседуем на разные темы, житейские, медицинские. Я не затрагиваю еврейского вопроса, — он советский еврей, еще, быть может, из евсековской банды. Я тут временно, наверное, считанные дни. И во избежание конфликта и нарушения мирных отношений — я молчу. Как-то вечером, когда мы лежали на своих кроватях и читали книги, он вдруг заявляет:

— Вижу я, плохой вы еврей, еврейство вас не интересует.

— Почему вы так думаете?

— Уж сколько дней мы вместе, и вы ни разу не заговорили об еврействе, — сказал он.

— А вас еврейство интересует? — спросил я.

— Да, я еврей-националист.

— Руку, товарищ! — сказал я. — Я за это сижу здесь.

Он подбежал ко мне, крепко обнял меня. И мы раскрыли друг другу свою еврейскую душу, свое еврейское сердце, свои еврейские думы и мысли... Мы были братьями по крови, по душе, по духу.

Зашел ко мне человек лет 50-ти по виду и представился: еврейский поэт О-ч. Я очень обрадовался. Поэт О. провел у меня часа два, читал мне свои стихотворения, особенно удачные на библейские темы. Он был у меня пару раз, и мы приятно провели часы за беседой на еврейские литературные и общие темы.

Две недели прожил я на пересыльном пункте К., и 26 января приказано «собираться» с вещами». Опять в путь. В 12-м часу ночи, нас, человек 30, под сильной охраной, повели. Все вещи сложили на телегу. Плетется лошаденка с возом арестантских вещей, а за нею мы. Ночь темная. Ведут нас какими-то закоулками, пустырями. Темно, ни одного фонаря. Плетемся один за другим, ощупью. Виднеется как будто вокзал. Но нас ведут куда-то вокруг. На задних путях стоит один вагон с решетками. Наш, значит... Назавтра часов в 11 вечера прибыли. Где мы? Петропавловск. Плетемся с вещами. Какой-то темный, безлюдный, пустынный переулок. Стоит «черный ворон» на полных парах. Ждет новых «гостей». Через минут 20 мы в Петропавловской тюрьме. Все в одной большой камере, где уже находятся человек двадцать. Среди них три земляка, маньчжурца. Они до сих пор были в лагере где-то возле Красноярска. Куда везут — не знают. Один старик, лет под 80, К-ский, поляк по национальности, харбинец, говорит, что его везут в инвалидный дом. Он отбыл свой десятилетний срок. Родных у него в Советском Союзе нет, девать его некуда, и его везут в инвалидный дом в г. К. Через года полтора я, действительно, встретил его в К. в инвалидном доме специально для «бездомных» и «безродных», отбывших срок по 58-й статье («контрреволюционеров, политиче-

ских преступников»). Плохо, очень плохо в петропавловской тюрьме. Душно. Грязно. Лежим на голых нарах. Клопы. Одна маленькая лампочка ввинчена в потолок. Питание очень плохое. Спасибо, дали в бане помыться. День, другой, третий — на седьмой день команда: «Собирайтесь с вещами». В подвальном этаже обыск. Обыскивают все вещи и тебя самого догола раздевают. Что не нравится офицеру и надзирателю (или, правильнее, что понравилось им) забирают. На каком основании? «Не положено», — раздается в ответ. «Черный ворон», вокзал — советско-столыпинский «вагон-зак»...

Прибыли в Свердловск. Знакомая пересыльная тюрьма, в которой я дважды томился в 1946 и в 1948 гг. Жуткое воспоминание. В Свердловске мы всего двое суток валяемся, и нас отправляют в Челябинск. Дня четыре мы в Ч-ске. Ужасная тюрьма, ужасное питание. Спасает тюремный ларек, в котором вы можете купить (если у вас есть деньги) булку беловатого хлеба, иногда молоко, колбасу. И... опять в дорогу. Выгрузили из «черного ворона» и ведут куда-то, видимо, на вокзал. Нет сил идти по глубокому снегу. В руках у меня тяжелый чемодан с книгами, на спине — мешок. Остановился передохнуть. Конвоир приказывает идти — чего стал?

— Не могу, без сил остался.

Впереди меня еще один в изнеможении остановился. Конвоир кричит мне:

— Иди, бросай вещи свои, коль нет сил.

Я на минутку задумался — «а, может, в самом деле бросить все? Зачем это? Конец ведь все равно один... И жалко, — ведь это все, что я имею. А книги, книги, они мне так нужны. И впереди еще четырнадцать лет лагеря...» Нет сил, не могу двигаться. Сижу на чемодане в глубоком снегу. Конвоир два раза крепко ударил меня прикладом винтовки. Больно, но сил не прибавилось... Этап движется дальше. Подошел ко мне задний конвоир, молоденький боец:

— Что, папаша, не можешь идти? Заболел, что ли?

И он берет мой чемодан, вдевает винтовку в кожаную ручку его и — винтовку на плечо, а в другую руку берет мой мешок. «Айда, папаша, пошли!» И я поплелся рядышком с ним. Когда приходилось перепрыгивать через ров, канаву, молодой боец помогал мне: «Давай, папаша, руку!» Наконец-то вокзал, «вагон-зак». Едем дальше. Уфа. Опять «черный ворон», опять тюрьма. История повторяется... Следующая тюрьма в Куйбышеве (быв. Самара). Тут мы целых восемь дней «живем». Мне нездоровится. Иду в тюремную амбулаторию на прием. Прием ведет пожилая женщина-врач. Узнав, что я коллега, она уделяет мне особенное внимание. Она шепчет мне на ухо «по секрету», что нас везут «на освобождение», что мы уже «освобождены», и по приезде на конечный пункт мы будем на воле. Она рада за меня, жмет мне руку.

— А где этот «конечный пункт»?

Она не знает. Говорю ей:

— До конечного пункта ноги протянешь. Ведь мы уже 30 дней в пути. Измучены тюрьмой и арестантскими вагонами. Нет сил...

Женщина-врач предлагает мне лечь в тюремную больницу. Я ей говорю:

— Стоит ли, если еду «на освобождение»? Увезут всех, а я останусь тут «замороженным», забудут про меня...

— Что вы, что вы? Как это можно! — искренне протестует докторша.

Тогда я ей говорю тихо:

— А вы можете положить меня в стационар, ведь у меня срок 25 лет!

Милая докторша прямого ответа на это мое заявление не дала, а только сказала:

— Ну, знаете, раз вы опасаетесь, что вас тут «забудут», не ложитесь лучше в больницу...

«Милая коллега! Я тебя понимаю, — подумал я, гля-

дя в ее смущенное лицо. — Спасибо, товарищ!» Получив пару таблеток, я поплелся в свою камеру. В Куйбышеве мы задержались еще на пару дней. В соседней камере обнаружили подкоп. Обыски во всех камерах. У нас в камере у кого-то во время обыска нашли лезвие от безопасной бритвы. И опять повсюду обыски, догола раздевают. Шум, крики, матерная брань. И, наконец, везут дальше. Еще одна остановка где-то — и мы в тюрьме в Рузаевке. Камера битком набита, приткнуться негде. Тут мы встретились с довольно большой группой из тех, которые полтора года тому назад были участниками восстания — бунта заключенных в К-ском лагере (Карлаг). Весь лагерь, все 5000—6000 человек двух мужских и одной женской зоны взбунтовались. Заключенные захватили власть в свои руки, разрушили стену, разделяющую мужские и женские зоны. Столовая, кухня, пекарня, склады — все в руках заключенных. Начальство бежало из лагеря. Вахта опустела. Начальство ведет переговоры с заключенными у ворот — один по одну сторону, вне лагеря, другие — по другую, внутри лагеря. Требования бунтующих сводятся к улучшению условий жилья, питания, отношения к заключенным, освобождения из лагеря больных и инвалидов и т. п. Но начальство и слушать не хочет — как смеют заключенные требовать что-либо, когда и на воле никто не смеет открыть рот, протестовать, — неслыханное в Союзе Советских Социалистических Республик... Переговоры без результатов. Заключенные не сдаются. Но победило оружие, тяжелое оружие. Что есть у заключенных? Ножи, железный лом, топор — и все. И советская власть пустила в ход пулеметы, даже танк въехал в лагерный двор. Много жертв, много смертей. Масса арестованных. Суровые меры наказания, вплоть до смертной казни «зачинщику». Сроки — 25 лет. Их разогнали по разным лагерям, и вот часть из них в рузаевской тюрьме. Мы вместе с этими «бунтовщиками», в одной тюремной камере. Вместе выходим в новый путь страданий. После 3—4 дней пребывания в ру-

заевской тюрьме нас отправляют. Ведут пешком. Далекий путь до вокзала. Нет сил нести свои вещи. Какой-то паренек, уголовный, берет мои вещи и несет их, сказав: «Дашь мне пачку папирос». Я с радостью согласился — И опять «вагон-зак», и впереди все те же ужасные условия — тесная, грязная, темная тюремная камера, скверное питание. Тюрьмы везде переполнены.

Шел январь 1956 года. Уже три года, как нет Сталина. Уже Хрущев царствует, а пока что *unum et idem* — гот же мрак и ужас неволи...

ГЛАВА 14

Нас привезли в Потьму. Мордовия (автономная Мордовская Советская Социалистическая Республика). Знаменитые потьминские (темниковские) лагеря. Знаменитые по своим суровым и жестоким мерам в отношении заключенных и по тяжелым, изнурительным работам этих невольников.

С вокзала гонят пешком в лагерь. Загоняют в какой-то старый дощатый дом с мезонином. В маленьком мезонине запирают. Нас тут, в этой конуре, человек двадцать, на нарах. В этой конуре мы валяемся два дня. Есть, кроме хлебного пайка и чая, ничего не дают. Это потьминская пересыльная тюрьма. Она переполнена заключенными. Отсюда отправляют в разные лаготделения. А их здесь целых 11. Нас, человек 50, отправляют в лаготделение, где находятся только «иностранцы», и все утверждают, что нас там освободят. В этом маленьком лагере до 600 заключенных. Большинство из них лица без гражданства. Есть и поляки, венгры, чехи, почему-то застрявшие в потьминских лагерях. Растолкали всех по общим баракам-казармам, а меня поместили в комнате при больничке, где живут врачи. В комнате врачей живут двое — чех и мой добрый знакомый, земляк, врач П. из Харбина. Он был арестован в 1948 г. в Х-не и вывезен в СССР, в читинскую тюрьму. Приговорен к 25-ти годам заключения в исправительных лагерях. Обвинялся в «шпионаже». Следствие продолжалось всего два месяца, т. е. он сразу во всем приписываемом ему «признался» и под всеми обвинениями подписался. «Да, был шпионом. В пользу Японии, против Советского

Союза»... «Сознался»... Все, все подписал, зная бесполезность всяких доводов, доказательств. Все равно засудят... Да еще будут пытаться всевозможными пытками, не уступающими средневековым, инквизиторским...

Этот врач П. страдает гипертонической болезнью и в лагере К. был представлен комиссии к «активировке», т. е. освобождению. Медицинская комиссия признала, что он подлежит освобождению из лагеря, как страдающий неизлечимой в тюремно-лагерных условиях болезнью. Но суд не утвердил этого решения об освобождении д-ра П. ввиду «тяжести преступления»... «Шпион», и сам признался в этом. Куда дальше? И П. продолжает находиться в «исправительных» лагерях уже восемь лет. Теперь он в потьминских лагерях, как лицо без гражданства, «иностронец». Иностранцы находятся в трех-четыре потьминских лаготделениях. Почему «иностранцев» уже два года перебрасывают и концентрируют в отдельных лагерях? Для чего? Никто не знает. Живут здесь в лагерях, как и всюду. Часть работает, водят за зону на работы, строительные, главным образом. Неработающие валяются целыми днями в грязных, темных бараках, в тесноте, духоте. Кормят, как везде в лагерях, — «достаточно, чтоб не умереть»...

В лагере нас человек 10 евреев: 5 из Польши, один из Чехословакии, один из Венгрии и нас трое лиц без гражданства с Дальнего Востока (Маньчжурия). В общем бараке, где живут 7 евреев, занявших отдельный уголок — купе трехъярусных нар у входных дверей, мы ежевечерне собираемся, называя это место «нашим клубом». «Ну, пойдёмте в наш клуб», — обращается ко мне д-р П. И с наступлением вечера, после казенного ужина, мы в «клубе». Часика 1,5-2 беседуем о еврейской жизни в разных странах, откуда нас забрали, где мы жили, работали. Вспоминаем дорогих нам людей, рассказываем о встречах с ними. И так каждый вечер.

И здесь, в этом лагере для иностранцев, жили в двух бараках за проволочной оградой, оборванной сверху

донизу, «блатные», уголовники. Они постоянно устраивали скандалы, драки, поножовщину. Почти ежедневно грабежи, кражи. То обокрали ночью ларек с кое-какими товарами (папиросы, махорка, спички, хлеб, иногда колбаса), то пищевой, то вещевой склад. И все этим бандитам сходило гладко — начальство боялось их. Да они к тому же «свои», «советские»...

Вскоре я был переведен в 9-е лаготделение и назначен заведующим терапевтическим отделением центральной больницы. В этом лагере я среди советских граждан, преимущественно уголовного элемента. Все лагеря в Мордовии, как и повсюду, переполнены — нет свободного местечка. Словно все население живет в лагерях... Лагеря, лагеря, повсюду лагеря! На Урале, в Казахстане, а теперь в Мордовии. Я уже в одиннадцатом лагере, в одиннадцатом!..

Я прибыл в 9-е лаготделение по узкоколейной железной дороге, соединяющей лагеря. Конечно, в арестантском вагоне. Но тут он иной, не «столыпинский», а советского производства — советский патент. Какая-то темная коробка. Под потолком крошечное окошечко с густой решеткой, две узенькие скамейки вдоль стен. Грязь необычайная, пылица. Никогда, видимо, этот вагон не моется. Сюда загоняют заключенных, не считаясь с вместительностью вагона, и люди валяются на полу, друг на друге. Но долго ехать в этом вагоне не приходится — три, четыре, пять, шесть часов — вся местность в лагерях, один возле другого. Вся дорога усеяна «вышками» с часовыми. Вся страна в лагерях...

Больница имеет ряд отделений-барakov — терапевтическое, хирургическое, туберкулезное, нервное и психиатрическое. Все отделения переполнены больными. Лагерь огромный. Рядом с больничной зоной по одну сторону большая мужская зона, а по другую, через стену — женская. С женщинами, конечно, оживленное общение. В больничной зоне, помимо больных, сотни заключенных живут в бараках. Каждый вечер собираются на одной и

другой стороне — встреча. Женщины и мужчины приветствуют друг друга, стоя на крышах бараков, сговариваются, договариваются. Надзиратели бегают, как угорелые, гонят заключенных. Но все напрасно. Ни один с крыши не слезает — свидание продолжается. Лишь сильный буран, вьюга в состоянии отменить свидание. Кое-кому приходится отсидеть в тюрьме несколько суток за эти свидания, за противодействие власти, но это никого не смущает — «игра стоит свеч»...

А тюрьма имеется в каждом лагере, и она никогда не пустует. Помимо скандалов, драк, побоищ много «непокорных», не желающих мириться с неволей. Немало уклоняющихся от физической принудительной работы. Платят за труд гроши. Работают тут на строительстве, а, главным образом, торф добывают. Работа тяжелая, а при расчете за месяц заключенные получают 8—15 рублей (старыми деньгами, т. е. до 1,5 рубля нынешними). Рабочие скандалят. Им показывают расчет — вычи за стол, бушлат, ботинки....Один рабочий получил за 26 дней работы три рубля. Он вскипел, стал шуметь, ругаться и выбил стекла в конторе лагеря. Его посадили на пять суток в тюрьму—надолго невыгодно сажать—ведь это «рабочие руки»... Лагерная администрация заключает договор с заводом, шахтой, торфяным трестом и т. п., обязуясь дать им определенное количество рабочих, и получает за каждого 20, 30, 40 рублей в день, а то и больше. Эти деньги поступают в кассу лагеря, а заключенный получает по 30—40—50 копеек в день за свой труд. Годами лагеря давали большой доход (ведь труд заключенного в продолжение многих лет не оплачивался — подневольный труд...) и хотя «у нас нет эксплуатации», но зачастую происходят столкновения, стычки между «советскими рабовладельцами» и несчастными невольниками — заключенными.

В 1956 году лагеря стали сильно пополняться советской молодежью, людьми в возрасте 17—18—30 лет. В Москве и Ленинграде начали бороться с хулиганством.

Столько развелось этого хулиганского элемента, что по улицам вечером и ночью ходить опасно — разденут, поколотят, а то и ножом пырнут. В столовых — вечные драки, пьянство. Раньше этих хулиганов-пьяниц отправляли в милицию, в так называемый «вытрезвитель», где они переночуют, бывало, на завтра идут домой и снова напиваются и хулиганят. Придумали иную меру — задерживают хулигана в милиции десять—пятнадцать суток, и в эти дни он чистит улицы, убирает снег. Но и эта мера ничуть не оказалась эффективной. Хулиганство росло. И вот стали судить за хулиганство по статьям 73 (хулиганство) и 74 (хулиганство с насилием). Приговаривали к заключению в лагере (ИТЛ) до полутора лет лишения свободы. Больше нельзя — это ведь не контрреволюция. За антисоветский анекдот — десять лет заключения. А это за что? Поскандалил, перебил посуду, мебель, поколотил кого-то, снял шубу, часы, пырнул ножом — полгода, год, полтора... Вполне достаточно! И стали прибывать этапы хулиганов, московских, ленинградских. По четыреста—пятьсот в день. И все молодежь, молодежь. У всех 73 или 74-я статьи. Хулиганов, хулиганов без конца. И они гордо разгуливают по лагерю. К заключенным по 58-й статье («политические») относятся пренебрежительно: «контрреволюционеры», «фашисты»...

Один даже нацепил на куртку комсомольский значок. Начальство велело ему снять его, но он не подчинился и все время носил его. Немало среди этой «героической» молодежи наркоманов. Все время пристают к медицинскому персоналу больницы и амбулатории: «Давай, давай опий, давай кодеин, морфий, кофеин!»... Просят, умоляют, угрожают. Удавалось им доставать водку. Играли вовсю в карты... Без конца прибывает эта молодежь 73-й и 74-й статей. Тысячи, много тысяч. «Имя им — легион»...

★ ★ ★

Евреев в лагере не вижу. Из какого-то лаготделения перевели фармацевта, пожилого человека. Провизор,

еврей. Человек этот куда-то ездил к родным, привез оттуда рыбу. Решили, что много рыбы везет он для своей семьи — значит, спекулянт. Забрали рыбу, арестовали, судили, — семь лет исправительно-трудового лагеря... Славный старичок, интеллигентный, симпатичный. Угостили его родственники рыбкой астраханской — и вот он в лагере. Работает в аптеке, лекарства готовит. Единственный еврей, кроме меня. Нет, есть еще один, оказывается. Приходит ко мне лагерный парикмахер, который бреет меня через день:

— Я буду каждый день утром приходить к вам брить вас. А то вам приходится там у нас иногда ждать, неудобно.

Я благодарю его, говорю, что в этом нет надобности — я забегая в парикмахерскую, когда у меня есть свободная минутка, и это меня не стесняет. С раннего утра я уже на работе. И парикмахер шепотом, боясь, чтобы кто-либо услышал (он знал, что в Советском Союзе везде «уши...»), говорит мне:

— Я еврей, но никто не знает, что я еврей.

— Зачем же вы скрываете свое еврейство?

— Тяжело устроиться на работу еврею. Я работал парикмахером в Кремле, выперли меня. Всяческими путями. И только, как еврея, — ничем не провинился, на хорошем счету был. Я свое дело знаю. И вот я, дурак, выправил себе новый документ, что я русский, и устроился, работал.

— Ну, а в лагерь за что попали? — поинтересовался я.

— Гулял с товарищами, пили, хулиганили. Ну, знаете, по молодости, да по глупости. Плохо конечно, поступил я. Ведь у меня семья — жена и ребенок. Чудная женщина жена моя, и ребенок хороший. А я вот опустился с компанией. И вот я в лагере.

Еще двое признались мне, что они евреи, но скрывают свое еврейство. Все те же мотивы... В каждом лагере я встречал евреев, скрывавших свою еврейскую национальность. В лагере скандал. Целый месяц не дают

заключенным сахара — причитается 14 грамм в день. Заключенные требуют сахар. Начальник снабжения заявляет: нет сахара. И в утешение добавил: «За зоной (т. е. на воле) тоже нет...».

Вдруг весть по лагерю: после обеда будут выдавать сахар. Радость в лагере. Шутка ли, дадут за месяц сахар, каждый получит 420 грамм сахара, фунт целый! У склада большая очередь — получают сахар. Некоторые уже по дороге в барак съедают его. И вдруг разыгрывается скандал, целый бунт. Обман, жульничанье, воровство — сахар не чистый, в сахаре примесь и соды, и соли, и какой-то крупы. Слышатся крики:

— Ребята! Несите все обратно! Не берите сахар. Четырнадцать грамм всего в день, и то обкрадывают. Жулье! Воры!

И понесли «ребята» обратно сахар. Только те, кто успели съесть его, посыпать хлеб сахаром и сразу проглотить, — только те, с сожалением, не идут. У склада, возле кухни, толпы заключенных. Шум, гам, крики. Начальник снабжения скрылся. Лишь через несколько часов, когда все побросали сахар на склад и разошлись, появились начальники. Они заявили, что будет сделана экспертиза, найдут виновных, и все получат полностью свою порцию сахара. Из толпы раздаются крики:

— А ты сколько нашего сахара наворовал? Чего искать виновных! Вы же и украли! Воры!

Маленькая деталь советской лагерной жизни. Картинка с натуры. Без прикрас...

В лагере организуют вечерние курсы — обучают грамоте. Оказалось, что среди молодежи 110 человек неграмотных, аналфабетов. И это при «всеобуче»... Преподают «политические» — других грамотеев в лагере нет — приходится прибегать к помощи «врагов народа». Преподают один присяжный поверенный, «изменник родины», один газетный работник — «контрреволюционер» и один экономист-статистик — тоже отбывает срок за КРД (контрреволюционную деятельность).

Туговатò идет с этими курсами — «ребята» учиться не хотят — для хулиганства и карманных краж этого им не надо... Посещают курсы едва десяток-полтора молодцов. И то их приходится загонять в так называемый клуб-читальню на занятия. Были также организованы (культурно-воспитательной частью) занятия по марксизму-ленинизму и истории партии. Среди грамотных, главным образом среди политических (58-я статья). До сих пор к этому «священному» предмету не допускались заключенные «контрреволюционеры», а теперь решили посвятить их в это великое таинство. Увидели, что исправительно-трудовые лагеря плохо «исправляют» заключенных. Решили просветить их. Один раз в неделю читают «контрреволюционерам» основы марксизма-ленинизма. Лектор бубнит по какому-то учебнику главу за главой. Скучно, лекции плохо посещаются и начинаются всегда на час-полтора позже назначенного времени, ибо приходится надзирателям созывать народ: «Чего не идешь? Ждут», — убеждает надзиратель. Не шли на эти «лекции» «контрреволюционеры».

В лагере остался один заключенный врач — я. Врач, ведавший нервным и кожно-венерическим отделениями, освободился, закончил свой десятилетний срок. И эти два отделения возложили на меня. Врач туберкулезного отделения, вольный, получил шестимесячный отпуск по болезни — мне передают и туботделение. Я целыми днями занят в четырех больничных отделениях. Два раза в неделю, по вечерам (после 8 часов вечера), провожу рентгеноскопию больных: рентгенолог в двухмесячном отпуске. Лишь хирургическое отделение не у меня — имеется хирург вольный. Но он работает только 5,5 часа в день до 2 часов дня. А после этого времени больные хирургического отделения под моим наблюдением. Вольный хирург года полтора хлопотал, чтобы его освободили от работы в лагере, хотел вырваться из лагеря, из МВД. И, наконец, ему удалось. Прибыл новый хирург, заключенный, откуда-то поблизости, из Мордов-

ской АССР (быть может для этой цели специально арестовали...)

Больше всего беспокойства причиняет нервное и психическое (буйное) отделение. Больной, находившийся в отдельной кабинке, изолированный, вытащил каким-то образом доску из пола и бежал. Другой пытался повеситься в уборной. Третий уже два дня не ест, отказывается принимать пищу. Баракom душевнобольных ведаёт фельдшер, но при всяком заболевании или каком-либо казусе прибегают за мной. Меня и в женскую зону тянут. И там вольные врачи только до 2 часов дня. И в женской зоне есть отделение для душевнобольных, и там происходит то же самое. Нервных и душевнобольных среди заключённых много. Не все могут выдержать чекистское следствие с его приемами — издевательство, пытки. Далеко не все. И приходится удивляться тем, нервы которых выдерживают... И здоровые люди, ни за что ни про что арестованные, становятся калеками на всю жизнь. И немало их гибнет в советских лагерях...

В течение одной недели были среди женщин три случая глотания... иглок. Я провожу рентгеноскопию и рентгенографию. В помощь мне рентгенотехник, тоже заключённый, эстонец. Вот интеллигентная женщина, немка. Она проглотила иголку. Как это случилось? Она сначала утверждала, что шила, держала иголку во рту, забыла о ней и иголка проскочила внутрь. Потом призналась мне, что хотела «повредить» себя, покалечить. Когда я её постыдил за такое малодушие, она сказала мне:

— Ну, скажите, доктор, для чего такая жизнь?

Смотришь на таких с сожалением и с сочувствием. Судить их трудно. Они жертвы подлого, гнусного времени, произвола, насилия, неслыханного деспотизма...



По лагерю слух — приезжает комиссия Верховного Совета СССР, которая будет пересматривать дела всех

«политических» заключенных, всех без исключения. По постановлению XX съезда КПСС, на котором был резко осужден «культ личности», «сталинизм». Он якобы и привел к арестам многих миллионов невинных людей. Создан ряд таких государственных комиссий, которые теперь направились в разные лагеря, чтобы там на месте лично допросить заключенных, пересмотреть их дела. Комиссий много, ибо лагерей, лаготделений, лагпунктов — «несть числа»... Карлаги, Степлаги, Песчлаги, Луглаги, Сиблаги, Севураллаги, Востураллаги — восток и запад, север и юг — сплошь лагеря. Вся страна о концлагерях...

И вот комиссия двинулась во все эти «злачные места». В мае 1956 года прибыла и в наш лагерь такая комиссия из пяти лиц во главе с полковником. Из лагеря в лагерь следуют они по потьминским лагерям. Предоставили комиссии отдельный барак, и она начала свою работу. Вызывают одного за другим заключенных, отбывающих наказание по 58-й статье (уголовных не вызывали — для них бывает ежегодно амнистия). Комиссия пропускает сотню людей в день. Спрашивают фамилию, имя, отчество, возраст, национальность, по какой статье осужден. Стыдят за совершенное преступление. Недовольны, когда заключенный заявляет, что он ни в чем не виноват, его ни за что осудили. Членам комиссии больше нравятся «покорные», признающие свою «вину», «кающиеся грешники»... Так, работающий в нервном отделении фельдшером подполковник Красной армии, прошедший всю войну на фронте, получил после войны 25 лет заключения. И вот он предстал перед комиссией Верховного Совета. После вопросов биографического характера председатель комиссии, полковник, говорит ему:

— Как вам не стыдно, подполковник Советской армии — и шпион.

На это фельдшер-подполковник ответил:

— Я шпионом не был. Я сражался за родину. Меня незаконно арестовали, мне даже не дали сказать слово защиты. Меня схватили, заперли в тюрьму и по ОСО

дали 25 лет. Приписали шпионаж какой-то. Это обвинение ложное, оскорбляющее не только мою честь, но и честь моего полка и всей нашей армии.

Его правдивые слова не понравились комиссии: подполковнику только снизили срок наказания — сбросили десять лет, а 15 лет оставили, и ему надо было сидеть еще несколько лет.

— Мне посоветовали сказать правду, ведь я не виноват. А это, оказывается, был плохой совет, — жаловался мне подполковник со слезами на глазах. — Надо было «признаться»: да, я был шпионом, — и я был бы на свободе.

— Но как можно взять на себя такую вину? Ведь вы, подполковник армии, честный человек. Как можно признаться в том, чего не было, да еще в таком преступлении! Не понимаю, — сказал я.

— Я думал, — продолжал подполковник, — что комиссия поймет, увидит всю гнусность обвинения. А выходит, что комиссия — это продолжение пресловутой «тройки».

У подполковника в глазах стоят слезы.

— Поверьте, доктор, мне не только за себя обидно, мне больно за все, что происходит у нас, в нашей стране. Я уж как-нибудь отмучаюсь пару лет. 11 лет сижу, два года у меня зачетов. Осталось два года, а с зачетами — это 8—9 месяцев. Гнусно все это, доктор, больно...

Четыре дня заседала комиссия Верховного Совета в нашем лагере. Меня и несколько человек не вызывают. Нас это беспокоит, волнует. Иду к начальнику спецчасти.

— Почему меня не вызывают?

— Вы включены в список, как и все, кто по 58-й статье. Я узнаю, — сказал начальник.

И он узнал — моих бумаг нет в комиссии, еще не прибыли из Москвы. По получении бумаг меня вызовут, меня и еще несколько человек, в другое лаготделение, где комиссия будет заседать. Что ж, буду ждать.

Дней через пять мне приказано быть завтра в 8 ч. утра на вахте, поедem в 5-ое лаготделение на комиссию. И вновь надежда на скорое освобождение...

Утром нас пять человек посадили в вагон жел. дороги — везут в 5-ое лаготделение. Трое без гражданства, один немец и одна женщина. Она долгие годы жила в Америке, имела американское подданство, затем с какой-то делегацией прибыла много лет тому назад в СССР, увлеклась красивыми и многообещающими лозунгами о «царстве небесном на земле», восторженно приняла советское гражданство и... была арестована. «Шпионка». Двадцать лет лишения свободы. И ее почему-то не вызвали в комиссию, везут в 5-ое лаготделение. Привезли, ввели в какой-то двор, внутри стоит один одноэтажный дом. Это клуб. В нем заседает Государственная комиссия. Расположились мы на земле, на травке. Возле нас, конечно, вооруженный конвоир разгуливает. Одного за другим ведут заключенных на комиссию. Уже полдень — не вызывают, и кушать не дают. Кто даст? Лагерь этот нас «на довольствие» не зачислил. Конвоир разрешает нам дойти до лавочки купить себе кое-что — хлеб, «крестьянский» сыр. Покушали. Ждем. Двух вызвали, а меня не вызывают. Члены комиссии расходятся. Я подошел к председателю, говорю, что нас специально привезли на комиссию из другого лаготделения, но не вызвали. Он спросил мою фамилию, сказал, что бумаги мои не прибыли из Москвы.

— Зачем же вызывали сюда?

— Поезжайте обратно, вызовем в другое лаготделение, — был ответ председателя комиссии.

Часов в 7 вечера нас погрузили в арестантский вагон и повезли «домой», в наш лагерь. Прошло еще пять дней, и опять велят «собираться». Везут в 11-ое лаготделение на комиссию, на все ту же комиссию. Прибыли. Комиссия работает вовсю. 11-ое лаготделение очень многолюдное, многотысячное. Да еще прибыли на комиссию заключенные из разных лагерей. Растолкали людей по ба-

ракам. Меня, как врача, поместили в комнату врача при больнице. Не успел я расположиться, как меня вызвала начальница санчасти и предлагает мне начать работать здесь в больнице.

— Я это устрою: все равно вам ждать, — сказала начальница санчасти.

Я стал (временно) работать в больнице 11-го лаготделения, поделив с врачом-грузином больных. Пробыл в 11-ом лаготделении девять дней. И опять не был вызван комиссией: «Документы из Москвы не прибыли»... В чем дело? Почему таскают по лагерям, если нет документов! И я ни с чем опять вернулся в свой лагерь.

Это был конец июня 1956 года. Я потерял всякую надежду попасть на комиссию, которая уже закончила свою работу в потьминских лагерях. Как говорили, до 50 процентов заключенных были освобождены или им сократили сроки заключения. Начальник больницы, очень хорошо относившийся ко мне, хотя и был с антисемитским душком, успокаивал меня:

— Скоро вы будете свободны. 11 лет отсидели, свыше двух лет у вас зачетов, стало быть, уже тринадцать, остается 12 лет, а при зачетах три дня за день — это всего четыре года...

Всего... Расчет простой и ясный. А вскоре зачеты были отменены — вот и расчет... простой и ясный... Прошел июль, идет август — меня больше не вызывают в комиссию. Значит, меня это не касается. Я, видимо, не подлежу ее компетенции ввиду «тяжести преступления» сионизм! И так течет дальше моя унылая, постылая жизнь в лагере. Без надежд, без просвета.

ГЛАВА 15

«НА СВОБОДЕ»

В конце сентября меня вызывает начальник больницы в свой кабинет, усаживает меня возле себя на диване, оглядывается по сторонам — никого нет. Только один Иосиф Виссарионович Сталин смотрит со стены на нас, прищурив глаза...

— Поздравляю вас — вы свободны, — говорит начальник и жмет мне руку. — Теперь и «товарищем» назвать можно. Говорю вам это, товарищ, по секрету. Получен приказ из Москвы. Поздравляю вас от души, вы заслужили эту свободу, — и добавил: — Только не подавайте виду, что знаете об этом.

Я поблагодарил его и ушел. На душе ни счастья, ни веселой радости. Не верилось. Да как верить? Кому? Не первая «пытка надеждой»...

Назавтра меня вызвали в спецчасть и объявили, что «согласно указу Председателя Верховного Совета СССР от 14 сентября, я подлежу освобождению из мест заключения». Начальник предлагает мне подписаться. Прочсть самый указ мне не дали — «подпишитесь, что вам объявлено об освобождении — и все».

— Но я хочу знать, как я освобожден, — требую я.

— Освобождены со снятием судимости, — ответил начальник и указа прочсть мне не дал. Вообще начальники не любили, когда кого-либо освобождали из лагеря — невыгодно, чтобы лагеря сокращались. То ли дело при Иосифе Виссарионовиче, «царство ему небесное»...

— Куда поедете? — спрашивает начальник.

Дело в том, что с конца 1955 года отменены высылки заключенных после отбытия ими срока наказания, как это практиковалось целых 35 лет. Кончал срок заключенный, и его ссылали на вечные времена в Сибирь (Красноярский край), в Казахстан и другие «не столь отдаленные места»... Под конвоем освобожденного везли в ссылку, сдавали властям на месте, и он всю жизнь под наблюдением «всевидящего ока» ГПУ, МВД, МГБ и пр....

В 1955 г. среди послесталинских «реформ» была отмена ссылки, высылки.

— Куда поедете? — спрашивает меня начальник.

— Я хочу ехать в государство Израиль, — сказал я.

Начальник, казалось, сильно испугался... или не понял, или решил, что ослышался.

— Куда? — спросил он с тревогой.

— В государство Израиль, — повторил я. — У вас должен быть вызов моих родных из Израиля.

— Никакого вызова у меня нет. Почему вы хотите ехать туда?

— Я еврей, и хочу ехать на свою родину. И семья моя живет там, — ответил я.

Начальник этот знал меня, я пару раз был в его доме, в поселке, лечил его детей, жену.

— А разве ваша родина не Россия? — спросил он, как бы изумленно.

— Не будем говорить об этом, гражданин начальник, после того как я свыше одиннадцати лет томлюсь в тюрьмах и лагерях этой самой «родины» только за то, что я еврей, националист. Я хочу ехать в Израиль, к семье, — подтвердил я.

— За границу нельзя. Можете ехать в Советский Союз, куда вам угодно, — заявил начальник, оправившись от «страха иудейска»...

— Тогда в Москву, — сказал я. Мне казалось, что в Москве мне легче будет получить разрешение на выезд в Израиль. К тому же в Москве живет сестра.

— В Москву нельзя, — последовал ответ начальника.

— Значит, «не куда угодно»...

— Да, кроме Москвы, Ленинграда, столиц республик, городов-героев, портовых городов.

Кроме, кроме, кроме. В это «кроме» входят целых 52 пункта. Старое, царских времен, «кроме»...

Видя мое безвыходное положение, начальник добавил:

— В Московскую область можно.

— Давайте в Московскую область, — сказал я в отчаянии.

— Куда хотите в Московскую область?

— А я сам не знаю, незнаком с этой областью. Давайте где-нибудь поближе к Москве.

Начальник стал рыться в какой-то карте, в каком-то расписании поездов и говорит:

— Поезжайте в Воскресенск, идет?

— А это за Москвой или не доежая Москвы? — спрашиваю я.

— За Москвой.

— Давайте Воскресенск.

— Так приходите завтра утром за документами и завтра же поедете.

Я вышел из спецчасти «свободным». Но я еще в лагере — тюрьме. И не чувствую свободы. Я не уверен в свободе... Утром я получил на руки «документы»: бумажку, свидетельствующую, что я такой-то, такого-то года рождения, еврейской национальности, лицо без гражданства, приговоренный к 25-ти годам лишения свободы (ИТЛ) и освобожденный по указу Председателя Верховного Совета СССР от 14.9.56. Это, так сказать, удостоверение личности, за подписью начальника лагеря и печатью «почтовый ящик №...». И внизу, тоже за подписью и печатями, добавление: «Настоящее не может служить видом на жительство».

Вторая бумажка свидетельствует, что я направля-

юсь в г. Воскресенск, Московской области. Это все, что я получил: «желтый билет» и место направления.

Днем меня привели на вахту. Обыск. Последний? Кто его знает?! Осмотрели чемоданы и открылась калитка вахты. Стоявший тут же надзиратель сказал:

— Счастливый путь, врач!

И конвоир молча кивнул головой. Накануне начальник больницы предложил мне остаться врачом в лагерьной больнице «по вольному найму». Работа от 9 ч. утра до 2 ч. дня. Хороший оклад (зарплата в лагерях МВД выше обычной врачебной ставки на воле). Я отказался. Не хочу видеть лагеря, насилия, произвола, не хочу видеть этой жизни в неволе. Не хочу. Начальник больницы очень уговаривает меня остаться, у него есть для меня комната в поселке, в хорошей семье. Видел я этот поселок, эти убогие жилища в бедной, темной Мордовии. Но не это меня пугало — не то я видывал... «Воля» в Советском Союзе везде одна. Я не хочу, не могу быть, бывать в лагере. «Нет. Категорически нет!»

Я вышел из лагеря. Я за зоной, по сю сторону колючей проволоки. А лагерь, в котором я провел много, много лет моей жизни, — по ту сторону. Нас разделяет колючая проволока и роднят одиннадцать с лишним лет жизни...

— Прощай тюрьма — лагерь!

Но в душе я не слышу возгласа: да здравствует воля... Я стою один, словно в пустыне. Через дорогу — железнодорожные рельсы. Поблизости маленькие белосерые хатки. Убого. Куда идти? Налево? Направо? Где она, эта дорога на волю? Стоящий у вахты по эту сторону солдат объясняет мне:

— Насупротив, вот тут, останавливается поезд. Вам куда, на Потьму?

— Да, на Потьму.

— Ну вот, встань вон там и ожидай поезда.

— А где вокзал? — спрашиваю.

— Какой такой вокзал? Вот тут поезд останавливается, тут и сядешь. Должен скоро быть поезд.

Перешел дорогу, встал, жду. Через полчаса прибыл поезд. Еду. Впервые за одиннадцать лет я не в арестантском вагоне, не в столыпинско-советском «вагоне-зак», в обычном «жестком» вагоне неведомой мне жел. дороги. Еду «на волю»... Это было 27 сентября 1956 года.



На следующий день, в десятом часу утра я двинулся в Москву. Я все же возлагал надежды на то, что удастся исхлопотать в Москве визу в Израиль, к семье. Много говорили о «высокогуманном принципе», который проводится в СССР, принципе соединения семей, разрозненных обстоятельствами войны и ее последствиями. Хотелось верить, что это так, — неисправимый оптимист. Грустно мне стало, тяжело на душе. Одиноко. Из Рязани я дал телеграмму сестре в Москву. С тревогой ждал встречи. Больше 30 лет не виделись. Сестра ждала меня на Казанском вокзале и сразу узнала. Я одет полагерному — бушлат, лагерный картуз и большие тяжелые ботинки. Мы встретились с сестрой. Плакали, плакали оба. Сын, племянник, ждал в машине у вокзала. Вещи сдал на хранение. Из предосторожности, чтобы никто из соседей не узнал... Лишь только я сел в машину, с меня сбросили бушлат и картуз — арестантские следы, — я залез в пальто, которое с собой привезли. И вместо лагерного картуза — шапка, такая, как все носят на воле... Я приехал в дом сестры. Сестра не может успокоиться, плачет все время. От радости, от волнения, встречи, свидания. Семья наша была очень дружная. Мы любили друг друга, были всегда близки друг с другом — и с сестрой, и с братьями. Я видел радость родных, видел, чувствовал и их... страх: не проследил ли кто-либо, как я вошел в их квартиру. Живут все годы, всегда, под страхом, с тревожной оглядкой. Немало перенесли, пережили за все

эти годы «советчины». А тут вдруг у них в доме, в их квартире, вчерашний арестант-лагерник, осужденный на 25 лет за тяжкое преступление, по 58-ой статье — «контр-революция»... В квартире они ведь не одни. Есть соседи. Квартира общая — они занимают три комнаты, и в остальных трех еще три квартиранта. Друг друга боятся. Одну комнату занимает определенно «осведомительница», «стукачка» — это все знают. Родные мои волнуются, ночь не спят, прислушиваются к каждому шороху, к шагам в коридоре... А вдруг эта «стукачка» видела меня? Выглядывают в коридор, не подслушивает ли она. И я в тревоге за родных, и я в страхе за них. И я не могу уснуть. Вот это «воля». Вот таково «на воле»... теперь, в «оттепель», через три с половиной года после Сталина... Все тот же страх, все та же жизнь с оглядкой, боязнь всех и каждого. Над всем — ГПУ, МГБ с его террором... Утром меня просили не выходить из дому через главный («парадный») вход, а «черным ходом». Чтобы я никем замечен не был, упаси Боже! Я так и сделал. Выходил крадучись, с тревожной оглядкой, «черным ходом», через какой-то запущенный садик. Вышел в какой-то глухой переулок... И я был рад за родных — никого не встретил, никто меня не видел... Я избегал бывать в доме сестры. Мы с ней встречались на улицах Москвы, сидели часами в каком-либо сквере или саду на скамейке, беседовали, смотрели друг на друга, плакали. Сестра очень переживала, страдала: муж ее, инженер И. А., был серьезно болен (сердце), он волновался, боялся. И я редко бывал у сестры. Встречались ежедневно где-либо под открытым небом, среди толпы народной... Лишь по ее настоянию пару раз обедал у нее. Как-то я обедал у сестры, и в это время вошла соседка, жившая в одной из комнат квартиры. Все испугались, все заволновались. Соседка просила разрешения позвонить по телефону. Все были уверены, что она не за этим пришла. Она — «осведомительница», она «стукачка» — и вся семья в страхе, тревоге. Я поспешил уйти, вслед

за мной вышла сестра, и продолжали свидание, гуляя по людной улице Горького. Было больно и обидно. Но кто виноват? Таковы условия жизни в Советском Союзе.

Сестра купила мне одежду, пальто, — на мне нет следов лагерника. Воскресенск в 45—50 километрах от Москвы. Я решил поехать в Воскресенск и жить там до выяснения своей судьбы. Прямо с вокзала отправился в милицию. Начальник милиции г. Воскресенска, капитан, познакомившись с моими двумя документами, был очень растерян. Он чистосердечно сказал мне:

— Я впервые вижу такие документы. Я по ним прописать вас не могу. Нам очень нужны врачи, но... Поезжайте в Москву, обратитесь в областную милицию. Я, право, не знаю, как мне быть...

— Но как мне быть? — спросил я. — У меня направление в ваш город, в Воскресенск. Где же мне быть? На улице?

— Тут неподалеку есть «дом приезжих». Пойдите туда. Там сможете жить. Если они почему-либо не пустят вас, скажите, что я направил. Пусть позвонят мне, если не поверят. А вы сегодня же поезжайте в областную милицию.

Я отправился в «дом приезжих», который находился тут же по соседству. Меня там приняли, отвели кровать в комнате на троих. Документы не спросили, к моему удивлению.

Назавтра я первым утренним поездом пригородного сообщения поехал в Москву. В вагоне меня поразила масса нищих-калек, просящих милостыню. Слепые, безногие, ползущие по полу. Просят на хлеб, на билет проездной. Некоторые говорят, что они «инвалиды» Отечественной войны. Впечатление жуткое. Заявился я в областную милицию. В ожидательной комнате сотни людей. И все по одному делу — разрешение на жительство, прописка («правожительство...»). Очередь огромная. Часов пять пришлось мне ждать, пока меня приняли. Зашел я в кабинет какого-то начальника. Он выслушал меня, по-

смотрел на мои «документы», и я прочитал на его лице возмущение и презрение. Как смеете, мол, думать о Москве, Московской области! Он оставил мое заявление и мои два лагерных документа и предложил подождать там, в прихожей. Сажу на скамейке, жду. Прошло часа три и вышел из кабинета какой-то чиновник, называет фамилий пятьдесят и ответ: отказано, отказано. Только один раз он произнес, словно, случайно: разрешено. Среди тех кому отказано, был, конечно, и я. Отказано. Нельзя мне жить в Московской области. Зашел за своими «ценными» документами, мне их вернули. Был уже седьмой час вечера.

— А куда мне деваться? Где переночевать?

И грубый ответ начальника:

— Вот тут ночевать на полу, а завтра убраться из Москвы. Ступайте.

Нет «правожителства».

С последним поездом я уехал в свой Воскресенск, в «дом приезжих», куда меня пока еще пускали. И Московская область для меня — запретная зона. Не имею права жить на этой советской земле...

Утренним поездом вновь еду в Москву, начинаю обивать пороги разных учреждений. Я в МВД. Меня принимает майор. Он принимает меня не в своем кабинете, а спускается ко мне в переднюю и спрашивает: по какому делу вы ко мне? Рассказываю о моем трагическом положении. Дали направление в Воскресенск, а туда не пускают. Куда мне деваться. Он, вижу я, не знает, что посоветовать, что сказать. Я говорю ему:

— Дайте мне разрешение на выезд в Израиль. Там живет моя семья. Я лицо без гражданства.

— Это не моя компетенция. Я этим не ведаю, — сказал майор.

— Так как же мне быть? В Воскресенске не прописывают, хотя я имею направление туда. Поеду в другое место — и там также будет. Я обращаюсь к вам, в Министерство внутренних дел. Ведь это ваша компетенция.

— Обратитесь еще раз в милицию.

Майор МВД бессилен, он не знает, что делать. Единственный выход — это арестовать меня и дать новый срок — и разрешен вопрос местожительства...

Я ушел ни с чем. Совету его обратиться еще раз в милицию я не последовал. Я поехал в ОВИР (отдел виз и регистраций), тоже учреждение МВД для иностранцев. Там принимают с трех часов дня. «Для иностранцев» — совсем другая обстановка. Там нет той грязи и сутолоки, беспорядка, шума. Нет и милиционеров при входе. Приемная с мягкой мебелью. Тихо. Чинно. Идут по очереди, которую сами посетители соблюдают. Моя очередь. Вхожу в кабинет начальника ОВИРа. Там сидят двое. Начальник вежливо спрашивает: чем могу служить.

— Хочу ехать в Израиль, к семье. Прошу указать, что надо для этого представить, какие документы.

— В Израиль? — спросил начальник, — У нас тысячи заявлений о визах в Израиль. Но пока этот вопрос не разрешен и еще не скоро будет разрешен.

Я ему сказал:

— Я лицо без гражданства. Семья моя в Израиле. Здесь жить не разрешают. Направление у меня в Воскресенск — туда милиция не пускает.

— В Израиль визы не получите, не дают пока, — сказал начальник. — Пойдите в «Гулаг» (главное управление лагерей), они вам переменят направление, куда вы пожелаете.

— Так ведь вы видите, как считаются с моими «желаниями», — сказал я.

— Об Израиле и речи быть не может, в Воскресенске — нельзя жить. Пойдите в «Гулаг», сошлитесь на меня, что я вас послал туда, — более твердо сказал начальник.

Что делать? С чем пойти в «Гулаг», в главное управление лагерей, тех тюремных учреждений, где я провел одиннадцать с лишним лет... Я решил поехать в Ка-

раганду, в ту область, где я много лет «сидел» в разных лагерях Карлата (Карабас, Кенгир, Спасск, Караганда, Чарбай-Нура, Долинка, в некоторых из них по два раза). «Насиженное место»...

Отправился в «Гулаг». Не без страха и тревоги пошел я в это учреждение. Большой дом, огромный. Шутка ли? Главное управление лагерей, десятков тысяч лагерей всей «Руси великой»... Там, в этом здании, вас дальше порога не пускают. У наружных дверей, в малюсенькой передней, сидит за маленьким столиком солдат с револьвером на боку. На столе телефон.

— Вам что? — спрашивает солдат.

Излагаю свое «дело». Солдат звонит по телефону, и через несколько минут вышел из внутренних дверей в переднюю капитан. Он стоит в дверях, ибо вдвоем нам нет места в передней. Выслушал меня капитан этот, что-то отметил в своем блокноте и ушел, ничего не сказав. Пришел — не поздоровался, ушел — не простившись. Минут через десять — и предо мною стоит майор:

— В чем дело?

Объясняю ему свое положение, свою бездомность, неприютность. И добавил:

— Моя семья в Израиле, и я хочу поехать туда.

Майор безнадежно махнул рукой, взял мои документы и ушел. Стою у дверей в крошечной передней, сесть не на чем. Стою и жду. Время идет. Ни офицера, ни документов. Мрачные мысли приходят на ум: стою у дверей всесильного «Гулага». И зачем я пошел сюда?! Еще пошлют обратно в лагерь... И разбираться не будут — я ведь на их «территории»... Открывается дверь изнутри и выходит генерал в полной форме и с ним два офицера.

— А вы что тут? — обращается ко мне генерал.

— Велели ждать ответа, — сказал я.

— Ваша фамилия К.? — спросил генерал.

— Да.

— Все в порядке. Сейчас получите документ, — ска-

зало «Его превосходительство». И минут через 10—15 было «все в порядке»...

Майор вынес мне мои документы — «желтый билет» и вторую бумажку, на которой было исправление: зачеркнут г. Воскресенск, Московской области, и вместо него написано: г. Караганда. И печать самого «Гулага», и подпись генеральская: «Едет в Караганду». И внизу добавлено: исправленному верить. И вновь подпись и печать.

Я пробыл в Москве восемь дней. В один из первых дней моего пребывания там я подошел на Вешнев переулок, чтоб посмотреть на посольство государства Израиль. Посмотрел на медную доску с надписью:

Посольство Государства Израиль.

Назавтра меня снова потянуло к этому дому. И послезавтра. Осторожно проходил я мимо по узкому переулку, чтобы глаза двух стражников не обратили на меня своего бдительного внимания. Стоял на другой стороне и смотрел на здание, на медную доску с гордою надписью. Слезы в моих глазах. Слезы радости... Слезы тоски и щемящей боли.

ГЛАВА 16.

Еду в К. на новую «волю». Скорее, в ссылку. В день отъезда сестра особенно волновалась, плакала беспрестанно. Ей было тяжело. Поезд уходил поздно вечером. Мы простились на Казанском вокзале, обещав друг другу писать часто и вскоре обязательно встретиться. За час до отправления я забрался в свой вагон. Сидел на своем месте грустный, печальный. Мой земляк М. К., ехавший в том же поезде в Карагандинскую область (тоже по окончании срока заключения), рассказал назавтра, что на вокзал пришли повидать меня и проводить харбинцы д-р П., семья Ш., искали меня по вагонам и не нашли.

Билет железнодорожный достать почти невозможно. Получил последнее место, и то в вагоне «женщины и ребенка». Всю дорогу невероятный шум, бесконечный говор, трескотня. Детишки носятся по вагону, скачут с одной скамьи на другую, с криком, гамом. Непокойно. И тяжело на душе.

На четвертый день прибыл на место назначения, в г. Караганду, на жительство. Надолго ли? Что ждет меня? Область несколько знакомая — прожил здесь в разных лагерях целых семь лет (1949—1955), можно сказать «родные места»...

В вагоне я случайно познакомился с пожилой женщиной, жительницей Караганды. Разговорились: куда едете, к кому? На службу? Она еврейка, живет в К. с дочерью, учительницей. У меня в К. никого нет — ни родных, ни знакомых. Знакомых, возможно, и немало. Сюда ведь ссылали на поселение после отбытия срока заклю-

чения. Чуть ли не 50 процентов европейского населения либо ссыльные, отбывшие наказание, либо высланные сюда во время войны, главным образом, русские немцы с Поволжья, либо черкесы. Немало выслано сюда так называемых «трудмобилизованных». В какое общество ни попадешь, чуть ли не поголовно бывшие в лагере, а ныне находящиеся в ссылке в Карагандинской области. Я в Караганде никого не знаю. Единственный известный мне адрес — это адрес моего приятеля д-ра М., который живет в инвалидном доме. Куда заехать? В гостиницу? Дом приезжих? Документы у меня уж больно страшные... Моя дорожная знакомая говорит, что в Караганде есть единственная гостиница, в Новом городе. Небольшая, и там никогда нет свободных номеров, большинство комнат заняты постоянными жильцами. Туда мне не попасть. Она предложила мне заехать к ним, пока я найму комнату. На вокзале ее встречала дочь, и я отправился к ним. Жили они в Старом городе, квартира из двух комнат, предназначенная учительскому персоналу. В маленькой комнате живет какая-то учительница, а в большой эта семья — дочь, тоже учительница, с матерью. Квартира без всяких удобств — ни ванной, ни туалета. «Удобства»... В грязном дворе темные и грязные уборные. Давно хлопочут о другой квартире или комнате, но получить не могут. Люди ждут квартиры по 12—15 лет. (Мой знакомый врач ютился в одной комнате с женой и матерью, и лишь через 16 лет получили квартиру из двух комнат). Мне было очень неприятно стеснять оказавших мне гостеприимство людей. Мы втроем в одной комнате. Дочь уступила мне свою кровать, а сама с матерью в одной кровати. Никакие мои протесты не помогли (я хотел лечь на пол). Хорошая еврейская семья, верная еврейским традициям и еврейскому народу. В течение почти пяти лет моего пребывания в К. я довольно часто встречался с ними, мы были очень дружны. И по отъезде из К. был в переписке с ними.

На следующее утро я поехал к своему другу д-ру М.,

который жил в инвалидном доме, исполняя в нем обязанности врача. После освобождения из советского лагеря, где он пробыл пять «сроков», в общей сложности 27 лет, он был отправлен в инвалидный дом. Это был дом для тех отбывших срок заключения инвалидов, у которых вовсе нет родных или близких или они живут в Москве, Ленинграде, столицах республик, портовых городах, «городах-героях»... где политическим «преступникам» жить нельзя, «не положено»... Всех таких (58-я статья) отправляют в индома. У д-ра М. дети и сестра жили в Москве, и они рады были взять отца к себе, но ему туда и ногой ступить нельзя. И он попал в индом. Ввиду отсутствия врача (а там жило свыше 400 инвалидов, бывших заключенных), ему предложили занять этот пост. Вот в этот индом, к моему приятелю, я отправился. Но его я в индоме не застал — он поехал повидаться с детьми. Встретил я в индоме немало знакомых по лагерю, а также земляков-харбинцев, отбывших срок и ныне бездомных, бесприютных. Быстро распространилась весть о моем приезде, и директор инвалидного дома пригласил меня к себе в контору и предложил мне заменить на месяц моего приятеля д-ра М., поработать у них врачом. Он предоставляет мне отдельную комнату при амбулатории и, конечно, полное содержание. Я подумал: деваться мне некуда, пока устроюсь на работу — пройдет, поди немало времени. И дал свое согласие быть врачом индома временно, до приезда д-ра М. из отпуска. Я поселился в тот же день в отдельной комнате. Работы было довольно много: кроме амбулатории и физкабинета, стационар, в котором находились 90—100 человек. Инвалидный дом состоял из четырех больших двухэтажных корпусов, довольно благоустроенных, в которых жили свыше 400 обитателей, все бывшие заключенные по 58-й статье (контрреволюция, измена родине, террор, шпионаж, содействие мировой буржуазии и пр., и пр., и пр...). Почти все они инвалиды не по возрасту, а по болезням, нажитым в лагерях и «неизлечимых

в лагерных условиях». Меня тяготила обстановка в индومه, тяготила среда, атмосфера безнадежности, беспросветности, которая царила там. Я рад был уйти оттуда (по приезду моего друга д-ра М.), бежать из этого мира уходящих из жизни, дряхлеющих, угасающих. Сам вид этого дома и его обитателей словно внушал тебе: жизнь кончена... свет погас... Позднее, раза два—три в месяц по воскресным дням в продолжение нескольких лет, приезжая к своему приятелю в индом, я всегда недосчитывал нескольких человек — ушли в вечность...

Я рад был уйти из индома и после одиннадцати лет советской тюрьмы и концлагерей увидеть жизнь... И я ее увидел... Жизнь, как она есть...

Еще когда я работал врачом в индоме, со мною произошел следующий характерный для советских людей случай. Ноябрь 1956 г. Шла Синайская кампания. Советское правительство послало премьер-министру Израиля резкое письмо в грубом, недопустимом в международных отношениях, тоне. Затем оно предложило своему послу «покинуть Израиль и немедленно выехать в Москву». Дипломатические отношения прерваны не были. В советской прессе много писалось грязного про Израиль, сионизм, евреев, и многие евреи боялись быть в связи (почтовой) с Израилем. У меня была уже налажена непосредственная переписка с семьей в Израиле. Я писал часто семье и получал письма от нее. Однажды — это было во второй половине ноября — я собрался пойти на почту, отправить заказное письмо семье в Израиль. Один из жильцов индома, еврей, предложил мне свои услуги, — он шел на почту. Через час этот человек вернулся с почты и возвращает мне мое письмо — не приняли. И сам этот еврей волнуется, бледный. Он боялся, что отправка письма в Израиль повредит ему. Он только что отбыл десятилетний срок в лагере, живет в индоме, хлопочет о реабилитации. Ему уже два раза в этом отказали. Он бывший член компартии, считает, что имеет заслуги перед партией. Человек с высшим образова-

нием, преподавал психологию в учебных заведениях. Недавно он еще раз апеллировал о реабилитации, послав докладную записку в Центральный Комитет КПСС и отдельным, знавшим его, видным большевикам. Он ждет реабилитации, и тут вдруг эта история с моим письмом.

Дернула его нелегкая отправлять письмо в... Израиль, который советское правительство осудило за «агрессию» против Египта. Бедный психолог-коммунист очень волновался. Зачтется ему это письмо — был он уверен... Хотя и нет уже Сталина, но... есть Хрущев.

— А почему не приняли письма? — спросил я. — Нет связи с Израилем?

— Ничего не сказал почтовый чиновник. Не принял письма и только ругал Израиль агрессором и всяческими скверными словами, — ответил психолог-инвалид.

Я взял письмо и отправился в почтовое отделение. Спрашиваю служащего:

— Вы сегодня не приняли письма в Израиль. Что, прервана связь с Израилем?

И слышу в ответ:

— Израиль — агрессор, напал на Египет.

— Я не пришел вести с вами политической дискуссии, — сказал я. — Я хочу знать, почему вы не приняли моего письма в Израиль? Связь с Израилем прервана?

Тот молчит. Я поехал в Новый город на Главный почтамт, подошел к окошечку, где принимают заказные письма, сдам свое письмо. Девушка, без всяких разговоров, принимает письмо и выдает мне квитанцию. Я не понимаю, что это означает. Меня волнует, быть может, девушка эта еще не знает, что связь с Израилем прервана. Я двенадцатый год в разлуке с семьей, мы только что разыскали друг друга и наладилась переписка. А вдруг — нет связи... Произвол чиновника в почтовом отделении Старого города или эта девушка не осведомлена? Я поднялся на второй этаж к начальнику Главпочтамта. Начальник — казах по национальности. Спрашиваю:

— Скажите, товарищ, в Израиль можно отправлять письма? Принимают?

— А почему вы спрашиваете, товарищ? — спросил он.

Я ему говорю, что в одном почтовом отделении у меня письма в Израиль не приняли. Начальник заявляет:

— Связь почтовая не прервана, письма туда должны принимать. Дайте ваше письмо, я его сейчас отправлю.

Я поблагодарил его:

— Не трудитесь, я это сам сделаю.

Начальник даже не поинтересовался, где, когда, в каком почтовом отделении у меня не приняли письма. И тут — «власть на местах»...

Через неделю я отправлял письмо в Израиль уже в другом почтовом отделении, там где было место моей работы — в поликлинике. Заведующий почтой, принимая письмо, удивленно вопрошает:

— В Израиль?

— Да, в Израиль.

— Вы пишете в Израиль? И получаете письма из Израйля?

— Да, пишу в Израиль и получаю письма оттуда.

Посмотрел на меня чиновник, качнул головой, не то укоризненно, не то с недоверием. Заполняет квитанцию и говорит:

— Вы бы написали лучше, чтобы Израиль прекратил свою агрессию против Египта.

Я усмехнулся и иронически сказал:

— Я как раз об этом и пишу...

Травля Израйля велась в прессе гораздо большая, чем против других «агрессоров» — Англии и Франции. Бедный Египет — Израиль напал на него, захватил часть его территории и творит на его земле ужасные «зверства» над «мирным населением — стариками, женщинами, детьми»... Многие евреи боялись писать в Израиль, дрожали от страха при получении письма, посылки из Из-

раиля. Все знали, чувствовали, что хотя Сталина нет, «наука» его жива...

Печать, радио (все ведь официальное) призывали трудящихся отдать однодневную зарплату в пользу Египта. Многие заволновались — как быть? Давать никто не хочет, никто. Что им до Насера, до египтян! А если партком скажет «даешь зарплату»? Все же решили, что это может быть только добровольным, из зарплаты не будут насильно удерживать. На каждом предприятии местком (местный комитет) уговаривал трудящихся помочь Египту — «жертве англо-французско-израильской агрессии»... Зашел месткомовец и в мой кабинет, пришел «за сочувствием».

Я заявил:

— На меня не рассчитывайте, я не дам ни копейки.

Отказалась и моя медсестра. И вообще в нашей поликлинике не нашлось «сочувствующих»...

В индоме меня застиг Иом-Кипур. Надо пойти к Кол-Нидрей. Еврейка из Польши и еще один еврей, бывший заключенный, составили мне компанию, и мы отправились к Кол-Нидрей. Синагога далеко от индома, очень далеко, в Старом городе. Как вернуться обратно? Путь далекий, сообщения нет. А ходить пешком ночью опасно, опасно для жизни. Но женщина-еврейка (Х. Ш.) — говорит, что вблизи синагоги есть еврейский дом, где все ночуют в ночь на Иом-Кипур. Это уж, так сказать, своего рода «традиция». И мы втроем поехали в синагогу к Кол-Нидрей. Синагога в К-де. Старый одноэтажный дом — большая передняя и две смежные комнаты — мужское и женское отделения. В стене между комнатами пробито широкое отверстие, затянутое занавеской. Бедно, убого. Битком набито народу в комнатах и передней, не протолкнешься. Опоздавшие стоят на ступеньках, крыльце, на улице, хотя уже довольно прохладно. Подавляющее большинство молящихся — люди пожилые, старики. Есть и средний возраст. Молодежи наперечет — двое, трое. С десятков детей, мальчиков, — родители привели их с собой. Про-

тиснулся я, стою почти рядом с баал-тефила. Сидеть негде — стоят у стен две скамейки, и есть несколько табуреток, занятых глубокими стариками. У всех печальные лица, словно всех тяготит что-то. Больно, тяжело на душе. И я стоял со своими мрачными думами. Душа болит. У простого стола стоит 82-83-летний старичок с длинной седой бородой. Он и баал-тефила и шохет, но от последнего вынужден был отказаться. Его два сына — члены КПСС, и они категорически запретили ему заниматься резкой птиц на кошер, иначе они откажутся от него. А он живет у них. Старик, скрепя сердце, болея душой, прекратил резку птиц. Он боялся за судьбу своих сыновей. И еврейское население осталось без шохета. Вот этот старик произносит молитвы. Он — שליח ציבור карагандинских евреев. Кол-Нидрей он читает — поет с душой, с чувством. Он переживает, и слезы льются из глаз его. Все время молитвы он плачет. Все молитвы орошены его слезами. Кончилась молитва, и все молча разошлись, удрученные. И как бы по отдельности, не толпами. Я ночевал в незнакомом мне доме еврея-чащовщика. У него своя большая квартира, пять комнат, где живет он с женой и его замужняя дочь с семьей. Таков был мой первый Иом-Кипур на воле. На следующий Иом-Кипур (через год) я молился в той же самой синагоге. И больше мне уже не пришлось... В конце 1958 года синагога была насильно закрыта.

Я освободился от индома. Надо искать работу. Врачи здесь нужны, врачей не хватает. Но у меня нет документов, удостоверяющих, что я врач. Был у меня паспорт, в котором указано, что я врач. При аресте забрали мой паспорт и след его простыл. Справки от начальников санчасти двух лагерей, что я работал врачом-терапевтом в лагере — вот и все, что сохранилось у меня. Но достаточно ли этого? Что я буду делать, если лагерных документов не признают? Физический труд мне не под силу. Я отправился в Горздрав (городское здравоохранение). «Здравов» тут и везде немало — горздрав, рай-

здрав, облздрав). И везде «начальники», «замначальники», целые штаты «консультантов» и чиновников. Представился начальнице Горздрава. Вижу, обрадовались, увидя врача, ищущего работу. Старый врач, с большим стажем.

— Ваша специальность?

— Терапевт.

— Это хорошо, — сказала начальница.

Я решил объясниться сразу.

— Диплома у меня врачебного нет. Все, что удостоверяет меня как врача, — это вот эти два удостоверения из лагерей, где я провел последние одиннадцать лет моей жизни.

Начальница горздрава быстро пробежала мои лагерные справки и сказала:

— У нас не один врач работает с «такими документами».

Предложила мне пять мест на выбор: в детской больнице, в туберкулезной, в двух поликлиниках и открывающейся где-то в колхозе (в 40—50 км. от города К.) больнице с терапевтическим и родильным отделениями. Я просил дать мне день—два на размышление, т. к. я не знаю местности и условий жизни. Я хочу возможно скорее уехать из СССР, добиться разрешения на выезд к семье, и мне нельзя отлучаться из города. Подумав и кое с кем из врачей посоветовавшись, я остановился на работе в поликлинике №10. Я заполнил анкету (40 вопросов) и через два дня начал работать в поликлинике, находящейся в районе угольных шахт. Квартиры я еще не имел и жил пока у своего друга — д-ра М. в амбулатории индома. Это далеко от места моей работы, путь сообщения плохой. Пять—шесть кварталов надо идти пешком до автобуса, более получаса ждать его, а потом еще пересест в трамвай до поликлиники. Чуть ли не 1,5 часа продолжается этот путь. Начальница больницы хлопотала о комнате для меня в районе поликлиники, звонила председателю жилкома (жилищного комитета). Он

предлагал такие ужасные комнаты, в таких кварталах и домах, что там страшно было селиться. Нач-ца больницы отклонила все его варианты. Председатель жилкома предложил мне комнату в общежитии для рабочих и служащих. Но начальница больницы протестует против того, чтобы я там поселился.

— Там постоянная пьянка, вечные скандалы, драки. Молодежь ужасно ведет себя, хулиганит. Поселиться там — это отравить себе жизнь. Да и небезопасно. Ни в коем случае, — сказала она.

И я стал дальше ждать более или менее подходящей комнаты, в более или менее приличном месте и у более или менее трезвых людей... Чисто случайно нашлась комната. Мне в поликлинику позвонила женщина, которая была вместе со мною в одном лагере. Она, зная, что я без квартиры, предлагает мне поселиться в их доме. Их семья переходит через неделю в свой дом, и для меня там будет комната. Женщина эта, еврейка, живет у своей замужней дочери. Она была в лагере, отсидела десять лет, тяжело болела, лежала у меня в больнице и считает себя многим обязанной мне. Даже говорит, что я «спас» ее от смерти. Через свою знакомую, тоже бывшую заключенную, жившую в индоме, она узнала обо мне. И я поселился у них, в собственном доме инженера-еврея. Я прожил у них пять лет, до дня моего отъезда из Караганды.



Караганда — большой областной город, огромный по своей территории. Население его превышало 400.000 человек. Город промышленный, шахтерский, центр крупного угольного бассейна СССР. Конкурирует с Донбассом. Город строится, растет. Но еще довольно убогий, грязнущий. Мощеные улицы по пальцам можно перечесать. Дорог нет. Ходишь — тонешь в грязи. Без высоких сапог — завязнешь в луже грязи, едва вытащишь ноги. И это

в центре города. В более или менее благоустроенных общих домах живет около 25—30 процентов населения, а остальные живут в маленьких хатках-мазанках, без примитивных удобств. Немалый процент населения живет в приспособленных под жилье конюшнях, сараях, нередко с земляным полом. Мрак, грязь, холод, сырость. Трущобы. Я шел как-то в медпункт 17-й шахты. Иду по одной из улиц, где живут шахтеры. Стоят жалкие домики и бараки, полуразвалившиеся, низенькие. Окна на уровне земли. Снег падает в дом, дождь льет в дом. Со мною поравнялась группа шахтеров, идущих на работу в 17-ю шахту, на дневную смену. Поздоровались со мною и показывают на квартал этих жалких домиков.

— Вот смотри, врач, «хрущобы», в которых мы живем.

Я догадался, кому посвящено название этих, поистине, кошмарных трущоб. Но я спросил:

— Как вы сказали?

— Хрущобы. Раньше были трущобы, а теперь при Никите Сергеече «хрущобы» называются... Был у нас в Караганде Никита. Во «Дворце культуры горняков» выступал, а вот как живут эти самые «горняки», шахтеры, забыл посмотреть. А вот видишь, как они живут — в «хрущобах» этих живут. Вот они «хрущобы»...

И так повсюду. И в других городах края огромное большинство населения, рабочих живут в трущобах-«хрущобах»...

Я начал работать в поликлинике. Когда я, впервые подходя к месту работы, стал расспрашивать, где тут поликлиника № 10, мне указали на стоящий в грязной яме барак, длинный, низенький, покосившийся. Такой же убогий, как и все соседние бараки. А внутри? Грязный, деревянный пол, весь в щелях, полумрачные кабинеты, и там пол в щелях, доски проваливаются. На приеме мерзнешь, несмотря на паровое отопление. Мыши бегают по комнате. Вечно нет воды в поликлинике — не действует водопровод. Таскают воду санитарки ведрами издале-

ка, а то и этого нет: сидят день-другой без воды. Уборных нет в бараке. Уличная уборная находится на расстоянии квартала от поликлиники. Грязная, занесенная снегом. Так и в других поликлиниках. Зато — Горздравы, Облздравы с председателями, сотрудниками-чиновниками помещаются в благоустроенных двухэтажных домах со всеми удобствами. А для больных нет и самых примитивных удобств. Они ждут часами в холодном помещении, мерзнут. Больных много. Район обслуживания очень большой. Поликлиник в городе мало. Еще хуже обстоит дело с больницами. Попасть в больницу — дело очень трудное: нет коек. Бывает так, что больного возит амбуланс из одной больницы в другую — в четыре—пять больниц, пока его куда-либо примут, а то и вовсе не примут. И это в большом городе, где сотни шахт, медицинский, педагогический, политехнический институты! Таково здравоохранение в Караганде. А по статистическим данным (в брошюре «Здравоохранение в СССР и за границей») — СССР «на первом месте» по количеству врачей на тысячу населения, по количеству больничных коек на десять тысяч населения...

Врачей не хватает. В поликлинике ведут врачебный прием фельдшера. В нашей поликлинике прием по женским болезням, по хирургии, по болезням уха-горла-носа, по кожно-венерическим болезням и в двух терапевтических кабинетах — вели фельдшера и фельдшерицы. И так во всех 12-ти поликлиниках города. Врачи работают на 1,5—2 ставки вместо одной. Правда, они сами помогают нескольких ставок, ибо на одной ставке не проживешь. Зарплата врача в Советском Союзе низкая. В этих условиях я работал в поликлинике свыше 4,5 лет. Мне, правда, за это время трижды предлагали другую работу: заведующим терапевтическим отделением больницы, но я отказывался, хотя больничная работа мне была приятнее, и я всегда был больничным врачом. Но я не принимал этой должности, потому что больница была очень далеко, за городом. Ехать туда

не на чем. Трамваем доезжаешь до определенного места, а оттуда с версту пешком по грязи или снежным сугробам. Нет сил добраться. Мне одно время пришлось раз в две недели нести ночные дежурства по больнице (с 7 часов вечера до 7 часов утра), и я отведал прелесть дороги туда.

В г. Караганде жить небезопасно. Преступность большая. Вечерами, ночью в одиночку или вдвоем не ходят — боятся. Либо ехать автомобилями, либо ходить целыми компаниями. А то разденут на улице, снимут пальто, шубу, часы, ограбят. Изо дня в день десятки случаев. А то и ножом пырнут, или ударят тяжелым предметом по голове. Уж если идешь куда-либо в гости, и автомобиля нет, то уж с ночевкой: «гости» до утра. Очень распространено карманное воровство. «Карманников» особенно много среди молодежи. Они орудуют в трамваях, в автобусах, в универмагах, у касс кинотеатров. Работают организованно. Таких организованных шаек молодежи много. И действуют эти карманники довольно свободно — усиленной борьбы с ними не ведут. Трижды и я был в числе многочисленных жертв карманников.

Семья, у которой я поселился, — выходцы из Бессарабии, жили затем в Черновцах. Мать советские власти арестовали в 1942 году, дали 10 лет заключения в лагерях, а дочь выслали в Красноярский край. Она вышла замуж за инженера-еврея, тоже находившегося там в ссылке. Хорошая еврейская семья. Муж работает на машиностроительном заводе. Жена — учительница рукоделия для девочек в школе-восьмилетке. Я рад был, что устроился у этих людей. Столько насмотрелся ненависти к евреям везде и всюду — среди тюремно-лагерных «начальников», среди следователей и среди заключенных, что я с ужасом думал о комнате где-либо о общежитии, да еще в советских условиях слежки и доносов.

Я с радостью поселился в еврейской семье. У меня в верхнем этаже большая отдельная комната с прихожей. Дом — собственность инженера. Им, служащим и

рабочим завода, предоставили земельные участки неподалеку от завода, и кто хочет — стройся. Можно строить дом только для себя и не больше трех-четырех комнат. Конечно, большое начальство, партийные главари, строили себе особняки, какие угодно. Строить собственный дом — дело нелепкое. Доставать материал (цемент, кирпич, камень, песок, доски, краску, железо и пр.) приходится всякими правдами и неправдами. Всего этого нет в свободной продаже. Каждое заявление на цемент или другой строительный материал должно пройти через шесть—семь инстанций. И будешь строить свой дом целых пять лет. Мой хозяин управился в течение одного года. Но так все делают, все «служащие и рабочие». Без неправды дом не построишь...

Я, очутившись один в комнате, в первые месяцы не мог освободиться от страха советского террора. Я боялся всякого вечернего или ночного звонка в квартиру. Лежу и слышу у дома или где-то рядом остановился автомобиль, и мне кажется, что это за мной приехали из МГБ. Тушу огонь, подбегаю к окну, всматриваюсь, что за автомобиль, кто из него выходит, куда идет. Страшно. Пережитое еще слишком свежо. Да и все окружающее наводит страх. Боятся говорить. Все делается с осторожной, тревожной оглядкой. Новость какую-либо передают шепотом, на ухо, чтобы никто не слышал, чтобы никто ничего не видел.

Лишь только я переехал на квартиру к инженеру Б., я сообщил семье в Израиль свой адрес, указав город, улицу, номер дома, фамилию хозяев. И лишь только я получил из Израиля от семьи первое письмо на этот мой новый адрес, как ко мне зашел мой хозяин-инженер и очень просил меня сообщить семье, чтобы не писали на конверте его фамилию. Очень волновалась и хозяйка. Подумать только! На их адрес прибывают письма из... Израиля! Какое страшное слово — Израиль!...

Я работаю в поликлинике целый день — от 9 до 5 часов вечера — на полторы ставки, веду прием боль-

ных рабочих с двух шахт. Члены семей этих шахтеров ко мне не относятся. Для них имеется другой врач. У меня большие шахты — свыше 2000 рабочих на одной шахте и 1100—1200 — на другой. Здравпункты шахт также под моим контролем и наблюдением. Работы немало. И еще нагрузка — член врачебно-консультативной комиссии (ВКК), которая собирается 3—4 раза в неделю. А позднее была и так называемая «общественная» нагрузка. Работа в поликлинике осложнялась и неприятными моментами, подчас скандальными. Текучесть (поступление и увольнение работников) на шахтах невероятная. Прежде уйти с работы было делом почти невозможным. В последние годы каждый рабочий мог когда угодно уволиться, он должен был заявить об этом за две недели. И началось. Одни увольняются, а на их место идут новые — в большинстве молодежь. Каждый день свидетельствуешь вновь поступающих. Подземный труд шахтера (бурильщик, крепильщик, проходчик, прокатчик и т. п.) — труд тяжелый, требующий совершенно здоровых людей. И каждый вновь поступающий на эту работу должен пройти полное обследование. Врачи определяют, годен ли кандидат на подземные работы или может быть допущен лишь на работы на поверхности. На этой почве разыгрываются постоянно скандалы. Если у рабочего зрение не в порядке, если в какой-либо мере слух поврежден или есть какой-либо органический дефект со стороны внутренних органов (легкие, сердце) — его на подземные работы не принимают. И врач пишет: годен на поверхность. Но молодой парень в 20-25-30 лет идет на шахту только ради сравнительно высокой платы (от 200 до 240 новых рублей в месяц). А работа на поверхности в четыре раза меньше оплачивается, чем подземная. Да ее и почти нет. И рабочий с определением «годен на поверхность» устраивает скандал, ругает врача, оскорбляет и требует, чтобы врач написал «годен», только одно слово «годен», т. е. здоров. Новых рабочих приходилось свидетельствовать ежедневно. Все это мо-

лодые люди, в большинстве приезжие. Из Казанской, Пензенской области, из Прибалтики. Бежали из колхозов. Рассказывали они, что не могут больше работать в колхозе — «нищенская жизнь», ничего не зарабатываешь, «справить себе одежду не можешь»... Из Прибалтики приезжали люди среднего возраста. Там нет работы. Особенно жаловались литовцы — нет у них работы, кроме колхозов, а колхоз — это не жизнь. Молодежь стремится на подземные работы. Они приезжают на время, на несколько лет, рассуждая так: поработаю года 4—5 в шахте, в месяц заработаю 200—220 рублей. Я один, прожить буду рублей 70—80. За 4—5 лет скоплю 3—4 тысячи, поеду домой. Так они говорят, когда спрашиваешь: откуда ты? Что же это ты в такую даль прикатил?

Расчет их, конечно, далеко не оправдывается, по крайней мере, у большинства. Они пропивают почти всю зарплату. Почти все шахтеры пьют безбожно. И все деньги уходят на водку. Свидетельствуя ежедневно этих молодых людей с разных концов страны, обращаешь внимание на ряд любопытных явлений. Все подвергающиеся мед. обследованию для поступления на работу в шахте должны предъявить свой паспорт с фотокарточкой. Это ввели в последнее время, так как было немало обманов. Вместо имеющего какой-либо дефект — плохой слух, плохое зрение, больное сердце — идет обследоваться его приятель или знакомый, совершенно здоровый, и получает определение: годен. И его принимают на подземную работу. А через некоторое время он оказывается больным. И получается, что он заболел на работе в шахте. Начали выяснять дело. Поймали некоторых и установили, что они не были у врачей на обследовании. И стали требовать предъявления паспорта с фотокарточкой. И вот перед вами паспорт молодого человека. Один из пунктов гласит: образование. И ты читаешь у многих, очень многих: один класс школы, два класса, три класса. Он фактически неграмотный. Лишь

еле-еле подписывает свою фамилию, и читать не умеет. Говоришь ему:

— Как же так, ты родился и вырос при советской власти — и неграмотный?! И парень, 22 года. рассказывает:

— Как же тут грамоте учиться? У нас одна школа была на четыре деревни, ходить каждый день шесть километров. И зимой, и в грязь. А сапог нет. Вот ты и сам посуди!

И еще одно. В каждом паспорте есть пункт: на основании каких документов выдан вид на жительство. И обычный ответ гласит: на основании метрической записи, удостоверения загса и т. д. А есть и такой ответ: «положение о паспортах». Это значит, что он, владелец этого паспорта, отбывал наказание в тюрьме и лагере. «Положение о паспортах» — условный знак, чтобы повсюду чиновники знали об этом. «Положение о паспортах» — это навсегда, для всеобщего сведения, во все-союзном масштабе...

И вот, свидетельствуя в течение нескольких лет ежедневно рабочих, поступающих на работу в шахту, я вижу это, «положение о паспортах», у многих, очень многих. Я спрашиваю некоторых, за что же это ты был в лагере? Улыбается: «А вы как знаете?» И сидящая тут же моя медсестра удивлена:

— Откуда вы знаете?

Немало советских граждан с этими предательскими словами в паспорте: положение о паспортах...

Еще в лагере я видел у многих татуировки на теле. Мне говорили, что по этому признаку узнаешь в лагере «блатного». Но теперь на воле, свидетельствуя ежедневно рабочих, я был поражен этому массовому явлению. Среди молодежи чуть ли не каждый третий татуирован. Грудь, спина, руки. Несколько реже встречается татуировка на животе, ногах. У многих на груди, спине и руках буквально нет живого места. Все разрисовано. Интересны мотивы татуировки, их содержание. Как анек-

дот, так и татуировка отражает жизнь молодежи, ее настроения, думы, мысли. Чаще всего видишь рисунок полуголой женщины. Ей предоставлено место, главным образом, на груди, в области сердца. То она просто стоит, изящная, в кружевном платье балерины, то ее орел держит, обняв крыльями, и клюет ее сердце. Часто встречаются вытатуированные женские имена: Таня, Надя, Вера. «Встретимся, Лена», «Не забывай меня, Нина». «Прощай, Маша». «Привет, Лида», «Прости, Аня». А вот вытатуировано сердце, и в одну половину его, левую, воткнут нож и надпись: «За измену» или «Смерть за измену». Немало места уделяется... водке. Вот вытатуирована бутылка, на ней сверху надпись: «водка», а под ней «любимая». Или стоит молодой человек, держит обеими руками бутылку водки и надпись: «без тебя нет жизни». Почти у всех татуированных, почти поголовно, есть два мотива. На правой руке, на предплечье, вытатуировано: «Нет счастья в жизни». Этот мотив у иных модифицирован: «Сколько прожил, а счастья не видел», «Не успел жить, а сколько страданий», «Несчастливым родился, несчастным умру». Встречаешь и такую татуировку — обнаженная женщина, графин водки и девятка карт. И под этим многозначительная надпись: «Вот, что губит нас» (вино, женщины, карты). А то вот татуировка неувядающего: на плече — луна, полумесяц, две большие бутылки водки и надпись: «А кто сказал, что на луне нет водки?!». Второе, что также имеется на плече или предплечье, — это могильный холмик, у многих с крестом, и надпись: «не забуду мать родную». Лишь у единиц мы видели «идейные» мотивы (или это явление «культа личности?») — на груди, на соске, портрет Сталина. И лишь один из многих, многих сотен вспомнил Ленина и в пятиконечной звезде, на левом соске — Сталин, а на правом — Ленин. Реже других мест татуирован живот. Тут чаще изображены пейзажи — деревья, лесок. Даже пароход вытатуирован. У одного на животе большим кольцом вокруг пупка написаны трагические слова:

«Боже! Избави меня от суровых морозов и тяжелого труда». Парень, видимо, отведал это в лагерях на севере, Колыме, Воркуте... И зафиксировал это на животе своем на всю жизнь...

Есть и комики в этом виде творчества. У некоторых мы видели на животе кругообразную надпись: «Вот на кого мы работаем». Все мол на «жратву» уходит. А один вытатуировал веселые и самодовольные слова кольцом вокруг пупка: «Ух, как наелся»... Откуда этот вид «искусства», принявший столь широко распространение, можно сказать, массовый эпидемический характер среди советских людей, в особенности, среди молодежи! Говорят, что со времени конфискации золотых вещей, драгоценностей, ожерелий пионеры этого дела начали с татуировки вокруг шеи, взамен ожерелий, разных цепочек, витых гирлянд, бус. И кто-то даже назвал эти татуировки «советское ожерелье». И до последнего времени, хотя этот род «искусства» принял совсем иные формы, многие так и называют его — «советское ожерелье»...



Многие шахтеры являются в поликлинику на прием в пьяном виде, подчас безобразничают и, конечно, сквернословят. Мат, матерщина — это вообще обычная форма их речи, без матерщины редко услышишь разговор. Требуют «булетень» (бюллетень на освобождение от работы) на несколько дней, на 5—6. Буквально скандалят: давай! Начальники шахты, одной и другой, обратились к главврачу больницы — поликлиники по поводу большого количества бюллетеней, выдаваемых врачами. Рабочие не являются на работу в шахту, — якобы больны, у них есть бюллетень, а их видят пьяными, шатаются по шахтинскому поселку, разгуливают пьяные с товарищами или сидят где-либо в столовой или «забегаловке» и хлещут водку. Была назначена комиссия из начальства шахты и врачей по поводу освобожденных по

бюллетеню. Установили злоупотребления. Рабочие платили по сто, двести рублей за бюллетень, освобождающий от работ на 5—6 дней. Рабочему это выгодно. Если он работает в шахте больше пяти лет, то по болезни получает полностью зарплату. Был даже судебный процесс (в Алма-Ате) — шестнадцать врачей были осуждены за то, что брали деньги (взятки) за бюллетени. Характерный момент. В 1960 г. было распоряжение чуть ли не самого Хрущева, Председателя Совета Министров, чтобы каждый работал только на одной ставке, не больше. Это относилось ко всем — врачам, инженерам и др. Люди были огорчены этим приказом — как жить на одну ставку? Никак не проживешь на 80, или даже на 100 рублей! И помню, врач один, уж не молодой, спокойно, беззаботно на это сказал: «Пока существуют бюллетени — не пропадем». Я был поражен этому циничному заявлению старого врача. Но это так. Во многих, очень многих случаях.

Каждый день в поликлинике так называемая «пятиминутка». Утром, без пяти минут девять, перед началом работы, в кабинете начальника больницы собираются все врачи, фельдшера, медсестры поликлиники и здравпунктов и дежурный фельдшер кареты скорой помощи. Отчитываются, что случилось за прошедшие сутки, какие происшествия, кому и как была оказана медпомощь. Сидишь каждый день на этой пятиминутке, слушаешь и думаешь: где я? В каком мире? Фельдшерица кареты скорой помощи рассказывает, куда вызывали карету, и что там было. Десятки вызовов за сутки, несколько десятков. И в большинстве — уголовная хроника. Там по пьянке один ранил другого, поножовщина, а там — пьяный муж искалечил жену, детей. То труп нашли на улице, то замерзшего подобрали. Десятки случаев в день. И это только в одной поликлинике, в одном районе. А их двенадцать.

А что творится 1—2 мая, 7—8 ноября — в дни больших праздников. Мертвецкие после этих празд-

ников буквально набиты трупами. Убийства, убийства. Больницы принимают в эти дни множество людей, в хирургических отделениях — неотложная помощь. Такое пьянство, как в Советском Союзе, трудно представить себе. Пьют безобразно много, пьяные валяются на улицах — мужчины, женщины. Все спокойно проходят мимо лежащего на улице. Ну, что особенно? Пьяный. Остановится возле него только тот, кто вытаскивает у него из карманов деньги, снимает часы... И пьяный лежит, пока не проснется. И молодежь пьет, напивается до «зеленого змия», до бессознательного состояния... Праздников в Советском Союзе мало. Но поводов для выпивки много. Без конца «дней»... Помимо дня армии, дня конституции — день воздушного флота, день ракетных войск и артиллерии, день военно-морского флота, день космонавта, день радио, день победы (9-го мая), день советской милиции, день советской молодежи, день комсомола, женский день. И дальше: день шахтера, день пограничника, день танкиста, день строителя, день металлурга, день железнодорожника, день химика, день печати, день работника нефтяной промышленности, день физкультурника. И еще, еще — день работников пищевой промышленности, день работников сельского хозяйства, легкой промышленности, день рыбака, день работников леса, день медработника, учителя, день работников торговли, день геолога. День, день, день. И все «празднуют» эти дни. Шахтер напивается в день металлурга и во все другие дни. И также делает железнодорожник, строитель; вдрызг пьяны металлурги, нефтяники и др. работники в женский день. Пьют и в будние, не «праздничные» дни. В бакалейных лавках и магазинах водка и вино продаются вне очереди. Стоят люди в длинной очереди за колбасой, хлебом, сахаром. Стоят часами, а пришел за водкой — пожалуйста, без всякой очереди. Без конца идут за этой «живительной влагой». Женщины-домохозяйки протестуют:

— Да ты бы хоть одного из нас отпускала и одного

из них, «водочников», а то вот уже час стою, никак не дождусь.

Но «водочники» протестуют:

— Нет, мамаша, нас в первую очередь, «такое положение». Без водки жить нельзя.

И получив водку, прижмет бутылку к груди и скажет:

— Вот она, родимая!

После речи Хрущева на пленуме ЦК партии, в которой он сказал, что у нас «немного пьют», но все же пьют, и надо бороться с этим «пережитком прошлого», начали в разных местах «бороться» с пьянством. Осторожно, без ущерба для кого бы то ни было... Надо говорить о вреде алкоголя. Эту работу должна проводить общественность (?!), врачи. Заявилась ко мне в поликлинику невропатолог, старый врач, и говорит, что на нее и меня возложена в районе наших шахт борьба с пьянством. Мы (она и я) должны организовать «общественность» для этой цели, читать лекции о вреде алкоголизма. Наметили мы с ней кое-какой план. Прежде всего собрали в здравпункт шахты почти все начальство — тут и заместитель начальника шахты, и главный инженер, несколько начальников разных отделов, бригадиров, председатель шахткома (шахтинский комитет рабочих). И женщина-врач докладывает им о задачах борьбы с пьянством, принявшим огромные размеры. Борьба должна быть организованной: и общественной, и путем индивидуального воздействия на алкоголиков и их лечения. И она обращается к начальникам, к бригадирам: «Вот назовите, запишите тех, кто в вашей бригаде, в вашей смене много пьет». Все молчат. Она обращается к одному, другому: «Ну, кто у вас сильно пьет?» Молчат. Тогда председатель шахткома говорит:

— Так ведь все пьют.

Положение их было, действительно, нелегкое, — они все сами пили, и крепко пили.

— Я знаю, что все пьют. Но ведь как пить! Можно

пить с разумом, и можно без разума, — говорит милая женщина-врач.

И от одного из начальников последовал ответ:

— Все начинают с разумом и кончают без разума...

Читал я лекцию шахтерам одной из шахт о вреде алкоголизма. После лекции мне был задан ряд вопросов. Многие шахтеры не верили, что злоупотребление алкоголем может быть причиной болезней печени, нервной системы и др. Нет, это неправда. Один из них заявляет, что он уже 25 лет пьет, и двадцать лет работает крепильщиком на шахте, и никаких болезней у него нет.

— От водки, сколько ее ни пей, вреда быть не может, — заявляет он авторитетно под возгласы одобрения многих. Другой сообщает, что он страдал болезнью печени — и «вылечился» водкой. Один из шахтеров задает вопрос: если водка вредна, почему правительство не запрещает продажу ее. Но председательствующий, начальник, заявил, что это «не относится сюда», и нечего задавать такие вопросы. Так этот вопрос и остался без ответа.

На одной из шахт нашего района произошел взрыв. В секторе взрыва работало 42 рабочих. Шестеро были убиты на месте, трое умерли на завтра в больнице, остальные получили ранения разной степени. О взрыве, о жертвах взрыва говорить нельзя. И нельзя об этом писать в газетах. Нельзя. «У нас» подобных катастроф не бывает.

Газомерщица заявила, что метана 4,5, а уже при 1,5 надо выводить людей из шахты. Газомерщица куда-то звонила, но поздно. Взрыв произошел, люди погибли, многие остались калеками. И... молчать! Не смеет говорить. Но все знают. Разве скроешь! 42 рабочих было в шахте. А разве могут молчать вдовы и сироты! Их плач, рыдания все слышат.

И надо же, чтобы через дней пять в советских газетах появилась телеграмма-заметка, что в Бельгии на одной из шахт произошел взрыв: один рабочий убит и четверо ра-

нены. И советская газета комментирует, что в капиталистических странах нет должной инспекции, охраны труда... Вот и происходят такие катастрофы.

Читают это рабочие-шахтеры, товарищи погибших. И... говорить нельзя, ни слова. Это тебе не капиталистическая Бельгия. Молчи! И остается шахтеру только плюнуть и выругаться крепкой матерной бранью по чьему-то адресу... И разве один только этот взрыв был? И мало катастроф, аварий? Молчи! Этого не было «у нас»... Это только «там» бывает, у них, у капиталистов...

В СССР все делается «добровольно», без принуждения. Так, облигации займа были «добровольными»... Не спрашивая вас, хотите ли вы и на какую сумму, при получении зарплаты ежемесячно удерживали 10 процентов заработка, и на эту сумму выдавали потом облигации... Когда в 1957 г. отменили облигации, то объявили, что выплата денег за облигации отсрочена... на 25 лет «по желанию трудящихся». Вместо облигаций ввели в каждой республике лотереи. И опять же, не спрашивая вас, давали вам при выплате зарплаты лотерейные билеты на определенную сумму. Причем объявлялось, что это «добровольно». И в условиях советской жизни никто не смеет, боится возражать. Не рекомендуется делать это... Но все же кое-где можно услышать иногда голос протеста. Объявляют кампанию вербовки в члены «Общества Красного Креста и Красного Полумесяца». Всего 4 рубля в год — 1 рубль вступительный и три членский взнос. Большинство шахтеров отказывается дать эти несколько рублей. На каждой шахте, в каждой поликлинике, больнице есть «уполномоченный», который должен агитировать и ответственен за выполнение нормы. Норма для района нашей больницы — поликлиники была установлена в 2000 рублей. Медсестры бегали уговаривать шахтеров. Не помогло — недобрали 800 рублей. И назначено собрание в помещении поликлиники. Кто-то из комитета О-ва Красного Креста говорит о его важной работе в области здравоохранения, помощи раненым, о

функциях Кр. Креста на войне и в мирное время. И предлагает уполномоченным отчитаться в своей работе. Почему не собрали назначенной суммы? Плохо работали. Тогда сестры осмелились сказать правду. Одна из уполномоченных медсестер говорит: «Я пришла к рабочим, когда вся смена была на месте. Рассказала им о необходимости Красного Креста, призывала записаться в члены. И тут началось: один говорит — зачем я буду давать деньги на больницу в Абиссинии? Миллионы тратят на больницу в Аддис-Абебе, а у нас вон в какой дыре наши больницы и поликлиники. Пускай о себе, о нас подумают. Тогда и деньги дадим. Все поддерживали этого рабочего: правильно, правильно». Другая сестра рассказала то же самое, о тех же возражениях шахтеров: «Для чего нам давать деньги на больницы в Эфиопии, когда у нас больниц не хватает? Вот мою жену три часа карета скорой помощи возила по больницам, и нигде не приняли ее — «нет местов», привезли обратно домой. Посмотри, какая амбулатория наша, стыд просто. Постройте у нас сначала больницы — тогда и деньги дадим».

Главнуполномоченная чувствовала себя довольно плохо и крикнула:

— Нечего повторять все эти глупые пересуды. Не нам судить об этом. И закрыла собрание.

Собрания (общие) на шахте не часто бывают. Созывают их по приказу партии по каждому экстраординарному случаю. Так, по делу устранения Молотова, Маленкова, Кагановича. Краткие слова парторга о «надпартийной», антипартийной линии этих лиц, решение ЦК партии и — голосование: кто против? Никто. Единогласно. Принимается резолюция. Трудящиеся благодарят партию за ее «мудрое решение»... А как эти трудящиеся возмущались кампанией против Молотова, Маленкова, Кагановича. Но... «явка обязательна» и... кто посмеет быть против? Все это называется «единодушной волей трудящихся»...



Вхожу в жизнь. Поневоле. С грустью, с болью смотрю, как живут, что делается. Иду по Сталинскому проспекту — главная, широкая улица, в конце площадь, на ней Дворец культуры горняков — хорошее, красивое здание, напротив — монумент И. В. Сталина во весь рост. Днем. Навстречу мне знакомая, вместе в лагерной больнице работали. В руке у нее большой кусок мяса, свежего, красного. Мясо несет она ничем не прикрытым. Напоказ.

— Что это вы несете, Мила?

— В магазине нет оберточной бумаги. Что поделаешь? А упустить случай не хотела — в кою пору мяса добьешься...

Я постоянно видел в магазинах над прилавком надпись: «Оберточной бумаги нет». А как понесешь сеledку, масло, рыбу? Бегут в киоск, покупают за 20 копеек номер «Правды» или «Известий», и в него заворачивают сельди... И везде в магазинах, бакалейных, хлебных, надо стоять часами в очереди. Товаров мало — и все спешат купить. Сегодня есть колбаса, а ее целые месяцы — два не было, и кто знает, когда еще будет! И все бегут в магазин. В универмаге, в хозяйственном отделе, огромная очередь занимает все проходы до тротуара на улице.

— В чем дело? Что продают? — спрашивает с любопытством каждый.

— Стаканы.

Простые, чайные стаканы. Уже более полугода нельзя было купить стакан. Нет стаканов в городе. А за швейной машиной, ручной, стояли в универмаге тысячи людей. А машин, оказывается, было всего шестьдесят. Ушли все разочарованные. Кто знает, сколько теперь придется ждать, пока будут машины в продаже. Уж не меньше года... Весь декабрь не продают сливочного масла. В чем дело? Оказывается, что за 11 месяцев года съели годовую норму, и масла нет. Кое-какие товары можно достать на черном рынке, но по спекулятивным

ценам. Яйца купить почти невозможно. Государственная цена — 6 рублей десятков, но в магазинах яиц нет. А на черном рынке — есть, стоит 14 рублей десятков. Так и с мясом. Уровень жизни в Советском Союзе низкий. Потребности очень ограниченные. Но часто нет даже предметов первой необходимости. В общем, бедно, убого. А об одежде и говорить не приходится.



Прошла неделя-другая. Уныло течет моя жизнь. Целый день в поликлинике. Прихожу домой — читаю. Еврейской литературы, книг о еврействе нет. Нет признаков еврейской жизни. Беседую со своими хозяевами, знакомыми.

— Что у вас тут в городе есть еврейского? Есть еврейская община? Библиотека? Какая-либо еврейская организация? Клуб? Школа?

Ничего нет.

В Караганде свыше 3000 евреев. Есть только где-то в глуши, в Старом городе, еврейская синагога, молитвенный дом. Ох, как трудно добраться туда! И больше ничего нет. Нигде нет — говорит хозяин. Его старушка-мать выносит мне старый, потрепанный сидур, молитвенник, и махзор на Иом-Кипур. И это все, что уцелело. Все, что есть...

Я знал о разгроме еврейской культурной жизни в Советском Союзе в 1948 г. Со мною в советских концлагерях сидело немало еврейских писателей, поэтов, журналистов, учителей, еврейских певцов и артистов — жертв сталинского похода на еврейскую культуру. Уничтожена еврейская культурная деятельность, закрыта еврейская пресса, школы, еврейский театр. Но все же, что есть еврейского тут в городе, где свыше 3000 русских евреев, евреев из Бессарабии, Прибалтики, Литвы, Польши, Витебска, Могилева, Минска?! Я не верил, я не хотел верить, не мог допустить мысли, что ничего нет.

И в ближайшее воскресенье, когда я был свободен от работы, я отправился в синагогу, в Старый Город. Ехать далеко, трамваем. Спускаюсь вниз по грязи, навстречу мне средних лет мужчина. Спрашиваю, где тут еврейская синагога. Он всматривается в меня и спрашивает на идиш:

— Еврей?

— Да, еврей.

— Что у вас иорцайт? Я габай синагоги.

— Очень приятно. Вас я и хочу видеть, хотя «иорцайт» у меня нет.

— Пойдемте в синагогу, — сказал он и вернулся со мною туда, откуда он шел.

Он — габай синагоги, он же и шамес. Он староста синагоги, он казначей, и он «служба». Он снял замки с дверей убогого домика, и мы вошли в переднюю комнату, которая в дни больших праздников бывает заполнена молящимися, что я сам видел в вечер Кол-Нидрей, в Иом-Кипур 1956 г. В передней стоит длинный стол и по обеим сторонам его длинные скамьи. Мы уселись на скамьях за столом, друг против друга. Я ему сказал, что я всего несколько месяцев живу в этом городе. Приехал сюда не по доброй воле, я как бы в ссылке. Я еврей, которому близко, дорого все еврейское, национальное. Я хочу знать о еврействе и евреях вашего города. Хочу нащупать пульс еврейской жизни, если он еще где-либо бьется. Он поинтересовался, откуда я, чем занимаюсь, где живу. Целых два часа мы беседовали.

— Евреев в Караганде много, очень много, — сказал он. — И в соседних городах (в 45—40 км) много евреев. И все это настоящие евреи, из еврейских городов России, **און מנין יידן**. Единственное еврейское, что есть в К., вот эта бедная синагога. Больше ничего еврейского нет, даже школы еврейской, хедера, нет. Кое-кто сам обучает своих детей еврейской грамоте. Но что из этого получается? **און אף און וויי**. Хорошо, если научат детей **און ביסעלע עברית**. В синагоге нашей мы

моглись ежедневно утром. В будни бывает к **חזרי** человек 10—11, а по субботам приходит человек 25—30. Это все. Здесь мы встречаемся и после молитвы делимся нашими горестями, выкладываем друг другу свою наболевшую душу. Многие боятся ходить в синагогу, как бы это не было зачтено им, религия, вера — это же контрреволюция. Общин еврейских нет. **כלל** это нельзя. Но для существования синагоги должен быть ее «хозяин» — «Союз верующих евреев». Для получения разрешения на «Союз верующих» требуется не менее 30 подписей, желающих этого объединения. И вот в течение почти полутора лет мы среди 3.—3,5 тысяч евреев не могли собрать тридцати подписей. Нашлись 17—18 престарелых евреев, которые дали свои подписи, а большинство боялось. С колоссальным трудом удалось нам в течение полутора лет собрать еще 12 подписей. И в синагогу ходить бояться, хотя в Иом-Кипур бывает все же человек 200—250, в особенности к Кол-Нидрей. Есть люди, которые тайно жертвуют на синагогу, приносят пожертвования, но не хотят взять квитанции, не называют своей фамилии. В канун Иом-Кипур многие приносят в синагогу свечи (стеариновых свечей нет, и парафиновые достать очень трудно). Вот этот кусочек земли, вот этот домик — это все еврейское, что есть у нас, все это **דאס ביסעלע יידישקייט**, что еще сохранилось у нас. И так не только у нас, а во всей стране. Есть хорошие евреи среди интеллигенции, бывшие еврейские **כלל-טוער**. Они пойдут в Иом-Кипур, молятся у себя дома, но в синагогу боятся ходить — как бы им не припомнили когда-нибудь об их «реакционности» и «контрреволюции»...

Мы расстались с глабаем синагоги. Было тяжело на душе. Больно. Боже мой! Что это? Русское еврейство? Этот неисчерпаемый источник духовной силы для еврейства всей диаспоры? И — без языка, немой. Без школы, без учения, без книги. Без прессы, без живого еврейского слова. Я шел, не переставая думать об этой трагедии нашего народа, русского еврейства.

И Бялик пришел мне на ум:

«Как сухая трава, как поверженный дуб.

Так погиб мой народ — истлевающий труп»...

В ближайшую пятницу вечером я пошел в синагогу. Я хотел видеть евреев, которые остались «евреями»... Я тосковал по ним. В синагоге было человек 15, почти все пожилые люди, старики, некоторые еле передвигались. Я молился вместе с ними. Каждый сказал мне «шалом», приветствовал. Ведь это событие — появление нового лица в синагоге. Да еще доктора. (Габай уже рассказал обо мне). Со мною вместе вошел человек лет 50-ти, а то и моложе. Мы разговорились. Он сказал мне, что уезжает скоро в Польшу. На днях должен получить документы. Он — польский еврей, сионист. Из Польши поедет в Израиль. Он уже слышал обо мне и хотел встречи со мною. И один инженер К., сионист, отбывший наказание в лагерях за сионизм, очень хочет встретиться со мною. Он живет недалеко от меня, в Новом городе. Этот еврей предлагает мне прийти в воскресенье днем к инженеру К., и он там будет. Никого больше не будет, бояться нечего. И опять страх. Во всем страх...

Вышел я часа в 4 дня из здравпункта шахты, мне навстречу от автомобиля идет человек, лет 45. Он обращается ко мне:

— Вы д-р К.? Я инженер Г. Я Вас жду. Вы меня знали еще с детства. Я — сын учителя Г., из Харбина. Садитесь в автомобиль, я Вас доставлю домой. Хочу с вами побеседовать.

Этот инженер, еврей, сын еврейского учителя, которого я хорошо знал, вырос в Х-не, учился в еврейской школе, вращался в кружке еврейской молодежи. К себе пригласить этот инженер, к своему сожалению, как он сказал, не может... Мы беседовали в автомобиле. Более часа катались. Он рассказал мне о своем отце, учителе. Отец приехал к нему в СССР, хотя сын настойчиво рекомендовал ему не приезжать. Но отец приехал. Был арестован (еврейский учитель — контрреволюционная де-

тельность!..) и погиб в лагере. Инженер всегда начеку. Боялся открытой встречи со мною. Он расспрашивал меня о жизни там, в еврейском государстве. Жадно слушал, ловил каждое мое слово. Через месяц мы с ним еще раз встретились, таким же образом, в автомобиле, колесили по разным улицам и закоулкам. Я показал ему несколько полученных мною из Израиля видов (открыток) Тель-Авива, Иерусалима и др. Он рассматривал и заметно волновался.

— Я не единственный, кто хочет это видеть, кто хочет знать все о нашем народе там, в Эрец Исраэль, — сказал он.

Как-то под вечер я вернулся с работы, сидел за книгой: ко мне пришел незнакомый человек. Он инженер, еврей, заведует химической лабораторией завода. Закончил несколько лет тому назад десятилетний срок в лагерях, сослан в Казахстан. Приехала к нему жена его. Она польская гражданка. Хотели уехать из Советского Союза в Польшу. И вот уже год хлопочут. Ей разрешают, а ему, мужу, нет. Он не польский гражданин, не жил в Польше до 1939 г. Без него жена не хочет ехать. Хлопочут, обивают пороги министерств, польского консульства в Москве. Через года два разрешили, и эта чета уехала в Польшу, решив оттуда пробраться в Израиль. Из Варшавы они прислали мне нелегально (через лицо, возвращавшееся в Советский Союз) несколько номеров варшавской газеты на идиш. Вот этот инженер-химик пришел ко мне познакомиться и узнать кое-что об еврействе, об Израиле. Ничего здесь не знаешь, ни о чем еврейском не слышишь. И ни слова еврейского, только «Письма в редакцию» евреев якобы вернувшихся, бежавших из Израиля от «ужасной» жизни там.

— Расскажите, расскажите все, что вы знаете о нашей стране, об Эрец Исраэль, — умоляет он.

Он уже десять лет ничего об еврействе не слышит, не знает. Через неделю он снова пришел ко мне. И опять:

— Расскажите. Что вам пишут из Израиля.

И тихо, тайно, скрытно делается это. Марраны чувства... Среди еврейского населения Караганды были находящиеся в ссылке, по отбытии срока заключения в лагерях, сионисты, пострадавшие за сионизм, сионистскую деятельность. Я знал о таких 9—10 сионистах. Их, может быть, было гораздо больше. Но ведь об этом не говорят, не рассказывают, боятся. Большинство из них боялись встречаться со мною. Во всяком случае, первое время, полгода-год, были очень осторожны, боялись. И, пожалуй, не без основания. Слежка идет вовсю. Но с одним сионистом, инженером, занимавшим хороший пост в государственном институте прокладки шахт, я очень часто встречался. Мы были очень дружны и близки. Он жил со своей семьей недалеко от моей квартиры, и я, бывало, иногда ночевал у него, ибо ночью добираться домой одному небезопасно. Это был хороший, преданный сионист, интеллигентный, культурный человек. Он знал хорошо иврит (окончил еврейскую гимназию в Вильне), активно работал в свое время в сионистской организации. Как сионист был арестован и отсидел в тюрьме и лагере положенный срок. Он жил в Караганде с женой и сыном (и жена отсидела срок в лагере...). Наше национальное дело сближало нас. И мы часто нелегально слушали ночью радиопередачи из Израиля.

Был еще один, юрист по образованию, рижанин, активный в свое время сионист-ревизионист. Отсидел в лагере свои десять лет. Он целый год собирался встретиться со мною и... не решался боялся. Наконец, устроил эту встречу в комнате нашей общей знакомой учительницы (христианки), его сослуживицы и моей знакомой по лагерю, где она работала в больнице, которой я заведовал. С этим сионистом И. мы потом виделись. Он и жена его (тоже отбывшая срок заключения в лагере) очень культурные, симпатичные люди, и я охотно встречался с ними, всегда с интересом беседовали.

В апреле 1957 г. я был приглашен на сейдер. Пригласили меня явившиеся ко мне муж с женой, незнакомые мне. Муж якобы знает меня по лагерю в С., где и он был среди заключенных. Я его не помнил—евреев среди 14 тысяч заключенных в этом лагере было много. Чета снимает комнату в квартире инженера-еврея в Новом городе. Сейдер коллективный. Я не знал, как быть. Людей этих я не знал. Кто они? Коллективный сейдер... в Советском Союзе. В этих условиях постоянного страха... Я не обещал и, благодаря за внимание и оказанную мне честь, уклончиво сказал: постараюсь прийти. Но они не сдаются, требуют обещания обязательно прийти, добавив:

— Вас все хотят видеть, все, кто будет там.

Пришлось обещать. Но про себя я решил предварительно узнать об этих людях, об инженере, в квартире которого состоится этот коллективный сейдер. Мне очень хотелось быть в еврейской среде и на таком торжестве, как сейдер. Муж с женой еще просили меня, чтобы я «правил» сейдером. Это желание всех — сказали они. Но я в недоумении — кто они? Что за странное дело? На завтра к моему домохозяину пришел его дядя, пожилой человек, одессит. Здесь, в Караганде, он в ссылке, работает инженером, занимает хороший пост. И он обратился ко мне:

— Пойдете на сейдер к Л.? Пойдем вместе.

Оказывается, и он приглашен. Он хорошо знает инженера, в квартире которого устраивается сейдер, это его сослуживец. Мужа с женой он не знает. И мы вместе пошли на сейдер. К неизвестным мне людям. Я все же шел робко, с оглядкой, помня «всевидящее око» КГБ, МВД... Пошел, быть может, «рассудку вопреки, наперекор стихии»...

Пришли в 8 часов вечера, уже темнело. Дом на Ленинском проспекте, вход со двора, 3-й этаж. Все уже в сборе. С нами 22 человека. Окна завешены. Большая комната, накрытый стол. Празднично. Бросается в глаза: много молодежи. Среди присутствующих лишь одна моя зна-

комая, врач. Мы с ней встречались несколько раз в двух лагерях. Она отсидела свои «законные» десять лет и работала потом врачом санотдела, в качестве таковой приезжала в лагерь, где мы и встретились несколько раз. Она уже тогда числилась «вольной», я был заключенный. Теперь мы с ней встретились на «воле», в ссылке, на сейдере... Мне дали «агаду» пасхальную, изданную в Москве раввином Шлифером. Пару лет тому назад московскому раввину Шлиферу удалось получить разрешение напечатать очень ограниченное количество еврейских религиозных книг (сидурим, агад) — был такой единственный, случайный момент... Усадили меня на почетное место «королевское» (מלך), и я справлял сейдер. Но современному. Читал текст агады и пояснения давал в свете нашей истории и наличия מדינת ישראל, Государства Израиль. Я видел еврейскую молодежь, выросшую в Советском Союзе, которой многое странно, которая, быть может, не знает и не слышала о трагедии 9-го аба, о борьбе Иегуда Гамакаби, о билуцах, халуцианстве, о непобедимой силе еврейского духа. И в этом смысле я освещал пасхальную агаду с ее верой: «Ныне мы здесь, а в будущем году в стране Израиля». Молодежь и все другие меня жадно слушали. Я познакомился с обществом. Нас было 22 человека. Что же за люди это были? 9 человек бывших заключенных, отбывших сроки наказания, среди них пять за сионизм и еврейский национализм. Среди справляющих сейдер — одиннадцать молодых людей лет 19—25, остальные в возрасте 30—45 лет, и нас лишь двое пожилых, перешагнувших 65-летний возраст. Среди молодежи — 6 студентов-медиков, два молодых врача, два молодых инженера, зубной врач, провизор. Среди студенческой молодежи — один бывший лидер комсомола, только что закончивший пятилетний срок в лагерях. Он на втором курсе мединститута, знает иврит. Еще два студента и одна студентка знают иврит. Знают иврит и зубной врач (из Латвии), и провизор (из Ковно), окончившие гебраистские гимназии «Тарбут».

Зубной врач, активный сионистский деятель, отсидел 10 лет за сионизм. Теперь работает зубным врачом в Караганде. По окончании сейдера мы все уселись кругом. И молодежь стала петь песни — израильские песни, на иврите, песни наших дней, песни, рожденные в государстве Израиль. Трое — четверо из молодых говорят между собой на иврите. Я был поражен, не верю своим ушам, тому, что вижу. И слезы стоят у меня в глазах. Мы пробыли до 6 часов утра. Куда пойдешь ночью? Опасно. Домой шли втроем — зубной врач, провизор и я. На душе было и радостно и больно. Тайный сейдер, прячась, опасаясь... Марраны.

Через два дня провизор был вызван в МГБ. Допрос: зачем собирались в ночь на... (в ночь сейдера), что было там, что за песни пели, какие речи были... «Именины были», — ответил он. Пели песни народные, веселились, гуляли — объяснил провизор. Так он рассказал нам. Меня не вызывали и, видимо, никого другого. Дело как будто осталось «без последствий». По крайней мере, без видимых последствий...

Я после сейдера неоднократно встречался с этой молодежью, поведал им многое, чего они не знали, о чем не слышали, не читали. У них был большой интерес к еврейству, а в особенности к Израилю. Они мечтали об Израиле и верили, что еще будут там, на нашей Родине.

Зубной врач все ищет как бы выбраться в Израиль. Одна мечта у него, одно желание. Но нет надежды выехать. Он советский гражданин (из Латвийской ССР). И вот одна женщина, польская еврейка, уехавшая в Польшу, принимает участие в его судьбе. Она обещала ему выслать вызов из Польши, и зубной врач ждет, надеется. Через месяц-другой он получил письмо из Варшавы. Некий Р. пишет ему, якобы своему «двоюродному брату», просит сообщить точно полное имя, фамилию, год рождения, занятие. Он вызовет его к себе, в Польшу. Обрадовался зубной врач. Есть надежда попасть в Израиль. Послал нужные сведения и ждет. И прибыл вы-

зов от «двоюродного брата». Пошел зубной врач в ОВИР, но там ему столько пришлось услышать про его «контрреволюцию», «измену родине». Тут и «обман», и «шантаж». Оказывается, еще кто-то получил аналогичный вызов, и тоже от «брата», от того же самого из Варшавы. Добрый варшавский еврей хотел еще кое-кому помочь вырваться из Советского Союза. У зубного врача забрали вызов, потребовали подписку, что он никогда более не будет возбуждать ходатайство о выезде. Под страхом, под угрозой зубной врач дал такую подписку. (Это было в 1957 г.).

И я имел такое предложение через ту же польскую еврейку, общую нашу знакомую, и от такого же «брата», «дяди». Но я не воспользовался этим после истории с зубным врачом.

Настал Иом-Кипур 1957 года. Вечером к Кол-Нидрей я поехал в Старый город, в синагогу, в ту самую, где я молился в прошлом, 1956 году. Со мной поехал и мой приятель, инженер-сионист. Все та же синагога — покривившаяся, убогая хата: две комнаты и передняя. Синагога полна народу, битком набита. «Аудитория» и на сей раз — большинство люди пожилые. Немного среднего возраста, несколько человек молодежи, с десятков детей. В комнате, где происходит богослужение, где помещается Арон-Кодеш у дверей среди молящихся стоят три молодых человека в возрасте 28—30 лет. Черноватые. Вспоминаю, видел их часто на главной улице, сидят на скамеечке на тротуаре, чистят обувь. Я считал их армянами, а тут вдруг они в синагоге, в Иом-Кипур, к Кол-Нидрей. Я стою поблизости от них. Один из них подошел ко мне, стал смотреть в мой махзор и читать молитвы вполголоса. Спрашиваю, кто они. Бухарские евреи. Временно живут в Караганде. Они приезжают сюда из Туркестана, Узбекистана на 5—6 месяцев, на заработки. Они чистильщики сапог. Дело выгодное — за чистку обуви берут три рубля, за сапоги — четыре-пять рублей. По окончании сезона они возвращаются домой, в свою

Бухару. Несмотря на все гонения они умеют читать по-еврейски, знают молитвы, правда, «с грехом пополам»... Мы шли обратно с ними вместе часть пути, и на завтра я видел их за молитвой **נעילה**. Я потом часто останавливался около них на Сталинском проспекте и Ленинской улице. Иногда беседовал с ними. Меня интересовала жизнь бухарских евреев в далекой азиатской Советской России. Любопытно, что, считая меня своим «братом-евреем», они при прощании говорили по-еврейски: «Шма-Исраэль» — **שמע ישראל**, радостно улыбаясь при этом. И эти слова чистильщика сапог так радовали меня, так трогали, волновали. Я иногда специально подходил к ним, чтобы при прощании услышать из их уст эти слова — «Шма Исраэль». И этими же словами прощался с ними: Шма Исраэль. Это были слова нашего союза, единения, братства... **שמע ישראל!**

Я искал среди молящихся евреев «интеллигентов», дипломированной интеллигенции. В Караганде было много евреев-врачей, евреев-инженеров. Нет, они не пришли даже к Кол-Нидрей. Боятся. Это слишком открытая демонстрация...

У амвона все тот же 83-летний старик молится. Сердечно, тепло молится. С душой, чувством. На следующий день я часа в четыре ушел из поликлиники. В синагогу, к **נעילה**. Все тот же старичок у амвона молится, взывает к Всевышнему: открой нам врата небесные. Пожалей нас, как отец детей своих. Услышь нас! Узри нас! Да будет молитва моя приятна тебе — слезно взывает престарелый баал-тефила. Уже темнеет. Кончилась молитва **נעילה**. Прочли **אבינו מלכנו**, это торжественное богослужение — обращение к Всевышнему о милости, прощении, даровании здоровья, жизни. Произнесли громко «Шма Исраэль» и семь раз повторили «Адонай ху гаэлогим». Кадиш прочитали. Какое-то молчание, заминка какая-то. Словно у всех напряженное состояние, все ждут чего-то. Дрожат губы у старика — баал-тефила. Что-то он шепчет, что-то молят его губы. И раздался

трубный звук, один, продолжительный. Баал-тефила плачет. Смятение — и вдруг из толпы, из массы молящихся раздался крик: **לשנה הבאה בירושלים!** И все, все молящиеся, весь народ подхватил этот крик, вырвавшийся из души. И еще подхватывают его. И еще раз, еще раз. Уже не один год эти слова после молитвы **נעילה** не раздавались. Боялись. Из страха перестали произносить их. **לשנה הבאה בירושלים** — ведь это сионизм, Израиль, контрреволюция... И «измена родине». И эти страшные слова не произносились громко, во всеуслышание. Шептали их про себя, произносили в мечтах о родине: Иерушалаим. И вдруг кто-то воскликнул, закричал: «В будущем году в Иерушалаиме!» И все, все, вся масса народная подхватила эти родные слова. И у всех сияющие лица. Словно светлее стало на душе, и все приветствуют друг друга. Поздравляют с праздником. С праздником! **גוט יום-טוב!** И кое-кто по дороге обратно, из храма тихо, робко шепчет: дай Бог, чтоб это гладко прошло...

Перед праздником **סוכות** я получил из Израиля (от раввината, который узнавал адреса евреев в Советском Союзе) этрогим — палестинское растение, символ райского яблока, луловим (пальмовая ветвь) и еще ивовые ветки, употребляемые в праздник кущей при молитве. Получил я все эти предметы ритуала в пяти экземплярах. Я получил их, заплатил пошлину 137 рублей, и прямо с почты отправился в синагогу передать их для общего пользования. В Советском Союзе их нигде не получишь. Да и кто посмеет! Я принес их в синагогу. Боже мой, какая радость была у всех. Наглядеться не могли на эти «растения» (в официальных почтовых документах они назывались «пальмовые растения»). Поздравляли друг друга. Вот так праздник у нас нынче! Вот так Суккот нынче! «Ну, это хороший признак — это к счастью. Будет хороший год, придет **ישועה** на евреев»... Немного надо, подумал я, очень немного, чтобы

верили в счастье, в ...שועה. Ибо жаждут этого, мечтают об этом, все дни, всю жизнь мечтают...

Получил я и в будущем 1958 году «пальмовые растения» на Суккот, но лишь в одном экземпляре — один этрог, один лулов и вербы. Синагога уже не существовала. Ее закрыли. Пришел я к своему приятелю и рассказываю — получил лулов и этрог, а синагоги нет. Что с ними делать? Кому дать, чтобы были использованы? Жена моего приятеля обрадовалась: давайте сюда. Используем, да еще как! И она организовала это дело. Каждое утро разносили этрог-лулов по еврейским домам. И многие еврейские семьи пользовались ими **גַּיט מִיר אױךְ** ежедневно, да еще платили за это. Женщина хорошо организовала это дело. Деньги платили за лулов в пользу бедных, и 5—6-ти бедным еврейским семьям была оказана хорошая помощь, поддержка. Поистине, «приятное с полезным»... Евреи, имевшие возможность каждый день в дни праздника Суккот произносить благословение, потряхивая лулов и этрог со связкой из **מִיר** и речной вербы, были счастливы и охотно платили за этот неожиданный в советских условиях дар.

В начале 1958 г. синагога в Караганде была советскими властями закрыта. Заволновались евреи, стали бегать, обивать пороги милиции, представительства МВД. Почему? За что такая жестокая кара? Волнуются религиозные евреи, да и все другие чувствуют этот удар. Один орган власти посылает к другому — его это не касается, не он это сделал, не его распоряжение. В милиции говорят, что действовали по приказу МВД. В представительстве МВД заявляют, что есть распоряжение закрыть синагогу, и какие тут разговоры могут быть! В представительстве КГБ утверждают, что евреям не нужна синагога...

— Как так не нужна?!

— А вот так, не нужна, и — баста...

Религиозные евреи не унимаются, пишут в столицу республики, Министру внутренних дел, Председателю

Совета Министров и вновь обивают пороги госучреждений. Последнее слово: нет!

— Не будет синагоги! Не нужна она вам! Можете молиться у себя дома. Сколько хотите и кому хотите — Богу, черту, дьяволу... Да у вас и нет средств содержать синагогу.

— Как нет средств? Мы с излишком покрываем все расходы, мы сами, молящиеся, прихожане.

Синагога была раз и навсегда закрыта. В Рош-Гашана, в Иом-Кипур собирались по 10—15 человек в частных квартирах, собирались во многих домах, в разных частях города, и молились. Молились и плакали. И я бывал в эти дни больших еврейских праздников в частной квартире у незнакомых мне людей на тайном молитвенном собрании... Так было и в 1959 году, в 1960... В следующем году, придя к Кол-Нидрей в один такой частный дом, среди 12—15 евреев я увидел знакомого врача, которого не встречал ни разу в синагоге, когда она существовала. Я удивленно посмотрел на него и у меня вырвалось:

— И вы здесь!

Он объяснил мне: сюда можно спокойнее ходить, чем, бывало, в синагогу. Там уж слишком открыто, а тут это в тайне... «Марран» — подумал я, глядя на него. Современные марраны, советские.

В 1959 году усилилась борьба с религией. Церкви полны молящихся во все праздники и в воскресные дни. Храмы не могут вместить всех жаждущих молиться. Стоят на улицах вокруг храма. Стоит много сот людей, а в «Клуб атеистов» их калачом не заманишь. Читают там лекции профессора, врачи, педагоги (читают далеко не по собственной воле...), а народ в клуб этот не ходит. Стали усиленно издавать антирелигиозную литературу. Против религии вообще, и против каждой в отдельности. Переиздали книгу Ярославского (бывшего редактора «Безбожника») «Библия для верующих и неверующих». Книга не издавалась с 1938 года. Ярославский

был в немилости у Сталина. А вот теперь через 20 с лишним лет, извлекли из-под спуда его труд и издали вновь. Стали часто читать лекции не только в «Клубе атеистов», а что называется «ходить по домам». В каждом учреждении, на шахте, в больнице, поликлинике собирают всех служащих и рабочих. «Явка обязательна»... Собрали весь штат и в нашей поликлинике. Лектор—сотрудник Комитета государственной безопасности. Он же и сотрудник «Общества распространения политических знаний». Тема: «О вреде религии». Начал свой доклад лектор с того, что под видом религии проводится Америкой шпионская работа. Под фирмой адвентистов, «исследователей Иеговы» и других религиозных сект, центр которых в Америке, Америка ведет в Советском Союзе шпионскую работу. Лектор распространенно говорит о вреде веры в Бога, что является «глупым суеверием», «затемняет сознание масс», делает их «невежественными». Тут же лектор с глубоким сожалением констатирует, что число верующих растет. Нужно бороться с такими вредными явлениями. Печальнее всего то, что религиозность наблюдается в последние годы среди молодежи. В нашем медицинском институте есть целая организация верующих. Студентов! Подумайте! Это непостижимо здравым умом! А между тем это факт. Студенты медики, естественники, биологи — им в первую очередь должно понимать всю «глупость», весь «мрак» религиозности, весь «обман» ревнителей разных вер. А между тем они, медики, естественники, они сами в рядах этих гасителей света и разума. Вы, медики, — обращается он к нашему собранию, — должны вместе с нами бороться против этой «темноты» и «гнусного обмана», бороться в интересах трудящихся масс. Целых полтора часа «лектор» говорил о «выдуманном Боге», сатане, дьяволе, Христе и Антихристе — «большом воображении» буржуазно-капиталистических стран, боящихся правды и держащих народ в темноте... Два раза в неделю стали демонстрировать по телевидению картины из быта церквей, синагог. Ретиво взялись

за еврейскую веру. Показывают фильм, как обманывают народ, прибегая к гипнозу. Заманили еврейскую девушку в синагогу, гипнотизируют ее, внушают насильно веру. Показывают, как девушка впадает в религиозный транс. Девушка эта потом сходит с ума, попадает в дом умалишенных. «Вот до чего доводит религия!» — красуется надпись на экране.



Богатая страна и... нищий народ — сказал когда-то Уинстон Черчилль про СССР. И, поистине, так. Это положение порождает немало отрицательных, вредных явлений в жизни. Ищут всякие обходные пути, чтобы получить товар. Нет зубного порошка, нет зубной пасты, нет долгими месяцами. Нет трусов, уже более полугода нет, ни в одном бельевом магазине, ни в универмагах. Нет их.

И повсюду взяточничество. Едешь в трамвае, и то и дело слышишь, как женщины жалуются на то, что творится в магазинах, лавках, — обвешивают, обсчитывают их. Автомобиль купить не так-то легко. Запишешься на автомобиль и — ждешь годами. Но есть, конечно, более короткий путь. Мой знакомый получил «Москвич» буквально через два—три месяца. Но автомобиль обошелся ему на 20 процентов дороже. И это естественно, «нормально»...

Зарплата низкая. Среди специалистов свободных профессий педагоги получают самые жалкие оклады. Зарплата врачей тоже очень низкая. Частной практикой врач не имеет права заниматься. Почему такая зарплата врачам, педагогам? Говорят: это бездоходные государственные предприятия (школы, амбулатория, больницы — один убыток от них...).

Среди моих пациентов в амбулатории есть директор большого магазина (винно-бакалейного, хлебных и кондитерских товаров, молочных продуктов и др.). Мага-

зин помещается в районе шахты и нашей поликлиники. Директор к моему участку не относится, но начальница больницы просит меня лечить его. После двух—трех визитов директор говорит мне:

— Может вам нужна колбаса, у меня в магазине есть.

— Спасибо! Если понадобится, зайду.

— Нет, дело не в том.

Оказывается, колбаса есть, но не для продажи. Надо зайти через двор в его кабинет и получишь колбасу, которая «просто смертному» не продается. Колбасы вообще нет в продаже. Давно нет, долгие месяцы нет. Через некоторое время директор, желая мне услужить, отблагодарить за лечение, спрашивает, почему я не захожу к нему — есть хорошие яблоки, китайские, есть варенье, болгарское, есть консервы, болгарские, есть и мясо, и хорошие вина. Зовет в свой кабинет, через задний двор. В магазине всего этого не имеется для продажи... Рассказал я своим хозяевам об этом приглашении. Они удивились, что я не пошел, даже возмутились. Идите, купите, вот вам деньги. Купите для нас. Иначе ведь не достанете ни колбасы, ни яблок, ни мяса. И медсестра моя просит меня купить для ее семьи мясо. Что поделаешь? Пошел к директору. У ворот сталкиваюсь с начальницей нашей больницы и хирургом — туда же идут, и тоже через задний двор в кабинет директора. Директор тепло встретил, дал все, что просили, и в нужном количестве. Заплатили по установленной государственной цене. Купил мясо для медсестры и для хозяев моих, купил колбасу, масло, китайские яблоки. Бери, бери. Раз в два месяца я заглядывал в кабинет директора. Новый год принято встречать с шампанским. А шампанского нигде нет. С огнем не сыщешь. Звонит мне директор по телефону: вам надо «шипучее»? Приходите, есть и фрукты. Спросил своих хозяев, надо ли им. Мне это не надо — я человек одинокий, непыющий, могу обойтись и без «ши-

пучего». «Обязательно возьмите. Пожалуйста! Я с вами поеду. Возьмите три бутылки, возьмите фрукты». Никуда не денешься. Поехали. Через двор, кругом, в кабинет директора. Лишь немногие встречали Новый год с шампанским. «С новым годом! С новым счастьем!»...

По настоянию хозяев я заглядывал в кабинет директора магазина. И кого только не встречал там, в маленьком, директорском кабинете. Один раз с судьей познакомился, другой раз с молодой женщиной — товарищем прокурора, и с парторгом, и... Таков советский быт...

И еще кое-что из советского «быта». Объявили, что с начала следующего месяца (это было в 1959—60 гг.) один вагон трамвая (всего идут по два вагона в каждом направлении) пойдет без кондуктора. «Вагон без кондуктора» — это значит бери сам себе билет. Установили в одном и другом конце вагона по кассе-ящику, и клади свои 3 копейки (в трамвае одна цена на все поездки), отрывай билет от билетной ленты сбоку. Деньги кладут на крышку ящика кассы, и оттуда же бери себе сам сдачу, если надо. И вот что получилось в результате этой установки на сознательность, на совесть, на чувство долга... С первого же дня билеты берут, а денег... денег мало кладут, или совсем не кладут. Едут по билету, но... бесплатно. Кладут одну, две копейки вместо трех. А подсчет за день показывает ужасающие факты — билетов взято на сто рублей, а в кассе двадцать—тридцать рублей. И так в каждом из вагонов «самообслуживания», вагонов «без кондуктора». Стали воздействовать на публику, напоминать. Вагоновожатый на каждой остановке говорит в микрофон: «Вошедшие на этой станции, берите билеты». Плакаты на стенах: «Берите билеты!» И это не помогает. В кассе каждый день большая нехватка. А мальчишки и кое-кто из молодежи вместо того, чтобы положить деньги, берут их оттуда. Два с лишним месяца продолжался этот эксперимент. Убытки терпели огромные. И прекратили это дело. Ставка на совести-

вость и сознательность гражданина потерпела крах... Взяли кондукторшу (кондуктора в трамвае — женщины): выгоднее, чем терять 500—600 рублей в день. Да и кондукторше приходится немало воевать с нежелающими брать билеты, в особенности, с молодежью. Не берут билетов — и баста. Женщина-кондуктор говорит:

— А зачем залез в вагон, коли денег нет! Бери билет или слазь.

А паренек нагло отвечает:

— Не слезу. Тебе какое дело? Это твое что ли? Это и мое тоже, дело общее...

Сколько раз я был свидетелем таких сцен, путешествуя трамваем два раза в день, изо дня в день. Еще рано полагаться на совесть...

ГЛАВА 17.

«ИЩУ ЕВРЕЯ...»

Я искал встреч с евреями, которым близки еврейские интересы, еврейская жизнь. Я хотел узнать все о еврейской жизни в Союзе. У моего домохозяина бывают 4—5 еврейских семей, среди них два врача, инженеры, учительница. Я изредка встречаюсь с ними, вижу их у нас в доме. Но они о еврействе, еврейской жизни меньше всего говорят, словно это для них безразлично. Или просто: об этом лучше не говорить. Так, встретился я случайно с одним профессором-евреем, профессором по кафедре внутренних болезней в Карагандинском медицинском институте. Раньше он был профессором ленинградского медицинского института. После пресловутого сталинского процесса евреев-врачей он был снят с работы (как «брат» и «член семьи убийц в белых халатах...»). И через год-другой, как бы реабилитированный, стал профессором медицинского института в Караганде, где я в это время жил в «ссылке» и работал врачом. Этот профессор назначил на один из дней совещание всех врачей кардиоревматологов в помещении Облздрави. Был и я приглашен на это совещание как врач, ведавший ревматологическим кабинетом 10-ой поликлиники. Я пришел минут за десять до начала. Комната, где должно было состояться совещание, была занята — кто-то заседал там. Пришлось ждать в коридоре. И пом. Облздрави, тоже еврей, мой знакомый, пригласил меня и профессора К. к себе в кабинет обождать, пока комната совещаний будет свободна. Мы сидели в кабинете врача вдвоем, три еврея, случайно

встретившиеся. И не знаю, как это вышло, что вместо беседы о ревматизме, для чего собрали человек 40 на совещание, мы, три еврея, заговорили о... еврействе, еврейских делах. Все трое мы пострадали в СССР за еврейство — и быть может инстинкт подсказал нам тему. Мы говорили об обычных в Союзе «еврейских делах» — в Малаховке (возле Москвы) подожгли синагогу, в мединституты евреям очень трудно попасть, нет еврейской прессы, нет еврейского театра. Говорил, главным образом, врач Облздрави (еврей из Бессарабии из набожной еврейской семьи, в синагогу не ходит, но тайно соблюдает еврейские праздники и в Йом-Кипур постится...). Говорили тихо, полупшепотом, хотя нас только трое в комнате, три еврея. Профессор, седой старик, лет 65, все время молчал, иногда лишь пожимая плечами и покачивая головой. Он вдруг встал, взялся за ручку двери и грозно сказал:

— Надо молчать и забыть, что мы евреи...

И вышел из комнаты. Мы оба были очень поражены такому заявлению. И молча, не сказав друг другу слова, пошли на совещание. Совещанием руководил этот самый профессор, на которого я спокойно смотреть уже не мог. На научных собраниях терапевтического общества я избегал встречи с ним. Мне казалось, что и он избегал меня. Его ассистентка, еврейка, говорила мне, что он, профессор К., хороший еврей, национально мыслящий. Быть может, пережитое и страх за сегодняшний и завтрашний день подсказали ему тогда эти слова в маленьком кабинете в Облздраве. В дальнейшем мне не раз приходилось встречать таких евреев. Они молчали о своем еврействе и даже скрывали его тщательно. В особенности те, кто занимали видные посты.

Как-то летом жена моего домохозяина уехала с детьми на дачу, и в один из вечеров к хозяину пришли три инженера. Среди них главный инженер завода, где работал мой квартирохозяин. Хозяин пригласил меня принять участие в ужине с выпивкой в холостяцкой компа-

нии. Сказал мне, что все три инженера — евреи. Но главный инженер, носящий чисто русское имя и отчество и чисто русскую фамилию, выдает себя за русского, и никто якобы не знает, что он еврей. Я сказал хозяину, что мне такие типы неприятны.

— Нет, нет. Они все, и главный инженер, знают о вас и хотят с вами познакомиться.

Мы встретились вечером за ужином. Главный инженер знал, что я хлопочу о визе в Израиль, и заговорил со мною об этом. Стал расспрашивать об Израиле. Мы сидели за столом рядом. Беседа велась тихо между мной и им. Я его спросил:

— А разве вас это интересует?

— Очень даже, — ответил он.

— Но не как еврея? — сказал я.

— Именно как еврея, — сказал он. — Да, я считаюсь неевреем. Но я еврей, не крещеный. Так надо, дорогой доктор. Так надо, — добавил он с грустью.

Через пару месяцев этот инженер получил большой пост главного инженера Краевого управления нархоза. Высокий пост с высокой зарплатой. Очевидно, действительно «так надо»... Через полгода после нашей первой встречи он позвонил мне по телефону. Просит зайти к нему — мать его приехала в гости и заболела. Он заехал за мной на своей автомашине, и мы поехали к нему на квартиру. Жена у него русская, и дети соответственно. Он ввел меня в комнату больной матери — гостьи. Я увидел типичную еврейку, наитипичную.

— Вы говорите на идиш? — спросила она меня.

— Говорю.

Старушка обрадовалась. Мы с ней вдвоем в комнате. Она заговорила со мною о своей жизни. Из Ростова она приехала к сыну на месяц, но она раньше уедет, сказала она со вздохом. Дома у себя уютнее... Сын, слава Богу, хорошо устроен, занимает большой пост, но ей тут нелегко.

— Вы меня понимаете, доктор?

Я вспомнил слова профессора-еврея: «надо забыть, что мы евреи»... Нет, она, мать главного инженера, забыть этого не может... Мы с ней тепло простились, по-еврейски. Я ей пожелал **רפואה שלמה**.

Я возвращался из поликлиники домой. От трамвайной остановки мне пешком идти квартал. Впереди меня медленно передвигается какой-то старичок. Иду за ним. Дойдя до Ремонтной улицы, старичок остановился, подошел к воротам первого дома и что-то ищет. И я сворачиваю на эту маленькую улицу. Здесь я живу в доме № 8. Старичок обращается ко мне:

— Где тут № 8?

— Вам нужен дом № 8? Пойдемте со мной, я тоже туда иду, — предлагаю я старику.

Старичок — еврей, с длинной седой бородой, в поношенном длинном черном пальто и на голове старая помятая шляпа. Кого же ищет старик в особняке моих хозяев? Я спрашиваю его на идиш: кто ему нужен? Старик обрадовался, услышав еврейскую речь, протянул мне руку: **שלום עליכם**. Он идет к еврею-переплетчику, который так же, как и я, снимает комнату. В руке у старика завязанные в большой платок книги. Переплетчика нет дома, комната закрыта на замок. Я пригласил старичка зайти ко мне, подождать, пока придет переплетчик, — он скоро должен быть, он всегда в это время возвращается с работы. Старик зашел в мою комнату. Рассказывает мне, что вот книги — сидур, махзор — треплются, страницы выпадают, рвутся. Надо молитвенники переплести, иначе пропадут, и молиться нельзя будет. Нет молитвенников, новых не печатают. А нести такие книги в артель нельзя — это же не просто книги для чтения. Еврейские молитвенники, их и не примут в артели. Это же запретное... Кто-то сказал, что этот еврей-переплетчик очень хороший человек и хороший еврей, и он это сделает частным образом, чтобы никто не знал. И раз это для молитвенного дома, он и денег за работу не возьмет. Вот он и пришел к

нему. Узнав, что я доктор, он особенно обрадовался и преисполнился ко мне уважения. Просил меня помочь ему в этом деле. Я обещал ему свое содействие, если будут какие-либо расходы, я готов их оплатить. Старик был очень растроган. Минут сорок провел он у меня в комнате, рассказывая о жизни, запросах, нуждах кучки верующих, вся жизнь которых в молитве и соблюдении законов еврейской веры. Поведав об их муках и страданиях, лишениях, но твердой вере в спасение еврейского народа. Он утешал меня и больше всего себя, что евреи все переживут. Худшие времена были, гораздо худшие. И евреи все пережили, и еврейство живет. Больно, очень больно, есть много детей, над которыми не совершен «брит мила» (обряд обрезания), немало смешанных браков, растут «гоим». Но «идишкайт» не уничтожат. Нет! Были в нашей старой истории времена, когда враги наши **אנאי ישראל** вырезали у еврейских матерей языки, чтобы они не могли рассказывать своим детям о еврействе, петь им еврейские песни, песни о еврейских мучениках — героях, передавать детям еврейские легенды. И что же? Уничтожили они, враги наши, еврейство? Нет! Нет еврейского хедера, нет еврейских книг, но потихоньку, **שטילער קייט**, многих детей обучают. Вот к нему каждый день приходят три мальчика, и он учит их еврейской букве, еврейскому слову, чтобы они знали «иврэ», и «хумеш» они будут учить. И у других такие дети есть, и такие, которых отцы их учат. Тяжелые времена для еврейства, очень тяжелые. Но еврейский народ переживает. Пришел переплетчик, которому я рассказал о цели визита к нему старика. Переплетчик знает об этом, он сам просил принести ему молитвенники. Он считает это своим долгом. Старик-еврей был счастлив. Я простился с ним тепло, трогательно. Он крепко жал мне руку, обнимал меня. Он рад был видеть еврея, который с ним в эти дни, когда над еврейским учением, над еврейской культурой занесен меч истребления. Переплетчик рассказал мне, что старик, пере-

давая ему книги, плакал, говоря, что еще много, много евреев, которые верны еврейству. Вот он встретился сейчас с доктором, который такой еврей душой, ему так близко и дорого все еврейское.

— Нет, — сказал ему старик, — еврейство вечно и никакие «гзейрес» ему не страшны. В каждом веке, в каждом поколении хотят нас уничтожить, истребить. Но народ Израиля вечен и никакая сила не может противостоять этому, — верил и уверял старый еврей.



Массовых арестов, как это еще совсем недавно было во всесоюзном масштабе и продолжалось десятки лет при самодержцe Сталине, теперь как будто нет. Не ловят людей на улице, не врываются в дома. Но МГБ «работает»... В 1956 г. чуть ли не 40—50 процентов политических были освобождены из лагерей Комиссиями Верховного Совета, и заключенные вышли на волю, их радостно встречало население. В вагоне железной дороги к ним относились с большим вниманием, угощали. Смотрели на них, как на мучеников, невинных жертв сталинизма. По приезде домой их приветствовал радостно весь поселок, устраивали в их честь обеды, пили за здоровье страдальцев. Все это не понравилось властям, и приказано было это прекратить и... поменьше «разговаривать»... Уж больно много «свободы» взяли себе люди... Арестов массовых не было, но за людьми, в особенности за бывшими заключенными, следили вовсю. И то одного, то другого вызывают, «проверяют»... А быть может, напоминают о прежнем времени. Так к моему приятелю, врачу, заявили в один прекрасный день двое из Комитета государственной безопасности (Министерство госбезопасности, МГБ, было официально ликвидировано, а вместо него при Совете Министров создали Комитет государственной безопасности — КГБ. И во всех областных городах «Руси великой» существуют такие

комитеты). Заявились к моему приятелю-врачу часов в 9 утра двое чиновников КГБ — те же следователи МГБ — и стали производить обыск. Перерыли все его письма, книги. Как будто, ничего ~~не~~ нашли. Предлагают ему одеться и поехать с ними в КГБ. Доктор этот был арестован уже не раз, отсидел много лет и в тюрьме, и в лагере, и ему знакомы все эти приемы...

— Я арестован? — спрашивает он кагебистов.

— Что вы! Что вы! Скоро вернетесь обратно.

Доктор, конечно, не верит им и говорит:

— Послушайте, я стреляная ворона. Я уже не раз бывал в этой шкуре.

И обращается к жене:

— Приготовь в дорогу зубной порошок, мыло, полотенце, я иду в тюрьму.

Оба следователя стали уверять, что он скоро вернется. Но доктор помнит их «номера»:

— Бросьте, — говорит он им, — я знаю, что я арестован, только не знаю, за что...

— Вы не арестованы, — заверяет следователь.

А дело было такое: в Москве арестовали некую поэтессу и при обыске нашли у нее письмо моего приятеля — доктора. Эта поэтесса только года два тому назад освободилась из лагеря, отсидев десять лет. И теперь, в 1959 году, была вновь арестована и получила новый срок — еще десять лет. В письме доктора к поэтессе ничего «контрреволюционного» не было, но все же он был в переписке с «преступницей», которая получила новый срок — десять лет ИТЛ (по 58-ой статье!...).

Чиновники КГБ забрали доктора с собой и допросили три раза в течение дня. Два капитана допрашивали детально. Дали совет не переписываться с «подобными лицами», и в 8 ч. вечера отпустили домой. Доктор отделался на сей раз только предостережением. Конечно, лет 5 тому назад, он был бы уже в тюрьме и получил «срок» не меньше десяти лет... за такое «преступление» — нашли его письмо у «контрреволюционера». Таких слу-

чаев было немало. Кто-то что-то сказал., вызывают его в КГБ, и советуют, делают внушение... Предупреждают... Все же «новые времена»...

*
**

ОВИР (Отдел виз и регистраций) — учреждение МВД, ведающее выдачей виз, туристских и выездных, регистрацией иностранцев, лиц без гражданства и т. п. Последние (иностранцы и лица без гражданства) должны являться каждые три месяца в ОВИР для получения права на жительство. Я аккуратно являлся каждые три месяца за получением штампа-печатки на моем документе. В 1956 г. я стал хлопотать о выезде за границу. Представил вызов семьи из Израиля. Начальник ОВИРа заявил, что сначала мне надо получить вид на жительство, а потом возбуждать ходатайство о выезде. У меня нет вида на жительство, у меня есть лишь лагерный документ, «желтый билет». А вид на жительство — это длинная история: по словам начальника, от шести до двенадцати месяцев. Но без вида на жительство начальник и слушать не хочет о визе за границу. Я подал заявление о выдаче мне вида на жительство.

— Хотите получить советское гражданство? — спрашивает начальник.

Я боялся советского подданства, боялся со всех точек зрения. Как советскому гражданину определенно не дадут мне разрешения выехать в Израиль. И подал заявление о выдаче мне вида на жительство как лицу без гражданства. Через 6 месяцев я получил вид на жительство в СССР «для лиц без гражданства». «Действителен один год». А каждые три месяца являться на проверку. Со своим паспортом и вызовом от семьи из Израиля я отправился в ОВИР. Хочу ехать к семье, в Израиль. Не тут-то было.

— Ваш вызов, — сказал мне начальник, — не годится. Вызов — это для советских граждан, а вы без гражд-

данства. Вам нужен либо паспорт той страны, куда вы едете, либо маршрутное свидетельство (Laissez Passer). Таков теперь порядок.

И не принял моего заявления. Чтобы хлопотать об израильском паспорте, надо обратиться в посольство государства Израиль в Москве, послать им свой паспорт, из коего видно, что я лицо без гражданства. Паспорт отправлять в Москву рискованно. Да и как можно в СССР остаться без паспорта? Да еще такому, как я, после одиннадцати лет заключения! Да и как вообще вступать в связь с таким учреждением, как посольство государства Израиль?!

Отношение к государству Израиль в те дни (в Синайскую кампанию и после нее) было ужасное. Газеты не перестают клеветать на Израиль, пишут страшные небылицы про Израиль-агрессора, про империализм Израиля, про Израиль-реакционера. А мне надо связаться с посольством этой «империалистической», «реакционной» страны! Надо послать паспорт. Решил я сделать фотокопию паспорта. Зашел в фотографию.

— Можно сделать фотокопию моего вида на жительство?

— Можно, пожалуйста.

Отдаю свой вид на жительство. Прошу четыре копии. Через три дня будет готово. Стоит двадцать рублей. Плачу деньги. Слава Богу — думаю. Один вопрос разрешен. Прихожу через три дня за паспортом и фотокопиями. Владелица фотографии (еврейка), словно извиняясь, смущенно возвращает мне мой паспорт и двадцать рублей.

— Не могу выполнить ваш заказ.

— Почему?

— Нельзя.

— А вы раньше не знали, что нельзя? Это разве у вас первый случай фотокопии документов, паспорта?

— Только с разрешения милиции можно делать фотокопии паспорта.

— А милиция не разрешила?

Молчит смущенная женщина. Я ушел из фотографии с тяжелой душой. Как «свободно» дышется в этом полицейском государстве! И в моих ушах раздается: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек»...

В свой следующий выходной воскресный день я пошел бродить по окраинам города, искать фотографию. Вот стоит покривившийся деревянный домик — сарай, и на нем надпись — «фотография». «Фотокарточки для паспортов. Моментальное исполнение». Попытаю счастья в этой захудалой «фотографии». Исполнение «моментальное»... И через час четыре фотокопии моего паспорта у меня в кармане. Словно гора с плеч свалилась. Послал фотокопию паспорта при заявлении о принятии меня в израильское гражданство, как еврея и лица, не имеющего гражданства. Отправил заказным, авиапочтой в посольство государства Израиль. Волнуюсь, дойдет ли? Уж очень адрес однозны — «Посольство государства Израиль»...

Как я был счастлив, когда через 12 дней получил из Москвы подтверждение о получении моего заявления. Я стал с волнением ждать, и все время находился в контакте с посольством Израйля в Москве («на страх врагам»...).

В июле 1958 г. я получил израильский заграничный паспорт сроком действия на два года. Какая радость, какое счастье было видеть паспорт государства Израиль! Люди приходили ко мне посмотреть на этот паспорт. Любовались, дивились. В августе 1958 г. я подал в ОВИР заявление о выезде в Израиль, приложив свой израильский паспорт, в котором я значился гражданином Израйля. Первый вопрос удивленного начальника ОВИРа:

— А как вы получили этот паспорт?

— Очень просто. Вы сказали мне, что от меня, лица без гражданства, требуется паспорт той страны, куда я еду. Я еврей, семья моя живет давно в Израиле, и я об-

ратился туда. Моя просьба удовлетворена. И все это согласовано с Министерством иностранных дел СССР.

— А через кого вы хлопотали об этом? — удивляется начальник ОВИРа.

— Через Израильское посольство, — был мой ответ.

Начальник пожал плечами и неохотно дал мне заполнить анкету из двадцати с лишним вопросов. Кроме обычных: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, занятия, есть еще: когда и откуда приехал в СССР, через какую границу, зачем, где находился до сих пор, что делал, есть ли в СССР родственники, где они, их адрес, чем занимаются. Вопросы крайне неприятные. О родных не хочется писать. Я спросил начальника:

— А что мне ответить на вопрос, зачем я приехал в СССР, откуда, через какую границу. Ведь я не по доброй воле приехал сюда, — меня вывезли из Китая, вывезли в арестантском вагоне. Написать все как есть?

— Напишите только: из Китая.

Так я и написал. Следа насильственного привоза не видеть... Приняли мое заявление, взяли 15 рублей за марку. И все как будто бы в порядке. Я иностранец, израильский подданный, еду на родину.

— А сколько приблизительно продолжится это? — спрашиваю я начальника ОВИРа.

— До шести недель, — был ответ.

Это было 1 августа 1958 г. Что ж, думаю, шесть недель немного, недолго ждать. Тринадцать лет томлюсь, ну еще шесть недель... «До шести недель», — это может быть и через неделю-другую, мечтаю я сладко в своем неисправимом оптимизме. И через две недели я стал ходить в ОВИР раз в неделю. Всего один раз в неделю открыт ОВИР для посетителей, просителей. По субботам, от 10-ти часов утра. Считают, что этого вполне достаточно для лиц, желающих покинуть СССР... В эти субботние дни в ОВИРе скапливается с утра до 200 человек, и все прибывают и прибывают до 1 часа дня. Жажущие и алчущие приходят в 5—6 часов утра, ждут пока

сторож ОВИРа, он же и уборщик, и истопник, не вынесет лист бумаги, всунет его в дверную скважину. На листе бумаги дата нынешней субботы. И каждый записывает свое имя по порядку №№ 1, 2, 3 и т. д. Я обычно приходил к семи часам утра и уже бывал 18-й, двадцатый. А к девяти часам утра цифра «жаждущих и алчущих» доходит уже до 150. У кого есть свободное время, приходят после 10-ти часов. Двери открываются лишь в 10 часов утра. Начальство приходит 10.15—10.30. До 1958 г. сидел в кабинете один старший лейтенант, начальник ОВИРа, и принимал каждого в отдельности по очереди. Но на него был донос, что он взятки берет. И не один донос... Его сняли с работы (перевели на другую в областной милиции), и в ОВИРе стали принимать двое — начальник ОВИРа и еще женщина — капитан милиции. При свидетеле, видимо, взятки не возьмешь...

Хожу каждую субботу в ОВИР. В 7 ч. утра записываюсь на очередь, еду к 9 часам на работу в поликлинику и часов в 10 утра отлучаюсь на часок, еду в ОВИР, авось есть ответ. Захожу в кабинет и неизменно слышу все тот же ответ: для вас ничего нет. Прошло уже семь недель. Говорю начальнику ОВИРа:

— Прошло уже больше шести недель.

Он отвечает:

— Это немного.

— Но вы мне сказали — до шести недель, — заявляю я.

— Нет, я сказал: не менее шести недель, — категорически заявляет начальник.

— Ничего для вас нет, — слышу ежесубботные стереотипный ответ.

*
**

Я все стараюсь узнать настроения евреев, присмотреться к их жизни, запросам. Чем они занимаются? Какие интересы у них? Что есть еврейского в них, в их жизни? В доме, где я живу, в доме еврея, инженера,

есть двое детей. Старший уже школьник, учится в восьмилетке, другой еще дома. Однажды вбегает старший мальчик, школьник, и с плачем жалуется матери, что братишка (младший) обзывает его нехорошим словом «жид». Я спросил:

— А что это за слово, ты знаешь?

— Это очень плохое слово, у нас в классе так ругаются ребята, — говорит мальчик.

— А кого они так ругают? — спросил я.

— Меня ругают, — сказал мальчик.

Мать позвала младшего сына со двора и спрашивает:

— Что это за слово, которым ты обозвал Вову? Где ты его слышал?

— Я не знаю, но все мальчишки так ругаются...

Мать строго-настрого запретила ругаться этим скверным словом. Я сказал матери:

— А почему вы не объясните им, что это за слово и почему именно их ругают этим словом? И пусть мальчик ваш ответит должным образом хулигану.

Дети ее не знали, что они евреи, никто не говорил им этого. Обряда обрезания над ними — по советским условиям — не совершили. Еврейской грамоте их не обучают. Еврейских праздников в доме не справляют. И слово «жид» они толковали просто как скверное ругательное слово: паршивец, дурак, осел... Но те ребята, которые в школе обзывают их словом «жид», знают значение и «смысл» этого слова. И ругают, обзывают им только еврейских детей... Вечером, когда отец пришел с завода, вопрос этот обсуждался в тесном семейном кругу. Отец объяснил старшему мальчику, что он еврей. Отец и мать и покойная бабушка — все евреи. И доктор (то есть я) — еврей. Но мы евреи, а не «жиды», и лишь скверные, гадкие мальчишки ругают так евреев. И за это их наказывают. И он скажет об этом директору школы, которого он хорошо знает. Вова был крайне удивлен, услышав, что он еврей, и что все они евреи. Случай типичный для советской еврейской семьи. Отец и

мать и покойная бабушка говорили, бывало, по-еврейски. Мать, когда гости приходили на именины или другие семейные торжества, пела еврейские песни на идиш. В канун Йом-Кипур отвозят свечи в синагогу, даже постятся, но дети не знают, что они евреи, пока... их не обругают жидками...

Что-либо узнать о евреях и еврействе в СССР трудно. Евреи, как национальный коллектив, не существуют, не признаются в Советском Союзе. Еврейство СССР лишено всякой национальной культуры, языка, школы. Еврейство СССР не имеет адреса. Не к кому обратиться. Миллионы русских евреев — немые. Немые в еврейской литературе, еврейской прессе, еврейской общественной жизни. словно безжизненное еврейское тело, лишившееся духа. Русское еврейство изолировано от какого-либо соприкосновения с национальными культурными и общественными явлениями в еврейской жизни вне России. Пресса, иностранная, заграничная, не достигает Советского Союза — строго запрещена. Евреи — единственная национальность в Советском Союзе без своей культуры, без языка. «Евреям этого не надо», «они сами этого не хотят», «евреям не нужны свои школы, своя литература» — твердят советские верхи. Все еврейское «реакционно». И евреи в страхе — долго ли за еврейское слово быть обвиненным в контрреволюции и получить «срок»!... И частые статьи в газетах «Труд», «Правда», «Красная Звезда» и ряде местных газет против еврейства, еврейского учения, еврейской религии, сионизма, государства Израиль — все это действует, наводит страх на еврейское население. И все же...

Я был в одном еврейском доме. Действительно еврейском, национально-еврейском. Зашла речь о том, что скоро Ханука. Когда у нас Ханука? Хозяин дома запер дверь из столовой в коридорчик и стал рыться на книжной полке. Из стоящей во втором ряду книги достал תולדות, календарь. Не печатный, а переписанный от руки бледными чернилами. И это запретное. Во всяком слу-

чае бояться показывать эту «контрреволюцию», где сказано, когда Рош-Гашана, Йом-Кипур, Песах. Получает кто-либо нелегальным путем **הלל** (не по почте, конечно), и тот переходит из рук в руки, из дома в дом, переписывают его и... прячут в надежное место, чтобы никто не мог видеть. Это ли не марранство?!...

Был в Москве всемирный фестиваль. Прибыли и две молодежные делегации из Израиля. Все многотысячное еврейское население Москвы вышло из своих домов, чтобы на параде участников фестиваля повидать делегацию Израиля, шедшую с высоко поднятым еврейским национальным знаменем. Делегации шли в алфавитном порядке: страны на А, Б, В, Г и т. д. Я получил письмо от моей родственницы из Москвы. Она пишет, что была на грандиозном параде участников фестиваля. Было очень интересно. «Я не была до конца, и после буквы «И» ушла»... Повидала юношей из родного Израиля («И») и ушла. Писать приходится в Советском Союзе эзоповским языком...

Привез кто-то из Москвы номер журнала ЮНЕСКО на русском языке (журнал выходит, кажется, на семи языках). И в этом номере две статьи об Израиле, о домах для престарелых в Израиле и об использовании в Израиле солнечной энергии для промышленных целей. Этот номер журнала ЮНЕСКО был нарасхват — он побывал в каждом еврейском доме. И его читали, перечитывали, ибо это весточка из Израиля, из «нашего» Израиля, из родной страны.

Многие, очень многие евреи жаждут еврейской книги, книги о евреях. Так, к столетию со дня рождения Шолом-Алейхема вышел на русском языке небольшой сборник его рассказов. Поступило в книжный магазин очень ограниченное количество экземпляров. Услышав об этом, я поспешил в книжный магазин, но уже не мог купить — продавщица говорит, что всего было пять экземпляров, и все тотчас же распродали. «Целыми днями ходят и спрашивают Шолом-Алейхема», — добавляет она.

Книжный лоток на главной улице — стоят два длинных стола с разными книгами. Авось, там есть, думаю я. Подошел, спрашиваю. Нет, у них нет этой книги. И продавец обращается к своей жене, стоящей тут же за прилавком:

— Уже десятый, наверно, спрашивает Шолом-Алейхема.

Получили книгу Фейхтвангера «Испанская баллада» («Рахиль — еврейка из Толедо»). Я купил ее в магазине иностранной литературы (там меня знали и часто откладывали для меня книги еврейского содержания). И эта моя книга гуляла буквально из дома в дом — сотни людей перечитали ее. Она вернулась ко мне лишь через полгода.

Еще тлеет искра еврейства под развалинами еврейской жизни в Советском Союзе. И ни один враг, никакой Сталин, Хрущев, не может проникнуть в глубину еврейского сердца, еврейской души. Евреи в Советском Союзе очень чувствительны ко всему антиеврейскому и переживают всякий антиеврейский выпад. Конечно, они не могут говорить об этом громко, не могут слова сказать. Всякий понимает, знает, чем это грозит. Евреи переживают все до мелочей. Умер Альберт Эйнштейн. В газетах появились заметки о его смерти, рассказывают, кто он, где родился, где жил. Но не упоминают, что он еврей. Ни словом. И евреи страдают: почему не пишут, что он еврей, «наш Эйнштейн».

Выставка картин художника Левитана, скульптора Антокольского — пишут об этих великих художниках, но нигде не упоминается, что они евреи. «Почему об этом не пишут, не упоминают?». И евреям больно, обидно. Их еврейское чувство задето. Я был в одном еврейском доме на именинах, было человек 30, все евреи. Было это в дни матча на звание чемпиона мира по шахматам. Боролись Ботвинник и Таль. Симпатии гостей на стороне Ботвинника. Одна женщина особенно убивается, что у Таля на

полтора очка больше, чем у Ботвинника. Кто-то ее спросил:

— Какая вам разница? Что вы так волнуетесь?

И женщина отвечает:

— Ботвинник ведь еврей.

На это ей в один голос сообщают: «Так ведь Таль тоже еврей». И дама успокоилась: Таль тоже еврей? Ну, слава Богу!

Быть может, это звучит курьезно, но... характерно — евреи хватаются за всякую весть, за всякий слух и верят, возлагают надежды. Появился слух, что в ближайшие недели выйдет словарь иврит-русский (в Советском Союзе имеются словари чуть ли не 30 языков, но еврейского словаря не было). И вдруг словарь иврит-русский, в Госиздательстве! И еврей верит, что это означает перемену к лучшему в отношении к евреям, это доброе предзнаменование. Еврей верит, надеется. Словарь на иврите! Это уже не шутка! На иврите! Начинается новая эра... Верят, потому что жаждут этого. Словарь иврит-русский, действительно, вышел в Госиздате через пять лет (в 1963 г.). И только... И никакой новой эры. Вот слух: в Москве будет еврейский театр. Какой-то еврей приехал из Москвы и передает эту весть — сам Хрущев сказал это. И ты слышишь эту весть от каждого еврея. И все верят, верят, ибо хотят этого. Я не верил, но я не разубеждал их. Я радовался их вере...



Меня интересовала социальная структура русского еврейства в настоящее время. Насколько изменилась эта структура за многие годы после революции? Официальных данных об этом нет. Нет статистических данных Евреи как народ давно исключены из советской статистики. Отдельные лица занимаются этим вопросом. Частным образом, полуполюгально, собирают сведения о занятии евреев. Из разных учреждений (загс, Облздрав, строй-

управление, артели) собирают эти сведения через знакомых, работающих там. Но они, конечно, далеко не точны и не полны, касаются отдельных мест. А евреи разбросаны по всей большой стране. Работая врачом двух шахт и имея контакт с шахтерами, инженерами и руководством шахты, я интересовался, много ли евреев занято в этой области. Встречаясь с евреями, работающими в разных учреждениях, я интересовался процентом евреев, занятых в их отрасли. Евреев-шахтеров я встретил мало. Буквально единицы. Один еврей-крепыш был моим пациентом. Он работает уже 20 лет на подземных работах. На шахте свыше 2000 шахтеров, и среди них всего 4—5 евреев — подземных рабочих. И на другой шахте, где работают 1100 рабочих, было всего два шахтера-еврея на подземных работах. Небольшое количество евреев, точнее, евреек, работает на поверхности шахты (контора, надзор, снабжение). Кричали много, шумели о социальном переустройстве евреев. Но все эти ожидания, надежды не оправдались. Структура еврейского населения, можно сказать, не изменилась за четыре с лишним десятка лет после революции. Раньше социальная структура евреев была такова: 42 процента заняты были в торговле, 25 процентов — ремесленники, 10 процентов — рабочих, 15 процентов служащих, 5 процентов — земледельцы. А теперь? Огромная масса евреев занята в торговой сети — продавцы, управляющие магазинами, зав. складами, торговые агенты разных торгторгов, облторгов. Довольно значительно евреи представлены в свободных профессиях, особенно врачи, инженеры, гораздо меньше педагоги, юристы. В высшие учебные заведения евреи могут попасть не на все факультеты. Так, в высшую школу, где готовят дипломатов, евреев давно уже не принимают. В медицинский институт евреям было очень трудно поступить, почти невозможно. И молодые люди мечутся по разным городам, стремясь попасть в мединститут, не говоря уже о том, что для поступления в мединститут надо иметь довольно прилич-

ную сумму денег (взятка!). Ко мне на прием в поликлинику пришла врач, еврейка из Одессы. Привезла сына определить в мединститут. Там, в Одессе и ближайших центрах, еврею попасть в мединститут невозможно. Еврею и взятки мало помогают. На одном из высших учебных заведений в Одессе как-то в дни приема заявлений от кандидатов появилась на дверях большая надпись крупными буквами: «Все места проданы»... Злая шутка. Моей пациентке, женщине-врачу, не помогли и деньги, сына не приняли в мединститут, и она определила его пока на один год в техникум (тоже не без денег...). Прощаясь со мной, эта еврейка сказала:

— Вот каково у нас теперь — хуже чем «процентная норма» старого времени...

Казалось, за годы советской власти сделано все возможное для того, чтобы советское еврейство было оторвано от своих исторических, культурных национальных корней, обезличено в смысле еврейско-национальном. Сталинский разгром еврейства, еврейской национальной жизни и культуры. Закрытие еврейских школ, еврейской прессы, театра. Убийства, расстрелы, заточения еврейских писателей, поэтов, журналистов, учителей, артистов, певцов. Ликвидированы еврейские отделы при Белорусской и Украинской Академии Наук, еврейское научное общество в Москве, еврейские отделы при университетах в Москве и Минске, еврейские книгоиздательства закрыты. Три миллиона евреев — немые, без языка. А твердят: нет «официального» антисемитизма. В Госиздате то и дело появляются брошюры против Израиля, против еврейского национализма, против иудаизма за подписью каких-то авторов: Шахновича, Шейнина, Плоткина, Иванова. Это-де не антисемитизм «сверху», а в массах, в народе. Я видел его и в лагере, и на «вольной» воле...

Я за пять лет моей жизни на «воле» в Казахстане встречал не раз антисемитизм и среди казахов, которые еще совсем недавно не знали, что существуют евреи (мне пришлось в 1919—1920 гг. жить среди казахов —

киргизов). И теперь вы в Советском Союзе можете слышать комплимент: «Вы такой хороший, совсем не похожи на еврея». Антисемитизм не преследуется. Это «пережиток» старого времени, дореволюционного. Как «пережиток» оправдывается пьянство, спекуляция, казнокрадство, взяточничество... И этот «пережиток» очень распространен в Советском Союзе, находя все новую питательную почву.

Событием в жизни евреев в Советском Союзе являются концерты еврейских песен на идиш. Концерты эти бывают приблизительно один раз в году. За пять лет моего пребывания в Караганде приезжали гастролеры — певцы еврейских песен пять раз. Конечно, приезжают эти певцы и певицы с разрешения властей и санкции московской филармонии. Там утверждается турне, программа, даты. Приезжал дважды певец Шульман, Горовиц, известная исполнительница еврейских песен Нехам Лифшицкайте и еще какой-то певец и чтец из Барнаула (Алтай).

Концерты еврейских песен — это большое событие в жизни евреев, большое переживание. Артисты-певцы привозят с собой афиши, уже напечатанные заранее. Тут только проставляется дата концерта. И на каждой афише по диагонали крупными буквами красным шрифтом еврейские слова (в добрый час) **אין אַ מזלדיקער שעה** или (Привет. Рады встретиться). **שלום עליכם! מען זעט זיך**. И евреи стоят у афиши, подолгу стоят и смотрят на эти еврейские буквы, и не могут наглядеться, не могут нарадоваться, не могут оторваться от этих дорогих, родных начертаний. И не у одного можно видеть слезы в глазах. Где еще увидишь еврейскую букву, где прочитаешь еврейское слово!...

Билеты на концерт распродаются буквально за два часа. Я пришел за билетами для себя и своих домохозяев к открытию кассы во «Дворце культуры». Касса еще не была открыта. Стояло в очереди, толпилось несколько сот людей. В два—три часа все билеты распро-

даны. Никто почти не знает певца-исполнителя, не слышал о нем. Никто не спрашивает, что он поет. Ведь он поет еврейские родные песни на родном еврейском языке...

А что творится на самом концерте! Я был на всех пяти концертах. Большой зал «Дворца культуры горняков» (1000 мест) занят полностью. Приставной ряд впереди, приставные стулья во всех рядах и на балконе. Евреи, евреи, евреи. Быть может, было человек 5—6 неевреев (русских и казахов), и те из администрации Дворца культуры. Публика в каком-то возвышенном, праздничном настроении. Нервно ждет начала.

Певца Шульмана уже знают. Он был здесь с концертом. И даже как-то в Рош-Гашана в синагоге был кантором и пленил всех задушевым пением трогательных молитв в день всепрощения и в особенности, молитвой **לעילא**. Все певцы-концертанты поют старые еврейские народные песни. Лишь певица Нехам Лифшицкайте (Лифшиц) поет и новые песни последнего десятка лет, написанные после Второй мировой войны. Начинается концерт. Из-за раздвижного занавеса выходит молодая девушка и произносит на идиш: **א גוטן אונטערן פריינד** — Добрый вечер, товарищи, друзья! И что творится с публикой, с еврейской массой! Эти слова на идиш покрываются бурными аплодисментами. Аплодируют без конца, крики восторга, браво. Буквально три-четыре минуты не прекращается эта буря восторга. Это — демонстрация. Я смотрел на своих соседей, на сидящих впереди меня, сзади. Я вижу их радость, их счастье. Я видел слезы. Это были слезы радости и... слезы тоски. Это была демонстрация еврейского национального чувства. Это был протест против насильственного закрытия еврейского театра, еврейской прессы, еврейской школы. Не сознательный, не организованный протест, но протест души еврейской, декларация еврейского национального чувства. Каждая песенка исполнителя принимается с редким восторгом, певцу устраивается бурная авация. Евреи разных

возрастов, положений — все жаждут этого еврейского слова. Вот конференсье объявил, что сейчас будет исполнена песня **אַהיים עס בענקט זיך** — «Тоска по дому, домой хочу». Боже! Что творилось. Не менее пяти минут аплодируют, кричат «браво», встают, вскакивают с мест, кричат слова **אַהיים זיך בענקט עס**. Невообразимый успех имеет эта песенка — тоска по дому, по родному дому...

И я пережил этот восторг вместе со всеми евреями. Меня больше волновали не песенки, а чувства русских евреев, на уста которых наложен замок, чувства и думы которых под запретом.

Для одного из концертов еврейской песни был почему-то предоставлен малый зал Дворца культуры, имеющий всего 300 мест. Волновался исполнитель и очень волновались евреи (это было в 1960 г.) И всего один концерт, второй не разрешают. В течение одного часа были проданы все билеты, и тысяча людей не могла попасть на концерт. Почему не дали большой зал? Некий еврей, активный коммунист, больше всех возмущался: «Это дискриминация евреев! Я не допущу этого», — волновался он. Бегал, говорят, куда-то, возмущался, хлопотал. Но концерт еврейской песни все же состоялся в малом зале... И второго концерта этого певца не было.

Последний концерт еврейской песни, на котором я был, состоялся в марте 1961 г., за пару дней до моего отъезда в Израиль. Это был концерт известной исполнительницы еврейских песен Нехамы Лифшицкайте. Зал, конечно, был до отказа заполнен. Уже многие из присутствующих знали о моем отъезде в Израиль. И слух этот быстро распространился среди публики. На меня указывали пальцами — он, счастливцев, едет в Израиль. Ко мне подходили знакомые, и еще больше незнакомые, прощаться со мною, пожелать мне успеха, благославляли в добрый путь. Многие передавали приветы стране Израиль, «земле родной», «народу нашему». Сколько лю-

дей завидовали мне и выражали это чувство. И не один говорил полупшепотом: «Пусть не забывают там нас». Кто-то из молодежи сказал: «Пусть Бен-Гурион думает о нас!»

На все еврейское евреи набрасываются с жадностью изголодавшихся людей. Приезжала в Караганду украинская труппа из города Хмельницкого. Труппа драматическая, совершала турне по Казахстану и соседним республикам Средней Азии. Среди пьес была и пьеса «Тевье-молочник» Шолом Алейхема. Пусть на украинском языке, но еврейское. И театр (Дворец культуры), большой зал, был переполнен... евреями. Мне казалось, что были одни только евреи, по крайней мере, на 90 процентов.

Получаю я по телефону приглашение от одного человека прийти к ним в такой-то вечер «в гости». Что за событие? «Ничего особенного. Хотим видеть вас у себя. Приходите обязательно. Получите удовольствие. Как еврей». Человека я мало знал, раз-другой случайно встретился с ним. Он работал в конторе шахтуправления. Я пошел к нему в гости. Заманчиво было получить удовольствие «как еврею»... Пришел. Человек двадцать гостей, евреев. Что за торжество? Вечер еврейских песен. Хозяин дома получил еврейские пластинки. Это ли не событие? Это ли не торжество? И он «угостил» нас редким в наши грустные еврейские дни праздником — еврейские пластинки. Завел патефон. Одна еврейская песенка за другой. Старинные песенки, еврейские, на идиш, родные, близкие, которых нигде не услышишь...

«Идел митн фидел», «Ицикл хот хасуне гехат», «Байт мир уйс а финф-ун-цванцигер». Боже, что творилось с гостями, сколько радости, веселья душевного. Шутка ли! Еврейская песня! И где? Когда? В наших условиях, условиях еврейской немоты... Хозяин дома просит спокойствия, тишины. Он пустил пластинку под русским названием: «Еврейский народный танец». И загремел פֿרײַלעבן אַזאַ פֿאַרשטאַנדן 'ניסול 'עקניגלעך און 'עזחלעך פֿאַר אַ— пляс. Все до одного — и стар, и млад, хоровод. В одну

сторону, в другую. Кружатся, поют, выкрикивают, выкидывают разные трюки ногами.

До поздней ночи слушали еврейские песни. И еще раз, еще раз «Идел митн фидл», еще раз **אַ פֿריילעכעס**.. И так все довольны были, рады, счастливы... Это было незадолго перед праздником Песах. Чрез неделю после этого одна из присутствовавших в этом доме на «вечере еврейской песни», работающая на шахте, прислала мне большой пакет мацы, которую она сама выпекла (мацы в продаже нет, мацепекарни давно закрыты, муки для этой цели не дают). Сама выпекла «на страх врагам». Я с удовольствием ел эту мацу, тайно спеченную, трудовую... Марранскую.



В 1959 г. была перепись населения СССР. Согласно этой переписи лиц еврейской национальности в СССР насчитывалось 2.268.000. То есть такое число лиц указало, что они по национальности евреи. Трудно сказать, истинная ли это цифра еврейского населения в Советском Союзе. Немалое количество евреев, как мы знаем, по разным причинам скрывают свое еврейское происхождение, они зарегистрировались белорусами, украинцами и т. д. Мы этих людей видели, встречались с ними. Евреев в СССР более 2,5 миллионов, чуть ли не до трех миллионов. Больше всего евреев (по переписи) в РСФСР (Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика) — 875.000, и в Украинской ССР — 840.000. Одна треть еврейского населения живет в 5—6 крупных городах СССР. В опубликованных результатах переписи почему-то не было указано число евреев в Казахской ССР и еще двух—трех республиках. Интересно в этой переписи то, что 472.000 евреев указали свой родной язык еврейский. Это те, которые осмелились. А сколько тех, кто побоялись сделать это! Мы их видели, мы знаем многих из них. Эта цифра (472.000), конечно, малый

процент (19—20 процентов). По переписи 1897 г. еврейский язык, как родной язык, указали 96,9 процентов; по переписи 1926 г. — 70,6 процента, а ныне (1959 г.) — всего около 20 процентов. Двадцать процентов осмелившихся, не устранившихся...

Я спросил некоторых из моих знакомых, какой родной язык они указали в анкетном листе переписи. Смушаясь, некоторые ответили «русский».

— А почему не еврейский? Вы из Бессарабии, — сказал я одному завскладом, — говорите дома больше на идиш. Разве русский ваш родной язык?

— Скажу по правде, — ответил он, — боялся. Кто его знает, что может быть, я ведь на службе и боюсь потерять ее. Вы ведь знаете, что еврейское не в особенном фаворе у нас. И слышали про еврейские песни, которые под подозрением?

Я все же с ним не согласился и сказал:

— Но 472.000 евреев указали еврейский язык своим родным языком.

А случай, о котором этот завскладом говорил, следующий. Была свадьба провизора-еврея, венчался с еврейской девушкой. Было много народу, почти все евреи. Присутствовавший на свадьбе гость, еврей-инженер (из Риги) пел еврейские песни на идиш. Песни имели большой успех, вызвали восторг истосковавшихся по еврейскому слову гостей. Через день вызвали жениха в КГБ.

— Что за песни пели на свадьбе? Кто пел? И почему по-еврейски пели?

Целый двухчасовой допрос. Ни провизор-жених, ни инженер-певец на сей раз не пострадали. Но сам факт вызова в КГБ, факт допроса, действует устрашающе.

Мой добрый знакомый, врач, решил на время своего отпуска поехать как турист в Израиль. Решил поехать с женой и матерью, у которой в Израиле две родные сестры с семьями. Был слух, что из СССР в Израиль едет много туристов, свободно, беспрепятственно. Родные при-

слали вызов (через тетю, живущую в Париже), и старушка-мать пошла в ОВИР узнать, что надо представить, взять анкеты. И ей начальник ОВИРа строго сказал, возвращая вызов из Израиля:

— Не затевайте это дело, если не хотите иметь неприятностей... Только накличете на себя беду. Так и скажите доктору, сыну вашему. Я его знаю, он лечил мою жену. Тоже выдумали, в Израиль ехать...

Старуха еле живая прибежала домой. Сын-врач долго не мог успокоиться, боялся беды, боялся, что пострадает за эту «дерзкую» мысль поехать туристом в Израиль. (Десять лет этот д-р С. уже отсидел в лагере — и он, и жена его. Лишь лет семь—восемь тому назад освобожден и был сослан на жительство в К.). И понятен страх, которым одержимы многие, очень многие.

У моего доброго знакомого (сиониста, кстати) умерла жена. Был воскресный день, нерабочий. К выносу тела пришло много народа — друзей, знакомых, сослуживцев. Пришел и шамес бывшей синагоги. Перед выносом шамес спрашивает, можно ли сделать «молей» («Эйл молей рахмим»). Я говорю:

— По-моему, надо. Но спросите мужа покойной.

Кто-то говорит: «Не надо, не стоит», т. е. рисковать не стоит. Муж покойной инженер, занимает ответственный пост в одном важном госинституте. Пошли разговоры шепотом: надо, не надо. Один мотив, одна причина — страх! Муж покойной сказал:

— Делайте «молей».

Кое-кто вышел из квартиры на улицу во время исполнения зауспокойной молитвы. Видимо, чтобы не попасть в свидетели этого страшного контрреволюционного акта... Привезли тело на кладбище. Еврейского кладбища нет, кладбище общее. Но казахи, киргизы имеют свое кладбище. Евреи как-то стихийно стали хоронить евреев в сторонке, с краю, у ворот. Одного, другого, третьего, и получился еврейский уголок на кладбище, отдельный, где было уже рядом и в сторонке двадцать, а то и боль-

ше еврейских могил. Там и похоронили жену инженера, и опять произнесли (на страх врагам) «эйл молей рахмим».

А жизнь тяжелая. Кое-кто старается распространять радужные слухи. Нет арестов, свобода слова, лагеря ликвидируются, многие уже закрыты. В лагерях якобы пусто. Лагеря определенно сокращали, соединяли по два—три в один. Лагеря стали бездоходны, даже убыточны. Чисто случайно я узнал кое-что из этой области советской жизни. Начальница больницы просит меня принять некую больную женщину, обследовать ее, дать ей нужное лечение. Молодая женщина, оказывается, служит бухгалтером в конторе лагеря для заключенных. Разговорились. Спрашиваю, много ли у вас там заключенных. Теперь, говорит она, одни лишь уголовные.

— А 58-ю статью освободили, пустили на волю?

Улыбается:

— Отправили 600 человек (политических) далеко, далеко в Норильск.

Значит, подальше от глаз людских. И после этого Хрущев может легче утверждать: у нас нет «политических» заключенных... (Норильск — это действительно далеко, тысячи верст по Енисею плыть). Там еще много политических томилось и в годы правления Хрущева.



С утра в городе все о чем-то шепчутся, волнуясь. Один другого спрашивает: «Слышали? Слышали?». В соседнем городе, в 40—45 километрах от Караганды разыгрались крупные события. Демонстрация протеста, «бунт», «восстание». Взбунтовались рабочие, аресты, расстрелы. Так передают из уст в уста, тайно, шепотом, с опаской, тревожно.

В соседнем городе Т., новостроящемся, очень быстро растущем и развивающемся, есть большой сталелитейный завод. Говорят, вырабатывает хорошую, лучшую сталь. Завод с большим будущим. Шутка ли! Сталь! На

заводе много рабочих. Чуть ли не 13—15 тысяч. Но условия жизни рабочих далеко не удовлетворительные. Не хватает жилищ — рабочие валяются в старых полуразрушенных временных бараках, а то и в палатках. С питанием тоже обстоит неважно. Мало столовых. Рабочие тратят часы на стояние в очереди на улице, пока попадут в столовую. Рабочий человек после тяжелого рабочего дня хочет покушать и скорей домой, отдохнуть. А тут часами стоишь в очереди, пока получишь тарелку щей и кусок мяса. Среди рабочих много болгар (говорят, больше двух тысяч). Приехали из Болгарии учиться и работать на заводе. Договор с ними заключен на три года. Видят эти болгары, что условия труда и жизни не очень-то выполняются советскими «хозяевами». И стали рабочие-болгары протестовать, стали обращаться к начальству, к директору завода, парторгу; пишут заявления высшему начальству. И добились. Дали им жилье во вновь построенных домах, дали отдельную большую столовую. Все же болгары, иностранцы...

Этот факт приободрил русских рабочих. И они, «советские люди», стали стучаться в те же двери — к директору, парторгу — дайте нам жилье; дайте нам столовые, чтобы мы, рабочие, за свои деньги трудовые могли пообедать после целого дня или ночи работы. Но с ними разговор иной. Это свои, привыкшие к ярму уже сорок лет...

— Нет жилищ. Подождите, все будет со временем. Работа, работа в первую очередь. Государству нужна сталь.

— А чем мы хуже болгар! Они-то чужие, а мы! Мы революцию делали, мы кровь свою проливали. Болгарам дали квартиры, столовые, а нам что! Не положено!?

Но хлопоты этих рабочих, «советских людей», не увенчались успехом. Они по-прежнему ютятся в холодных бараках, по-прежнему долгими часами стоят на улице в дождь и снег, в холод и жару возле столовой в очереди, в длинном хвосте. Уполномоченные рабочих не устают бегать к начальству, хлопотать. Но бесполез-

но. В Советской Социалистической Республике нельзя подавать заявления от имени коллектива, от общества, группы лиц. Только каждый от себя, от своего имени. И, конечно, бастовать нельзя. Капитализм там государственный. Бастовать? Против кого? Против государства? Против советской власти? И забастовок, этого права и средства трудящихся защищать свои интересы, нет в СССР.

И вышли рабочие сталелитейного завода, человек 5000, на улицу в один «прекрасный день». Мирно, тихо, спокойно. Их оружием были транспаранты с надписями: «Жилища для рабочих», «Столовые для рабочих», «Лучшее питание». И это все. Ни возгласов, ни криков, без всяких «долой»... И их, эти рабочие массы, «усмирили», «объяснили» им, что такое мирная демонстрация в Советском Союзе. Приемы эти известные. Одни и те же всюду, где царит большевизм и диктатура, они те же и в Советской стране и в Венгрии (в 1956 г.). Рабочих «усмирили»...



Как-то вечером по телевидению вижу, сидит за столом мой добрый знакомый и читает по бумажке заготовленную речь. (Он юрист по образованию, отсидевший семь лет за сионизм, был активным деятелем ревизионистской партии, НСО, в Латвии. Теперь находился в ссылке в Караганде. Преподавал немецкий язык в мединституте. Культурный человек, убежденный сионист, но присмиривший, боявшийся всего, все делавший с оглядкой, боясь нового срока лагеря). Речь его по телевидению была о посылках из Западной Германии, из ФРГ. В Караганде и соседних городах большое немецкое население — все выселенные во время войны из немецких колоний Поволжья в Казахстан и Сибирь. Они русские граждане, родились в России, но так называемые „*Volksdeutsche*“, немецкая народность. Многие из них получали посылки из Западной Германии, хорошие вещевые посылки. И все вещи хорошего качества, изящные. Количество посылок увеличивалось с каждым днем.

И все видели этот хороший, доброкачественный товар, сравнивали его с «нашей отечественной продукцией»...

И началось гонение на посылки. Мой товарищ-сионист, преподаватель немецкого языка, выступил с речью по телевидению, призывая не принимать посылок, отказываться от них, ибо это посылки от правительства «империалистической» Германии, и цель этих посылок — пропаганда. Хотят показать, что у нас ничего нет, что наш народ бедный. «А у нас все есть, все, что хочешь, и все «более высокого качества», чем в Германии и Америке. Мой бедный товарищ прочитал эту речь, убеждая немцев Казахстана, ругая немцев из Западной Германии... Я слушал и мне было больно за него, обидно. Я понял его роль, навязанную ему что называется «под дулом револьвера». Я встретился с ним вскоре после его «выступления» по телевидению, и он поведал мне, как его заставили сделать противное ему дело и что будут приняты меры в отношении посылок из Израиля.

*
**

Временами я встречался кое с кем из еврейской студенческой молодежи. Они хотели знать о еврействе, об Израиле. Они жадно смотрели на присланные мне открытки — виды Израиля: города, кибуцы, быт. Каждый умоляюще просил дать ему одну открытку. И они, счастливые, уносили их с собой. Я с умилением, радостью и душевным волнением смотрел на них. Они изучали иврит, искали по домам еврейскую книгу. Все это делали тайно, чтобы никто не видел, никто не знал. Мы иногда подолгу беседовали в сумерки. Я рассказывал им о старом и все, что знал о новом, из истории возрождения нашего народа. Смотрел я на них и дивился. Откуда это национально-еврейское чувство? Откуда это у них, комсомольцев? Я осторожно пытался узнать, выведать. Как заговорило в них это чувство? Когда все в русском еврействе мертво, обезличено в смысле национально-еврейском. Они не учились в еврейской школе, не видели еврейской книги, не слышали еврейского слова. Быть мо-

жет, это горячее еврейское национальное чувство — ответ на гитлеризм, на страшное уничтожение миллионов наших братьев?! — думал я. Быть может, это реакция на подавление еврейской религии, культуры, на антисемитизм? На молчание мировой совести? Я беседую с молодежью, чутко прислушиваюсь к каждому их слову, к каждому вопросу, к каждой мысли. Я интересуюсь их домашней обстановкой, условиями семейной жизни. Что там есть еврейского? Один из юношей просил меня поведать им историю еврейской колонизации Палестины. И мы на следующий день встретились в комнате одного из юношей. Их было четверо. Я им рассказал о билуяцах, о «Гашомер», о «Гехолуц», о героическом эпосе борьбы нашей молодежи, о жизни и жертвенном гряде еврейского рабочего пионера в Палестине, в горах Шомрон, Галила, о колониях Гедера, Ришон Л'Цион, Зихрон-Яков, Рош-Пина. Я видел, как они слушали, чувствовали, переживали. И я понял, что вызвало в них эти чувства, откуда у них это горение, этот интерес к еврейству, к родному народу, к его судьбе; откуда это желание, стремление служить родному народу; откуда у них идеал, мечта, еврейские национальные чаяния, как они нащупали этот путь. Инстинктивно?

Я видел это у старшего поколения, у старых евреев. И думал про себя: последние искры большого костра... Но я слышу как в груди этой молодежи рыдает живая еврейская душа!

И... я понял. Это им светят издали огни национальной свободы, зажженные в **מדינת ישראל**. Это свет Еврейского государства, Государства Израиль. Вот это манит их, зовет. Сквозь мрак их жизни они увидели этот свет, сквозь туман тусклой яви они увидели эти огни и услышали трубный зов национальной свободы.

— Много ли вас, таких? — спросил я.

— Нас, быть может, и очень много, — ответил мне молодой человек, студент, бывший активный комсомолец. — Но наши ряды увеличиваются медленно, очень мед-

ленно, по одному примыкают к нам. Боятся. Боятся всех, даже брата в собственной семье. Он, брат его, коммунист. А ведь мы фактически в подполье.

Накануне моего отъезда ко мне на квартиру пришли два студента из этой группы. Они пришли проститься. Нет, не проститься, — они пришли передать привет «земле родной», «народу нашему в его родной стране». Мне было радостно, тепло, и щемило в глазах. Я сдерживал себя и по их уходе заплакал.

Несомненно, в последние годы кое-что изменилось в Советском Союзе в еврейской среде, особенно среди еврейской молодежи. Молодой еврей, юноша, встречается со старым евреем, дедом, расспрашивает у него про старый быт, про еврейское учение. Разрыв между старым и новым еврейским поколениями, между дедами, отцами и детьми уменьшился. Смешанные браки стали, несомненно, реже (а это было прежде чуть ли не поголовное явление). Я от многих слышал о частых трагедиях этих смешанных браков, когда муж еврей был в глазах жены (браки по любви) всегда «жидом».

В газете ежедневно помещается объявление суда со списком дел о разводе, назначенных к разбору. (В последние годы просто «так себе» разойтись, как это было прежде, нельзя было. Развод должен пройти через суд, и стоит развод 70 рублей). И читая этот список «дел» о разводе ты то и дело, чуть ли не в 80 процентах, встречаешь одно из имен еврейское, одна из сторон еврейская.

Как-то ко мне в поликлинике подошел человек, горячо и радостно приветствует меня, называя по имени и отчеству, добавив слово «дорогой». Я его сразу не узнал. И он, видя, что я не узнаю его, называет свою фамилию и говорит:

— Я привез привет вам от вашей семьи из Израиля. Я приехал из Израиля, — добавил он.

— А зачем вы приехали? — спросил я.

— Разрешите прийти к вам. Жена моя, Мария, очень хочет видеть вас.

Я знал этого человека в Харбине. Жена его русская, христианка, работала медсестрой в Еврейской больнице, где я был главным врачом. Я назначил ему час в воскресный день, когда я свободен от работы, и он с женой и ее братом явились ко мне. В 1952 г. этот человек, И-в, из Дайрена, где он жил последние годы, уехал в Израиль, куда из Маньчжурии и Китая уехало в 1949 — 1951 годы несколько тысяч евреев. Прожил в Израиле восемь лет, был неплохо устроен, имел работу, и жена его, медсестра, работала в больнице в Хайфе. Уехал он из Израиля якобы по настоянию жены. Оба говорили мне, что «влюблены» в Израиль. Семьи моей в Израиле они не видели. И-ву лет под 65. В Караганде у жены были родственники. Все попытки устроиться тут на работу ни ей, ни ему не удалось. Поехали в Алма-Ату и там устроиться не могли. И он стал мечтать и поговаривать об обратной поездке в Израиль. Когда они были у меня «с визитом», И-в рассказал мне, с каким трудом он выехал из Израиля. Советское консульство не давало ему визы на въезд в СССР, не хотели пускать его в СССР. Лишь после года хлопот ему удалось получить визу. Я его спросил:

— А вы еще не написали письма в редакцию об ужасах в Израиле, о нищенстве, о бедности, о торговле детьми, о рабстве и т. п.? Письмо в редакцию газеты «Труд», «Правда» или местную?

— Что вы, А. И., я этого никогда не сделаю. Нам очень нравилось в Израиле и мы жили там не плохо, работали.

— Но вас и не спросят, и письмо за вашей подписью появится в газете, — сказал я ему.

Он испугался:

— Разве это возможно?

— Еще как возможно. И вы в этом скоро, очень скоро сами убедитесь.

Больше я этого человека не видел, не встречал, не хотел видеть.

ГЛАВА 18

«ДОМОЙ!»

В ОВИРе каждую субботу слышу один и тот же ответ: «Для вас ничего нет». Прошло уже более полу-года, как я заполнил анкеты. Прихожу в ОВИР. Женщина, капитан службы МВД, говорит мне:

— Кажется, вам отказано. Начальника нет, а книга с документами у него. Мне очень неприятно огорчать вас, но ответ на ваше заявление неблагоприятный.

— Почему? Какие мотивы?

— Приходите в понедельник в Управление областной милиции, в комнату № 28, в десять часов утра.

Я был очень взволнован. И не верил, вопреки всему пережитому в этой стране.

В понедельник утром я в милиции, в комнате № 28. Мне объявляют об отказе в разрешении на выезд в Израиль. Без всяких объяснений. Отказано. Предлагают подписаться, что мне объявлено об этом, что мой иностранный паспорт недействителен и что я больше не буду возбуждать ходатайства о выезде в государство Израиль. Я заявил, что такой подписки я не дам. Могу подписать лишь, что мне объявлено об отказе, и только. В ближайшую же субботу я вновь подам заявление как гражданин Государства Израиль. Я не дал требуемой подписки. Паспорт мне не дали — он якобы у начальника. Через несколько дней я был вновь в ОВИРе с ходатайством о выезде в Израиль. Мне объявили, что новое заявление после отказа может быть подано лишь через шесть месяцев. Я стал требовать свой израильский пас-

порт. Мне его не дают. В течение получаса у нас идут резкие пререкания. Я требую свой паспорт, доказываю, что они «не имеют права его задерживать». Мне вернули мой израильский паспорт.

Прошел месяц, и я вновь пришел с требованием анкеты—заявления о визе в Израиль. И начальник «смирившись». Я вновь подал прошение, и через три месяца вновь получил отказ. Без всякой мотивировки, без всяких оснований, — отказано. Я жаловался Председателю Президиума Верховного Совета Ворошилову, Хрущеву, Министру иностранных дел Громыко. В ответ получал от них, т. е. от их «личных секретарей», подтверждение получения моей жалобы — и все. Семья моя из Израиля годами писала тем же лицам, ко многим другим из стоящих во главе правительства и партии. Получая через 3—4 месяца отказы, я снова, и всякий раз с боем, подавал очередное заявление. И даже написал Хрущеву «сердитое» письмо о незаконном моем аресте и насильственном вывозе в СССР. И все это только за мое служение еврейскому народу, за мой сионизм. Я был уверен, что письма этими лицами и не читались, и не попадали им в руки. Но я писал, взывал, требовал. И... получал отказы, один за другим.

— Что у меня больше нет дел, как заниматься вашими заявлениями!? — гневно говорит начальник ОВИРа, возмущаясь моим упорством. — Вы не получите разрешения, бросьте это дело! — заявляет он категорически.

— Этого вы знать не можете, — ответил я ему. — Ведь вы говорите, что решает это Москва, а не вы здесь. Перешлите и это заявление в Москву. А там видно будет.

— Вас это не касается, — резко возразил мне начальник. — Москва, Алма-Ата или кто другой решает. Вам несколько раз отказано, визы вы не получите, и нечего подавать каждые два—три месяца. Неужели вам это еще неясно?!

Сидевшая за отдельным столиком женщина-капитан тихо сказала:

— У него там семья, и он хочет быть с ней и надеется, что ему разрешат...

На это начальник как бы в сторону, глядя в окно, сказал:

— Пусть семья его придет из Израиля сюда. Им всем тут будет лучше. Дадут и средства на приезд семьи.

На эту реплику я ответил:

— Семья моя сюда не придет. Я хочу ехать туда, в Израиль.

После еще нескольких минут пререканий начальник сказал:

— Приходите через две недели.

Слово Алма-Ата, произнесенное начальником, врезалось в мою память. Алма-Ата — столица Казахской ССР. Там правительство — премьер-министр, ряд министров. Все это, как мне было известно, марионеточное, буффорское, не имеющее никакой силы, никакой власти. Но все же, решил я, надо послать и туда заявление. Я живу на территории Казахской ССР, обращусь к «своему» правительству. Это было в конце 1960 г. Я послал по почте заявление на имя Председателя Совета Министров Казахской ССР. Я, мол, проживаю в его владениях, «лицо без гражданства», еврейской национальности. Израиль — моя родина. Там живет моя семья — жена и дети. Прошу разрешить выехать в Израиль. Прошло дней пять и я получил от премьер-министра сообщение, что дело мое передано товарищу министра внутренних дел такому-то (чисто русская фамилия), с которым мне и надлежит связаться.

Премьер-министр, министры — казахи, а товарищи министров — русские, вот они и вершат делами. Прошло еще три дня и меня вызывают в главную милицию, МВД. Явился. Доложили обо мне по телефону все в ту

же комнату № 28. В комнату-ожидальню сошла женщина с палкой дел и обращается ко мне:

— Вы обращались в Алма-Ата?

— Да, обращался.

— Вам надо заполнить анкету, присланную из АМВД.

И я тут же заполнил анкету в 20—25 вопросов. Вся сказка сначала... Вновь жду. Жду из Москвы, жду из Алма-Ата. Пишу жалобы во все инстанции. Министерство иностранных дел ответило мне, что этот вопрос вне его компетенции, мне надлежит обратиться в отдел милиции, МВД, куда они и переслали мое заявление. Пишу и туда. Но ответа нет. Идет 1961 год. Пятый год хлопочу. Уже третий год владею израильским паспортом. Уже истек срок его действия (двухлетний). Обращаюсь в посольство Государства Израиль о продлении срока. Продлили еще на год... 2 марта 1961 г., в день праздника Пурим, я вернулся домой из поликлиники. Домработница спрашивает, видел ли хозяев, которые уехали ко мне в поликлинику.

— Нет, не видел их. А в чем дело?

— Не знаю, какое-то письмо получили.

Я стал беспокоиться. Что за письмо? От кого? Для кого? Почему они срочно поехали за мной? Через час приехали хозяева. Обрадовались, увидя меня. Поздравляют, обнимают. Прибыло письмо для меня, приглашают явиться в ОВИР за визой на выезд в государство Израиль. Читаю, перечитываю десятки раз. Не верится. Но ясно сказано: за получением визы на выезд в государство Израиль. Что за чудо! Поистине, чудо! Не нахожу себе места. Не верится, не могу верить. Не ошибка ли это? Не обман ли? Не провокация ли? «Виза в государство Израиль...» Нет, это что-то не так. На завтра, в субботу, мчусь в ОВИР с письмом, которое крепко зажал в руке.

Я в ОВИРе.

— Что скажете? — спрашивает начальник. Рядом с ним за столом сидит какой-то полковник.

— Получил ваше извещение.

— Какое извещение? — спрашивает начальник. — Где оно?

Показываю извещение. Волнуюсь. Не понимаю, что это означает. Издевается? Или это своего рода попытка по-советски? Читает извещение, показывает полковнику.

— А кто вы думаете разрешил вам выезд в Израиль? — спрашивает начальник.

— Не знаю. Вы-то ведь знаете, кто разрешил, — говорю я.

— К кому в Москве вы обращались?

— Последнее мое обращение было к Никите Сергеевичу, — ответил я.

Улыбнулся начальник, переглянулся с полковником и сказал:

— Вам разрешен выезд в Государство Израиль. Вы должны представить документы, что у вас тут нет семьи, которую вы оставляете, и что у вас по службе все в порядке, нет задолженности, инструментов, «казенных» материалов.

Как в тумане, я вышел из ОВИРа. Тут же зашел на телеграф и дал семье в Израиль телеграмму: «Получил разрешение на выезд, оформляюсь». Трудно представить, что со мной творилось, что я переживал. Я в каком-то странном состоянии. Приподнятость, радость и чувство жуткой тревоги...

★★

Через неделю я представил требуемые справки от управдома и нач. больницы.

— Через какую границу вы едете?

— Я лечу самолетом.

Наложили визу на израильский паспорт. Сообщил телеграфно домой: «Получил визу, днях выезжаю». Я не верю своему счастью. И в тревоге боюсь, всего боюсь. Как бы не отобрали визы (были и такие случаи...). Я хочу скорее сесть в самолет. В течение нескольких дней я закончил все мои дела, с трудом достал железнодорожный билет до Москвы, простился с друзьями. Еду в Москву.

Все время в тревоге. Боюсь за свое счастье. Ни с кем не разговариваю, не хочу, чтобы кто-либо знал о моем счастье, — как бы не вырвали его у меня. Я молчу о нем. Я его глубоко запрятал. Я боюсь вопросов соседей по купе: куда вы едете? Я вижу в этом вопросе какой-то умысел. Я слежу с тревогой за каждым пассажиром купе. Я лежу на нижней полке, притворяюсь спящим. На какой-то станции в купе вошел офицер службы МВД. Он вежливо поклонился.

— Вы далеко едете? — спросил он.

— В Москву, — ответил я.

Его вопрос беспокоит меня. Я иду в вагон-ресторан самым последним, когда там уже почти никого нет, чтобы ни с кем за одним столом не сидеть, не разговаривать: я боюсь за свое счастье, которое досталось мне после стольких лет страданий, лишений и тяжких испытаний.

★★

На четвертый день я в Москве. Мои родные встречают меня на вокзале. Хотел было поселиться на эти несколько дней моего пребывания в Москве в какой-либо отдаленной гостинице, на окраине. Но сестра, родная сестра моя, резко запротестовала — я еду к ней, и только к ней. Она живет вместе с семьей сына. Я, признаться, не хотел подвергать их какой-либо опасности — ведь я все же тяжкий «преступник», сионист, да еще еду в Израиль...

Утром я отправился в посольство Государства Израиль. От квартиры сестры до посольства два квартала. (Посольство было мною оповещено, что я получил визу и в ближайшую неделю выезжаю). С каким волнением я подходил к дому, где помещается посольство. Сильно забилося сердце, закружилась голова, затуманилось все в глазах, когда я прочитал слова: «Посольство Государства Израиль» — שגרירות מדינת ישראל.

Боже мой! Боже мой! Я дожил до того дня, до этого часа. И я прошептал: שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

И в тот момент ко мне подбежал один из дежуривших у ворот посольства милиционеров (второй встал у дверей посольства):

— Вы куда?

— В посольство Государства Израиль. Я гражданин Государства Израиль, — ответил я.

И был удивлен, когда милиционер не потребовал документа, а вместо этого поклонился, взяв под козырек. Я позвонил и открывшей мне дверь девушке сказал: «שלום».

— «Шалом», — ответила она, удивленно глядя на меня.

— Д-р К-н, — назвал я себя.

На ее лице появилась улыбка, и она повела меня в канцелярию, громко и радостно объявив на иврите: это д-р К-н.

Сотрудники посольства стали крепко пожимать мне руки, приветствуя меня, мое «освобождение»... Они знали мою судьбу. Я часто получал из посольства письма, запросы о результатах моего ходатайства. И они были рады за меня, рады были видеть меня наконец-то едущим на Родину. Я бывал в нашем посольстве ежедневно. Мне так хорошо было там, так тепло на этом маленьком кусочке территории Израиля. Слышал речь на родном языке. С трепетным волнением смотрел на каждую надпись, на каждый плакат. А вон там в коридоре маленькие дети так живо говорят на родном иврите. Я подбегая к ним, хватаю их ручки: шалом, шалом!

Я вышел из посольства. Иду и оглядываюсь — не следят ли за мной. Я умышленно не иду домой, к сестре. Иду другой дорогой, захожу в какую-то лавочку, стою у витрин, у тумб афишных. Заметаю следы. Я боюсь за родных, за себя. Скорей бы уехать из этого «царства»... Но мне надо еще кое-что оформить. Надо в банке обменять деньги на иностранную валюту, получить «положенную» сумму. Я волнуюсь, когда в банке рассматривают мой паспорт, мою визу, — а вдруг они заберут мой

паспорт. Я пришел домой, мне говорят, что кто-то звонил мне по телефону, своего имени не назвал. Я волнуюсь: кто звонил? Зачем он звонил? Что ему надо? Гнетущая тревожная атмосфера. Я еду в отель «Метрополь» за билетом на самолет.

— Куда?

— В Тель-Авив.

— Паспорт ваш.

Девушка рассматривает мой паспорт, мою визу. Я тревожно слежу за ее лицом, взглядом. Она уходит куда-то с моим паспортом. Я в тревоге. Почему мне не дают билета сразу? Куда она пошла с моим паспортом? Вернулась и кому-то звонит по телефону, направляет меня в другое место за билетом. Кому она звонила? Почему мне не продают билета? Не отнимают ли у меня мой паспорт? Иду в Интурист, куда меня направили. Нервничаю, мне все кажется, что есть распоряжение относительно меня, у меня заберут визу... Девушка в Интуристе смотрит мой паспорт, визу и назначает прийти после трех часов дня.

Я хожу вокруг Метрополя, Интуриста часа два. А мозг, душу точит тревожная мысль. Ровно в 3 часа я в Интуристе. Прошу билет в Тель-Авив. Жду «приговора». Мне стало легче, когда девушка, посмотрев мой паспорт, визу, называет сумму стоимости билета. Но... требует австрийской визы, раз я еду через Вену.

Я спешу в израильское посольство и вместе с секретарем еду в австрийское посольство, где мне немедленно дают транзитную визу. И я вновь в Интуристе. Плачу за билет, получаю квитанцию, а билет получу лишь послезавтра, в пятницу. И опять тревога — почему лишь в пятницу? Но в пятницу я получил билет, и рано утром в субботу вылетел из Москвы на австрийском самолете. Остановка в Варшаве, и в 12.30 дня я в Вене. И только тут я легко, свободно вздохнул.

Меня встретили на вокзале. Мне приготовили комнату в отеле. Меня навещают один за другим работники

израильского посольства, Сохнута. Мне показывают Вену. Посетил могилу Герцля, где я ежегодно бывал в студенческие годы, начиная с 1904 — года смерти великого пророка еврейского Возрождения. Могила теперь на Родине, на **הר הרצל**, в Иерусалаиме. В Вене лишь камень, лишь камень, говорящий об этом.

В воскресенье, 26 марта, в 3 часа дня, я вылетел на самолете «Эл-Ал» домой, в Израиль. Я как зачарованный. В самолете 70—75 человек, из них 50 иммигрантов из Румынии и 20 с лишним туристов. Я сижу у окна, рядом со мной иммигрант из Румынии, по профессии столяр, рассказывает мне на идиш свою судьбу, делится своей радостью: едет домой, к себе, в Эрец Исраэль. Я смотрю в окно, жду, хочу скорее увидеть наше небо, израильское. Мы летим над Югославией. Что творилось со мною, как все радовалась, когда по радио сообщили, что летим в небе Израйля. Я не могу сдержать волнения. Сердце вырывается из груди. Слезы текут из глаз. Светло, светло. Огни Тель-Авива.

ЭЛКАНА ЛЕВИН

Наш коллега, покойный Элкана Левин, который редактировал и подготовил к печати эту книгу, пришел к нам из холодного края и в снежный иерусалимский день внезапно ушел от нас.

Наш коллега Элкана пришел к нам, как Владимир, и ушел в лучший мир, как Элкана Бен Зеев из Харькова.

Недолго мы знали его, — не прошло еще и двух лет, как он приехал в страну, но он занял свое место в наших сердцах.

«Мое возвращение к моему народу началось в ноябре 1969 года. Я рос в ассимилированной семье, мои родители говорили не идиш.

До последнего времени я не задумывался над тем, что такое еврейство и что такое сионизм. Я принадлежал к тем, кто считали себя гражданами мира и чувствовали себя евреями только тогда, когда их били за принадлежность к еврейской нации. До ноября 1969 года произошли два события, которые произвели на меня глубокое впечатление.

Первое — в июне 1967 года. Я был доволен, что евреи в победоносной войне показали многим, что они народ героев, а не приказчиков. Это было мое первое знакомство с Израилем.

Прошел год. В августе 1968 года началась интервенция в Чехословакию. Я почувствовал жгучий стыд. Я понял, что не смогу жить двойной жизнью. Начавшийся

процесс прогрессировал шаг за шагом до ноября 1969 года.

(из выступления Элкана на 28-м сионистском конгрессе).

В Израиле, после окончания ульпана, Элкана вернулся к своему любимому занятию — к книге. Он работал в Национальном Доме Книги в Иерусалиме. Одновременно он работал над докторской диссертацией.

Однако душа его не нашла покоя. Он стремился осознать смысл еврейства в стране Израиля. Элкана искал наследие Израиля, искал еврейство в Кфар Хабаде, ездил к поселенцам в Хеврон.

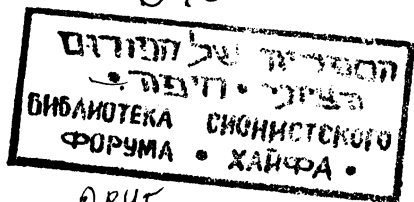
Он завязал знакомство с религиозными интеллектуалами и углубился в изучение еврейской азбуки, затем стал посещать ешибот «Давар Иерушалаим».

В это время он вступил в брак с Бригитой Шифрин — новой иммигранткой из СССР.

Кто мог знать, что не пройдет и двух месяцев, как Элкана уже не будет среди нас.

עיריית חיפה
מערכת תרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספריה
מס. מלאי.....

378



2845